

1989 № 3 (27)
МАРТ

РОДІНЬК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЕЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, КУЛЬТУРА, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ТАТЬЯНА ФАСТ
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Лиените Медне, Владис Спаре,
Юрис Звиргздиньш. «Ода комарам» (1)
Фрагменты воспоминаний Яниса
Мисиньша (9)
«Одно стихотворение» (14)
Ян Ленчо. Рассказы (16)
Ольга Николаева. Стихи (18)
Петр Злыгостев. «Вагонзак» (20)

КУЛЬТУРА

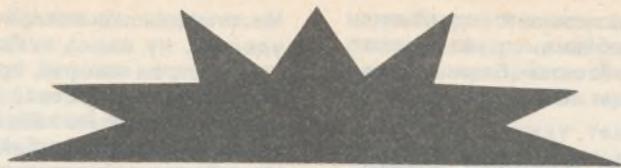
Нормундс Науманис. «С Новым годом,
а пейзаж — все тот же» (32)
Янис Балтаусс. «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (36)
Александр Солженицын. Речь
при получении премии «Золотое клише»
союза итальянских журналистов (40)
«Александр Сокуров: индивидуализировать
культуру . . .» (42)
Игорь Савостин. «Шпаргалки
сумасшедшего» (46)
Артем Троицкий. «Rock in the USSR» (49)

ПУБЛИЦИСТИКА

Вилнис Зариньш. «Философия
грабителей» (52)
Петерис Удрис. «Кодекс — языковой
или моральный?» (57)
Андрис Бергманис. «Еще одно
«почему?»» (60)
Николай Ильичев. «Размышления
о размышлениях» (63)
Александрс Мелленс. «К отчизне
пылкая любовь» (66)

ЛИТЕРАТУРА

Владимир Аристов. Стихи (72)
Банюта Рубес. «Танго Лугано» (74)



ЛИТЕРАТУРА

ЛИЕНИТЕ МЕДНЕ ВЛАДИС СПАРЕ ЮРИС ЗВИРГЗДИНЬШ

ОДА КОМАРАМ

РОМАН

Правдивая история из жизни современников, до неузнаваемости изуродованная склонностью авторов к фантазиям и вранью

Часть первая

I

Влажными пальцами прижимая к опустошенному желудку галстук — нельзя мешать марки и закусить... закусывать надо было! — Никлавс ввалился в двери бара.

Справа рыболовецкий колхоз братался с творческой интеллигенцией. За интуристовским... — Никлавс безразлично икнул, распахнул полы пиджака и сунул руки в карманы, вслушиваясь в дымное гудение.

Надгробный Йорген по обыкновению швырялся двадцатипятирублевками, вопил, был угоманиваем, но продолжал кричать.

— Шампик! Шампик! — орал он, как лось на водопое. — Я хочу, и она хочет! Тония!

Тония — стройная и строго улыбающаяся — плавно выплыла из кухонных помещений, прижимая к плотно обтягивающему живот белому переднику прохладную бутылку.

— Нет, я сам, сам! — пробка подскочила к потолку, и пена покрыла лицо Йоргена.

— Не валяй дурака, Йорген! — Тония запиховала деньги в карман его профессионально пропылившегося сюртука. — Конечно, ты — большой художник. Величайший из здравствующих. Суй деньги в карман и без глупостей. Девочкам пора баньки. Кому сказано! Застегнись, Йорген, и без ора!

— Нет, Тония, я не... я никогда... Но мне сейчас так плохо. Если бы ты знала, как мне плохо. Тония, я хочу... — зажав под мышку полупустую бутылку шампанского, Йорген схватил руку Тонии, потянул и мокрым губам. — Меня сейчас вывернет!

Опершись локтем на стойку бара, Никлавс застывшим взглядом — как рыба сквозь аквариумное стекло — проследил за Йорженом, которого за руки, подталкивая сзади, препроводили до дверей и, при участии уже и швейцара, далее. Губы сами собой сложились в пресную улыбочку: да, вот так вот, приятель, никакой разницы — плещь ли ты на десятку и занюхиваешь рукавом, или на сотню, заедая бутербродиками с лососиной: точно также ручка дерг, вся эта дрянь наружу, и — тип-тип-тип — назад, к столику, в одной руке стакан сока, в другой — кофьяк: чтобы смьть с зубов этот мерзкий привкус.

Никлавс причмокнул и неприязненно скривился, взгляда

мгновение прощупывал задымленное помещение, уперся, нащупав сидящего за угловым столиком Петериса, который, установив перед собой две рюмки, тянулся к графину.

Никлавс оттолкнулся от стойки и, широко расставляя локти, стал пробираться вперед сквозь клокотание слов и дыма.

— И тогда я диктую свои условия!

— И я! И я тоже!

— Ты свинья, котик! Свинья, и сам это прекрасно знаешь, и весь этот ваш бардак мне до... знаешь, докуда!

— Знаю, зайка, знаю!

— Мы их на буксир и вперед в Пальмы. Ты, тебя спрашиваю, ты знаешь почему такой кофьяк в Пальмах! Нет, не знаешь. И никто не знает и ни в жизнь не узнает, вот так вот!..

— Тония!

— Тонь!

— Мадам Тония!

— О, был бы я поэт...

— Язык, лишь нам родной язык, язык отцов и матерей, лишь в нем спасение, вот так вот! — тяжелой рукой мясника припечатывая слова к мелким полевым цветочкам на матовых облицовочных плитках, которые в свое время — где те времена! — стыдливо украшали собой стены дамского туалета.

— В мраморе вас высечь, в граните, в железобетоне! — глиняная пепельница подскочила в воздух и вывалила тлеющие окурки и обгорелые спички на стол, образовав невиданную доселе икебану, лавина пепла распространилась за пределы стола — на брюки, платья и нейлоновые колени.

Слова, слова, слова... Они наваливались на Никлавса, кружились над ним, падали и вздымались — за валом вал — и опять падали, и снова вздымались, и опять, и снова. Слова и словечки, шепоточки и сдерживаемые рыдания с красными, как у ершей, глазами — чур не хныкать! — возносились сквозь облака дыма к потолку, достигали его и, медленно и плавно, маленькими голубками опускались на цыпочки вниз.

Вал за валом, как росистым утром под свист косы, слова, слова, слова... Слова, как пули, как оловянные солдатки: Вперед! Ни шагу назад! Слова — Серен, Жан-Поль, Симона, Эрнест, Эрнесто, Кэндзэбуру — слова вараются и

уплотняются, образуются и преобразуются и отдаляются и, харкая кровью, с перебитыми хребтами, с руками, скованными за спиной, привязанные к хвостам бешено мчащихся лошадей, сообщали и сообщат. Они еще сообщат что-то, все же . . .

Вал за валом, коса ковыляет по болотным кочкам, камыш, стебли багульника, лезвия осоки; слова трясиной вспоенные, вурдалаками взлелеянные, воплями козодоев и филинов баюканные, насосавшиеся ила и пропахшие падалью, слова грубые, с вытаращенными глазами, со старческим бессилием соленого шпека в крови, подпорченной вампирьим семенем, с мудростью заплесневевшего, позабытого на складе огурца, жирные и постные, они взмывали в воздух, немощно кувыркались, плевками опали на пол, протискивались, виляя задом, мимо швейцара, на миг задерживаясь возле телефонов, прислушивались к разговорам; с поникшими, как мокрые газетные листы, ушами; потными пальцами возясь с ширинкой, преплетались в туалет, зашелкивались в кабинке, взсос присасывались к сортирным стенам как некое, что ли, свидетельство — до следующей побелки.

Вал за валом, Никлавс взмахнул руками и утонул в кресле. Эти два голубых глаза, которые покачивались возле плеча Петериса, серовато-блондинистые волосы и лицо внутри них появились тут недавно. До этого — Никлавс встряхнулся и протянул руку за рюмкой — ничего такого тут не было. Узкое, почти прозрачное лицо, глаза несоразмерно большие и напуганные — как у косули . . . охотник поднимает винтовку, Снегурочка торопится в лес к семи гномикам, сердце косули дышит на серебряной тарелке, злая королева смеется и откусывает кусочек, как на языке — примеряясь к продукту . . . контроль качества . . . главное не терять контроля и правильно закусывать в ходе процесса. Своим же сердцем, хотя бы, если ничего другого под рукой . . . но нет же, вот пара бутербродов с колбасой еще имеется в наличии.

— Знаешь, Петерис, — Никлавс вставил в рот бутерброд — с одностволкой я все-таки . . .

— Нет, с одностволкой ни за что! — он выдернул из пачки сигарету и плотно ввинтил ее между губ.

— Ну ладно, если постараться, то можно разжиться и двустволкой. — Навалившись на стол грудью, Петерис подхватил разговор, прерванный отсутствием Никлавса.

— А вот один фрукт с двустволкой стоял в чудном таком лесочке в снегу по самые яйца, бабахнул из обеих стволов в белый свет, и знаешь, что с ним произошло потом!

— Ты думаешь, я могу достать Калашникова! Или хочешь, чтобы я тебе бетонный дзот соорудил! Денежек ты хочешь, а рисковать! — Петерис налил «Шварцвайс» и, вытянув руку, помотал почти пустым графином у Никлавса перед носом. — Вот, а больше нет и не будет . . .

— Этот хряк ему яйца-то и пообрывал . . . — Никлавс задумчиво поднес рюмку к тонким, обрамленным обкусанной бородой губам.

— Болтай! — Петерис искоса взглянул на Никлавса, сердце же дернулось так, будто в него внезапно впустили солидную дозу остуженной в холодильнике крови. Два ствола, в тонком насте отсвечивает тусклый свет луны, всхлипывает и визжит снег под массивным телом кабана, стеклянно звякая ломается наст. Бабах! Бабах! За молоком, за молоком . . . Схожий с громадным волосатым головастиком зверь медленно разворачивается и . . .

— Под самый корень, как бритвой! — Никлавс нутжно засмеялся. — Но в каждом несчастье есть и своя доля счастья. По крайней мере от алиментов наш фрукт на всю жизнь избавлен. Вызывает его, к примеру, какой-нибудь цветочек в суд. Сей муж, говорит, является отцом моего ребенка, желаю, следовательно, чтобы он платил нашему общему чаду сумму, определяемую законодательством. А этот — раз и в присутствии всего высокого суда спускает брюки до колен, и тут уж, как говорится, комментарии излишни. Хотя, вообще-то, что тут скажешь!

Не станешь же говорить, что тебя так обычная свинья уделала, ну ладно — кабан, но все равно . . .

— Нет, он говорит, что де я вот — ветеран, то есть инвалид третьей мировой! Ты думаешь, я бы не хотел! Это он этой. И еще как! Но, вот . . . — Петерис вытянул палец, тот, как маленькая байонетка, описал в воздухе дугу и угодил прямиком в грудь Никлавсу. — Но я не могу. Вот так вот . . . А господа судейские говорят: это же-таки просто целый анекдот!

Петерис захрюкал, как дикий поросенок, и, глубоко погрузившись в кресло, принялся возить по тощей груди своими хорошо ухоженными белыми, женственными руками.

— Как это омерзительно! Как вы можете во весь голос о таком свинстве! — голубоглазая девушка энергично шлепала коктейльной соломинкой в желтоватом, пузатом бокале.

— Что ж тут омерзительного, когда это трагедия! — Никлавс в изумлении воздел брови чуть не до середины лба и повернулся к деве. Сквозь прядь тонких волос его укусили раздраженные глаза.

— Ну да. В общем, вы правы, этот парень там в снегу сразу и помер, от большой потери крови. Позвольте пригласить вас на танец! — Никлавс одеревенело, не отрываясь от кресла поклонился.

— Я не танцую . . . с посторонними мужчинами . . . и вообще, вы циник.

— Оставь ты ее в покое, Никлавс, что ты, не видишь. . . — Петерис навел на лицо застывшую, пуританскую гримасу. Безумие, тихое безумие, весь по уши в дерьме, а сижу тут и ничего не делаю, а несчастья крадутся по пятам, и кабан еще этот лесной — и в самом деле ведь можно без причиндалов остаться. И Никлавс все вокруг да около, как кот вокруг сметаны, и ко всему вдобавок еще эта гусыня, эта . . . цыпочка! Зло шмыгнув носом, он одним махом выплеснул в рот — черт! опять эта дырка в зубе! — остатки шампанского. Бррр . . .

— Ну ладно, — не унимался Никлавс. — По крайней мере хоть поднимем бокалы, чтобы этому парню земля пухом, вместе с нами . . . Тьфу ты! Не земля пухом с нами, а выпьем с нами, помянем, так сказать, это же вы можете, а! Из праха ты вышел, в прах возвратишься . . .

— Никто ни в какую землю не возвращается — нехотя отмахнулась девушка, но бокал все же подняла и, словно объясняя дикарям таблицу умножения, добавила:

— Есть же возрождение, кармические циклы . . .

— Это кошмар! — пробормотал Петерис, языком оцупывая ноющей зуб. — Вы хотите сказать, что этим все еще не кончится! Опять новый цикл и опять придется соображать, где раздобыть денег!

— В следующей жизни вы можете родиться собакой и никакие деньги вам не . . . Ой! — она запнулась и, покраснев, прикрыла рот ладонью.

— Простите, простите пожалуйста! — выдохнула она сквозь пальцы. — Я не хотела вас обидеть. Честное слово . . .

— Если так подумать, мы и теперь-то не слишком от собак отличаемся, — рассудил Петерис, — живем как собаки, как последние шавки . . .

— Конечно! — добавил Никлавс, — как распоследние! Нам, молодым и красивым латышам, приходится жить, как каким-нибудь босякам. Мы тут с Петерисом — он задумчиво осмотрелся, перегнувшись через стол и по-загорщицки покачал пальцем.

Глаза девушки раскрылись еще шире, она, захваченная в плен взглядом Никлавса, бессознательно подалась вперед.

— Мы с Петерисом, — шептал Никлавс, — придумали как оторвать неплохой кусок. То есть, неплохо заработать охотой . . . Но у нас нет ружья. Между нами, нужен хороший шведский полуавтоматический карабин. У вас не найдется! Мы бы взяли вас в компанию.

— Какой карабин! Какая охота!! — она откинулась на спинку кресла, выражение на ее бледном лице было таким, словно Никлавс предложил ей немедленно раздеться

и станцевать нагишом на столе. — К вашему сведению, я принципиально не ем мясо! И вообще . . .

— Так не есть же, а на продажу! Это же четкий ход, чтобы все мы сразу в светлом будущем. Вы знаете, почему сейчас на рынке мясо! — Никлавс, забыв об осторожности, размахивал руками, дергал себя за бороду, бил в грудь. — Иные зайчики за ночь с полтонны огребают! Достать приличный ствол, и не махай хвостиком! И никакого риска. Сам не будь мямлей и других не забывай! У меня там, — он выразительно показал глазами куда-то вверх, и еще куда-то рядом, — и там тоже знакомства.

— У тебя все эти знакомые, поди, тут же, на втором этаже гостиницы, — хихикал втихомолку Петерис, — раз уж ты так душевно в потолок пляшишься.

— Теперь, когда мясо в магазине не увидишь, только на рынке! Если бы вы дали нам этот карабин . . .

— За кого вы меня принимаете! Что я вам, пулеметчица!!

— Да я вовсе не думаю, что есть у вас самой! — Прижав обе руки к груди, Никлавс улыбнулся великодушно и сердечно. — Может быть, он вам достался по наследству. Подумайте хорошенько, может быть, дедушка вернулся с гражданской вместе с какой-нибудь «Луизой»!

— Как вам не стыдно! Мой дедушка давно умер, и у него никогда никаких Луиз не было! Бабушку звали Эммой, и теперь она тоже уже там, снова вместе с дедушкой. Как вы можете так про них думать!!

— Милая девушка, — приснул Никлавс. — «Луиза» — это же вовсе не женщина, а первый шведский полуавтоматический карабин, его изобрели в конце гражданской войны. Так что ваш дедушка вполне мог притащить «Луизу» домой, к любимой Эмме, а мы бы могли снова пустить аппарат в дело. Глупо же, чтобы такая штука ржавела бы без толку. Из уважения к дедушке, хотя бы; в память о нем . . .

— Конечно, конечно, — в разговор, еще раз проехавшись языком по, наконец, прекратившему ныть зубу, вмешался Петерис. Посмотрим, как долго девчонка выдержит. Ну да, скоро хныкать примется, и черт с ним, что «Луиза» — английский ручной пулемет и не имеет никакого отношения ни к Швеции, ни к шведам. Путаное время, первая мировая, гражданская — могла попасться тем же латышским стрелкам. Может, дед такой штукой Смольный охранял . . . Ну ладно . . . Ладно . . . Возможно, ему дали нашу трехлинейку, но та ведь, по крайней мере, должна же где-то быть . . . Должно у этой девчонки что-то такое иметься! — А мы бы вашей пушкой три тыщи кабанов бы скопытили!

— Убийство грех, отвратительный грех! — отчеканила девушка. — И даже если бы после дедушки и остался бы карабин, я бы все равно вам его не дала, понятно!!

— Если одна свинья весит в среднем сотни четыре, тогда три тысячи умножаем на четыре сотни, и у нас выходит . . . Матта тиа! — глаза Петериса восторженно загорелись. — Эй, ребята, вы слышите!

— Я бы ночью его в канал выкинула! Я ненавижу войну и убийство как таковое! И если вы этот карабин все-таки раздобудете и будете стрелять, то в следующей жизни родитесь червяками!

Петерис удивленно посмотрел на объятую воодушевлением веры деву — а ну как она действительно верит в этих червяков, поди разберись, тут ведь всякие ходят. Глаза блестят, грудь высоко вздымается. Брунгильда какая-то, Бриджит Бардо!

— Мы будем нежными, беленькими трупными червяками и только и будем в своей жизни ждать, когда вы умрете, чтобы . . . чтобы . . . — Никлавс старался отыскать по возможности корректную формулировку пришедшей на ум мысли и, не найдя, умолк.

Девушка покраснела, и Никлавсу показалось, что именно так выглядела освещенная языками пламени Жанна д'Арк. Фантастика!

— Почему вы покраснели! Мы же будем лишь такие маленькие, совсем без понятия червячки, нас совсем не

надо будет стесняться, — Никлавс, дитя бара, взошел на плотик своего макабрического юмора, на мостик своего корабля призраков, болотные испарения раздувают паруса — вперед! — а мимозочки да пребудут за бортом!

Петерис, между тем, вытрясал в рюмки последние капли «Шварцвайса» и грустно осматривал пустые бокалы из-под шампанского, но ей и так уже должно хватить, вот-вот нюни распустит.

Девушка не плакала [вера, даже размером с горчичное зерно, творит чудеса] и, проглотив, будто лягушку, последние слова Никлавса, сжала губы и — будто кто-то вручил ей абордажный крюк — перешла в наступление:

— Вас зовут Никлавс, так!

— Ну да . . .

— Можете ли вы, Никлавс, сказать, почему вам в голову все время лезут какие-то скабрёзности! Сами-то вы понимаете!

— Я знаю, и сейчас же во всем чистосердечно раскаюсь, только сначала скажите, как зовут вас.

— Руута.

— Ну так слушайте, уважаемая Руута! Я весь из себя такой простой как . . . как . . . кака. Ну видите, опять у меня вышла какая-то кака! У меня это чисто автоматически, всякие такие каки. И я тут, к сожалению, ничего поделять не могу. Полное недержание, просто-таки тотальное! — Никлавс, как маленький, хорошо воспитанный мальчик в гольфиках, склонил голову, виновато улыбаясь: так уж, тетя, получилось, что теперь поделаешь!

— У него врожденный ген грубости, — сказал Петерис, ну, ей пора долой с катушек, надо руку подставить, чтобы не расшиблась.

— Нет, нет! Просто вы оба не ощутили духовного света. Вы не знаете, что такое сознание Кришны, что такое Нирвана . . . Если бы вы это постигли, то стали бы совершенно другими людьми!

— Совсем другими людьми мы бы стали, если бы разжились кучей денег! — зло рассмеялся Петерис. — Тогда бы мы уж точно зажили другой жизнью.

— Мы бы очистились духовно и плотски, ходили бы в белых домотканых одеждах и никакие случки, то есть я хотел сказать — случайные мысли не приходили бы нам на ум. Мы бы сидели под раскидистыми ветвями дуба, — напевал Никлавс, нежно глядя Рууте в глаза, она согласна кивала в ответ.

— Под раскидистыми ветвями баньяна, — поправил Петерис, все эти ходы-прикольчики он знал. — И пили бы чистейший французский коньяк.

— Ах вы бедные, бедные . . . — глаза Рууты наконец-то повлажнели. — Я вас спасу. Хотите!

— Хотим! Ну конечно хотим! — Никлавс перегнулся через стол, схватил обе руки Рууты и плутовато взглянул на Петериса. — Петерис, ты ведь тоже хочешь!

Петерис смотрел на ямочку на пунцовой щеке Рууты, образованную хмельной, блуждающей улыбки, на ямочку, через которую слеза протянула сырую, как след улитки, дорожку. Спаси Рута! Руута! Рута! Ручочка, спаси! Дома все ни к черту — разведенная жена за цветастой занавеской спит с любовником, которого твой собственный сын зовет папой, мать на кухне поджаривает лук, болит голова . . . Спасай, Рута, мне так плохо, никто меня не любит и не понимает. Рута спасала — и его и других. Всегда. Когда не было что и с кем выпить, когда негде и не с кем переспать. Когда требовался кто-то, кто выслушает и согласно покивает головой, успокоит, накормит и приласкает. Маленькая Рута . . .

— Спаси, Рута!

— Руута. Меня зовут Руута. Руууу . . . и, по правде говоря, мне кажется, что я захмелела. У меня кружится голова. По часовой стрелке, а также против часовой, — она смущенно рассмеялась. — Это сильно заметно!

— Конечно! — Никлавс вскинул бороду. — Набрались вы уже порядком, а если дело так пойдет и дальше, нам с Петерисом придется тащить вас домой на себе. Поэтому

сначала мы спасем вас. Петерис еще чуточку обождет.

Он слил остатки ее коктейля в свою рюмку и рюмку Петериса, пригубил и, радостно улыбаясь, разрешил:

— Теперь вы можете спасать нас. Теперь мы готовы.

— Готовы! — Петерис внезапно грохнул по столу кулаком. — Ни черта мы не готовы! Надеремся окончательно!

Внимательный взгляд Тонии обратился в их сторону — ну ничего, с ума никто не сходит, молодежь, пусть ее!

— Надеремся окончательно! Окончательная и полная ясность — вот моя мечта! Через Рууту к полноте — он положил руку на плечи девушки, притянул ее к себе и сильно встряхнул. — И все мы будем спасены.

Руута вырвалась, глядела широко раскрытыми глазами. Эти ребята, они ведь ее провели, разыграли, а она сидела, как будто . . . будто она . . . Встать, швырнуть деньги на стол, нет, лучше — в лицо и прочь! Прочь! Не спасать, а спасаться! И быстро! Ох, моя головушка, бедная моя головушка, этот коктейль, нет — два, или все-таки три! — коктейли такие вкусные, а теперь . . . а если она сейчас, прямо здесь, растянется! Все следующие жизни ее будет сопровождать смех пьянчуг. Все! Демоны будут рычать, многорукие чудовища обнимать и цепляться, и высасывать. Высасывать ее духовную энергию и смеяться ей в лицо, тысяча лет как миг единый, и длиться все это будет ровно сорок тысяч лет. Сорок тысяч умножить на тысячу, это три нуля и еще три нуля и еще сорок спереди . . .

Голова кружится. Нет, она не встанет и никуда не пойдет. Мгновенная слабость, это пройдет. Обязательно. Оум! Ей надо остаться тут и спасти этих двоих . . . этих двоих лицемеров, притворяльчиков, у которых четыре руки, на двоих, то есть восемь. Как же они со всеми справляются? Поднимаются и опускаются, тянутся, изгибаются . . . будто с Гималайских высот к ней клонится лицо, растет, приближается — она его уже видела, конечно, видела, вот только где . . . Где!

— Ну что! Девочка перебрала чуть-чуть! — лицо разлепело две широкие багровые губы. — Я думаю, ребята, один из вас должен встать и пойти потанцевать. Сами видите, ей ножки размять надо.

Большой посудной тряпкой Тония смела со стола вымокшие в луже шампанского окурки, сменила пепельницу, как матрешки составила один в другой пустые бокалы, погрузила все на поднос. Что за времена! — она покачала головой, прокладывая себе дорогу через бар, как уверенный в себе ледокол с гладкими обводами. — И так с двенадцати дня до поздней ночи, каждый день, вся жизнь в этой атмосфере, густой от смешков, речей и алкогольных паров. Дубину бы в руки . . .

Никлавс, галантно придерживая под локоток, вел податливо притихшую Рууту в сторону раздвижных дверей бара, — она высоко поднимала непослушные ноги. Как Арлекин. Репетиции школьного кукольного театра вела старенькая учительница латышского языка, у нее была седая коса вокруг лба, и она ласково улыбалась Никлавсу, который, едва прозвенит последний звонок, несся вприпрыжку по лестнице вверх и в полутемной камерке за сценой актового зала бережно снимал с вбитого в стену гвоздя Арлекина. Энергично болтая руками-ногами, набитыми ватой, тот веселил на новогоднем утреннике первоклассников, и Никлавс — покрасневший, гордый и счастливый, с перекосившимся галстуком — кланялся на аплодисменты; вешал потом неживую куклу на гвоздик и приглашал на первый танец самую красивую девушку класса. Из Большого зала плывет щемящая, трепещущая музыка, никаких, слава богу, тут прыганий, так просто подвигаемся, как на зеленом балу в прежние времена. Крепко взяв за руку Рууту, Никлавс встроил свое плечистое тело в толпу танцующих. Руута держалась возле него как приклеенная — плечу к плечу, щека к щеке. Как-то самостоятельно перемещались ноги, вдвоем они плавали в дыму и ароматах салата «Столичный», мягко и вяло как два утопающих — как среди водорослей — те поддерживали, держали на поверхности. Голос в микрофоне

в нос повествовал об отчете доме, про босые ноги, про что-то еще святое.

Руута вслушалась — а, это же птица-аист-счастье. Аист щелкает на крыше дома, грустно квакают в пруду лягушки, зазвенел комар. Зззззз!

Вокруг захлопали, и Никлавс и Руута энергично похлопали в ладоши, опять включился комар, всё щелкал аист, а голова кружилась теперь уже только в одном направлении. Ну, и на том спасибо! Большое-пребольшое спасибо, как говаривала тетушка, может это она и зудит тоненьким комариным голоском в ухе Никлавса — не шляйся по танцуйкам, милый, несчастье себе натанцуешь, лучше книжку, что ли, прочти или грядки полей!

Обеими руками вцепившись в плечи Никлавса, Руута запрокинула голову. Ресторан закружился: эстрада, столики, двери, эстрада, столики, к дверям прислонившийся Петерис угрюмо созерцал танцевавших — эх им и горя мало, сладились-растанцевались. — Он нащупал в кармане двухкопеечную монету и полпелся к автомату — звонить Аните.

— Привет, Анита! . . . Ах это не ты! . . . Ты — это твоя мама! . . . Простите, мне надо Аниту . . . Да, я подожду. Ах ты черт . . . Ты понимаешь, какая хохма — я думал, что ты — это твоя мама! . . . Да не вовсе я вообще! . . . Да так, в баре сижу. Знаешь что! . . . Нет, не угадала. Я хочу тебя видеть — здесь и теперь. Точка! . . . Нет, я не могу, я занят . . . У меня важная встреча. По служебной линии. Так что сама понимаешь! . . . Нет, я не поеду, ты лучше займи у матушки червончик, возьми такси и я тебя жду возле дверей. Точка, я кладу трубку. Что!! . . . У тебя будет ребенок! . . . Что, от меня! . . . Ты понимаешь, что говоришь! . . . Нет, я понимаю, я все понимаю . . . Он будет Янитис! . . . Конечно, что люблю, но почему ты думаешь, что он мой! . . . Эй, да где ты там, зачем трубку бросила! Эй, подними сейчас же! Анита, Анита!

По-стариковски дрожащей рукой Петерис подергал трубку на рычаге, мысли путались и спотыкались. Янитис! О, господи! А у него в кошельке всего рубль, да и тот мятый, и сам он истерзанный, а дома разведенная жена ругается с мамой, и спасти его может только чудо. Чудо и автопилот. Автопилот включится, обязательно включится, не может он так вот взять и не включиться. Не может! Чудеса же все-таки происходят, должны происходить, Петериса клонило к молитве, происходить обязаны, о-бязаны! Он сунул руку в карман и нащупал там еще одну двушку. Руководимый словно некоей высшей силой — Кришна это, Кришна — бормотал Петерис — его палец набирал номер.

— Позовите, пожалуйста, Илзите! . . . Ах, это уже ты! . . . И это вовсе не твоя мама, чеснслово! . . . Нет, вовсе нет, но с этими мамами вечно получается путаница . . . Нет, я не могу, но ты возьми, пожалуйста, у мамы десять, нет, пятнадцать рублей и такси и приезжай сюда! . . . Я буду ждать возле дверей бара . . . что! У нас будет ребенок!! . . . Ты назовешь его Янитисом . . . Нет, вовсе не угадывал, уже знал . . . Конечно, я тебя люблю, и ребенок мой, но это разговор . . . Нет, это разговор. Всемирный разговор! . . . Ага, теперь уже ты трубку кидаешь и поднимать не хочешь! Сговорились . . .

Петерис задумчиво взгляделся в телефонную трубку, точно предполагая обнаружить там улыбающиеся лица Аниты и Илзите. Чудо уже произошло, и там никого не было, одни только острые полискания. Осторожно — чтобы тех не спугнуть — Петерис установил трубку на место, извлек из кармана горсть мелочи и, тщательно выколулав из небольшой кучки все двушки, швырнул их в урну.

Из зала, взявшись за руки, вышли, как два маленьких таких Янитиса, Никлавс с Руутой и плавно и синхронно направились в бар. Безмолвной тенью за ними плелся Петерис. Mon dieu! Diable! Crotte! — воскликнул бы он, если бы хватило сил разыскать в затуманившемся мозгу освоенные в школьные годы французские слова, которые, впрочем, уже давно плотным и непроглядным лондонским туманом накрыл университетский курс ан-

глийского языка. Хотелось кричать, кричать, как журавлю на болоте, но тот ведь орет только по-французски. Что ему остается как не выть! Как Иов, как король Лир, как пастуший Кранцис! Петерис набрал воздух для вопля, но уши его уже заложило гудением бара, всех не переорешь, что поделает...

— Бери свою постель и иди, брось свои костыли и пляши! Руута ставит и много! Тот Господин нам стол накрыл! Тот Господин обратил к нам Лик Свой и не отвернет уже впредь! Он взял к себе бабушку Рууты, дом в Инчукалсе он продал, а деньги за него вложил в сумочку Рууты. Чтобы... — Никлавс остановился и, прижав руки к ребрам, выдохнул через плотно сжатые зубы: палец Того Господина угодил длинным ногтем точнехонько под ребра, аккуратно где расположена печень: предупреждая, надо полагать, — пьянство пора ограничить, нет сил бросить — так хотя бы ограничь!

— Чтобы! — нежным эхом откликнулся Петерис, журавль, журавель на болоте орет, высоко ноги поднимая.

— Да, да! Это будут ваши проводы. И начнется новое бытие, — прибавила Руута, которую Никлавс усаживал на кресло за столиком. — Аз есмь, ты есмь, он, она есмь. Оум!

— Оум! — отозвался Петерис: тощий, словно запутавшийся в своем хлопчатобумажном свитерке, он бессильно опустился рядом с Руутой.

— Бог — женщина. Дважды два — четыре. Темнота рождается от смерти, жизнь рождается от темноты. Смерть рождается от жизни. Оум! — собравшись с мыслями, Руута гармонизировала Мироздание.

— А дети рождаются от подлости... — стонал Петерис.

— Забудь о детях! Мы теперь сами дети, а она, — от табака желтый палец Никлавса указал в сторону Рууты, — наша гурия.

— Надо говорить «гуру»! — счастливо улыбнулась та, зевнув.

— Гуру, гуру, — Никлавс на миг застыл, живо что-то вычисляя, решительно пропустил пальцы сквозь длинные, спадающие на воротник волосы, подергал галстук и обернулся к Петерису. — Я думаю, тут волындаться нечего, берем сейчас большой графин и шампанское, и две, нет, три конины с собой и дуем к тебе. Что ты такой кислый, думаешь, разведенка хай подымет! Ну так к Анютке, или еще куда, по дороге сообразим.

— Едем, едем! — ликовала Руута, прочь из этого пыльного дыма.

— Едем, — Петерису было все одно, к разведенке так к разведенке, к Анютке, к Элле, Маше, Наташе Ростовской, пешим ходом в Сибирь, эх, да по старой Владимирке. Что уж тут! Бездна зазывала, приглашающе помахивал топор палача: милостиво просим присаживаться, волосики как, покороче или на загривке оставим! Вот бы только посошок на дорожку.

— Коньяк! Один, два и так далее! — вскричал он. — Мы можем пить еще мощнее!

Тоня унесла пустой графин и бутылку из-под шампанского, принесла полные.

Руута держалась наравне со спасаемыми — как бы не сломалась! И коньяк, это ведь не коктейль, тут что-то от солнца и винограда. Восток!

— Ну, Руута скоро вообще! Как Будда, как Кришна, как тот многорукий, как те духи, за все муки, новый мир себе копаем, строим, роим, создаем, набираемся вообще! Так назююкаемся же! — Никлавс воспарил, сейчас, сейчас он взлетит, не трахнуть бы только башкой об потолок!

— Надеремся до полной отключки! — воспрял Петерис. — Полнота — это мечта моей жизни, мой идеал. Полное брюхо, полная девочка, блондинистая полнотью, к полногрудой груди природы. Чтобы полная полнота! Там есть что-то, что видит око... — мысли толкались и блуждали, как в лесу, деревья подходили все ближе и ближе, эти ведь старые добрые стены «Шкафа» и были

деревьями, они же из дерева... Бурые как ЛБ, элбэ, абрреватура, абррррватуррра Латвийской бурой, брюнетки. Буро-бурая брюнетка с круглым животом и рога гнутые...

— Господа художники и прочие нарушители супружеской верности! — расхаживая между столиками, Тоня похлопала в ладоши, как детсадовская воспитательница, созывающая разбежавшуюся ребятню. — Мы закрываем! Нет, нет, ни грамма больше! Приходите завтра! Заходите в другой раз! Завтра, завтра!

— Мадам Тоня! — Никлавс вскочил и бросился вслед за полным, затынутым в узкое плетью телом (как детеныш косули за белым хвостом матери), стараясь удержать взглядом бантик завязочки накрахмаленного передника. — Нам бы парочку...

— Нет, сегодня никак, — Тоня сочувственно покачала головой. — У нас проверка.

— Тоня! — Никлавс умоляюще протянул руки. — Ну хоть одну!

— Нельзя, ребята, сегодня никак. — Тоня стремительно ушла, продолжая хлопать в ладоши.

Свет под потолком был трижды выключен и включен, они были подняты на ноги, ворча, бормоча и икая втиснуты в верхнюю одежду, салютуя и кланяясь — дразнясь, что ли! — были выставлены на улицу. В ночь, теплую и бесстрастную.

Налево, над вытянутыми руками памятника Свободе мерцали три тусклых звезды, ветер кружил в воздухе трамвайные билетки, окурки и серую пыль.

— Ветер с Востока! Ветер с Востока сильнее ветра с Запада! — декламировала Руута. — Мы пойдем на Восток, в Дварку.

— На улицу Дзирнаву, деточка, это ведь тоже на восток, — успокаивал ее Никлавс.

Подхватив Рууту под локотки, наклонившись против ветра, они вошли в ночь.

II

Порыв ветра принес со стороны Даугавы комаров — те, под прикрытием ночи и городского шума, роились вдоль всей улицы Дзирнаву в поисках припозднившегося пешехода и приставали к торговцам водкой, которые держались в тени подворотен и, укрывая сигареты в ладонях, следили за окрестностями подобно импортным шпионам из плохих приключенческих фильмов, готовые исчезнуть, едва появится милицейская машина, либо, мгновенно и однозначно оценив валкую походку озирающегося пешехода, выскользнуть из укрытия и шепнуть: надо! Надо, надо, конечно, надо, иначе, чего ради тащиться ночью на улицу Дзирнаву!

Через перекресток прогремывал дежурный трамвай с одиноким, дремавшим на заднем сидении пассажиром.

— Привязался как комар... — проводил трамвай взглядом Петерис.

— Это что-то ненормальное... — Руута, приподняв подол, шлепала ладонью по колену. — Сквозь чулки кусаются!

— Бедняжкам кушать надо, бедняжки пить хотят, — бормотал Петерис. — Они хотят, хотят, хотят...

— Теплой свежей крошущи! — взмычал Никлавс. — А ты пересекаешь дни их! Как тебе, уважаемая Руута, не стыдно! Представь, что тебя норовят прихлопнуть, едва ты потянешься рукой к бокалу шампанского!

— Я их только прогоняю! — Руута отпустила край юбки и замахала руками над головой. — Кыш, кыш, кыш. Летите в теплые страны, пейте нектар орхидей!

— О! — Никлавс внезапно остановился и воздел палец к небу. — Нектар! Вот, что нам требуется! И немедленно! Вы ждите тут, а я за ним слетаю!

Он выжидательно обернулся к Рууте, которая, размахивая руками, спотыкаясь и покачиваясь, крутилась как щенок, стремящийся поймать собственный хвост.

— Только быстро! — отозвался Петерис. — Ну, иди же, чего тарачишься!

— Ты что, вообще! . . . — Никлавс вывернул карманы брюк, на землю высыпались обгорелая спичка и табачные крошки. — Деньги же у нее.

Руута остановилась и принялась ковыряться в сумочке столь лихорадочно, будто у Никлавса начался сердечный приступ и спасти его может лишь та единственная таблетка нитроглицерина, которая где-то тут должна была быть. Должна быть!

Пальцы нащупали карманный платок, записную книжечку, зеркальце, погрузились в недра сумочки, заполненные разнообразной женской мелочевкой, залезли за отставшую подкладку и ухватили несколько раз сложенную купюру.

Три вдоха облегчения слились в один, свились в смерчок, на время разогнавший озверевших кровососов.

— Чего это сразу такую! — Никлавс расправил большую светло-коричневую денежку.

— А другой нет . . .

Полная сумка таких! — Никлавс сунул деньги в карман. — Больше нет . . . Что, не хватает! — она мгновение помолчала, потом, доверительно поглядев в глаза Никлавсу, сказала: — Дома у меня есть еще. Две.

Когда дом умершей бабушки был продан, то дяди и тети, кузены и кузины собрались вместе и, склонившись над листком в клетку, долго считали все и пересчитывали, слюнявя по очереди химический карандаш, и, наконец, вычислили, что доля Рууты составляет четыре сотни пятьдесят рублей.

Одну сторублевку она потратила тут же, купив давно желанную «Бахавадгиту», две пары чулок и сумочку, пятьдесят . . . пятьдесят остались, наверное, там, в баре, но что такое деньги, чтобы о них тревожиться . . . это же только грязные бумажки.

— Не волнуйся, хватит. Только . . . где такое разменять! — Никлавс покачал головой и, резко развернувшись, выпавшего конторщика, направляющегося на профсоюзное собрание.

Петерис, прислонившись спиной к облупившемуся фасаду, созерцал Рууту, которая, зажав под мышкой белую сумочку, стояла и слегка покачивалась, не обращая внимания на комаров, которые с хоботками наперевес пикировали на ее голени и по-локоть голые руки.

— Спасительница! — отвернулся он, поморщившись. Знаем мы таких спасительниц! Сначала: вот тебе пивко, вот тебе чистая сорочка, а после — к суду и гони монету! . . . за все! До копейки сосчитает! Верующая она, видишь ли! Что это за вера, чтобы по ночам с чужими мужчинами бегать? А ну вот я тебя сейчас здесь изнасилую! А ну как . . .

— А вот если я пойду сейчас за ним, а тебя тут оставлю! — он сложил губы в угрюмую улыбку.

Руута не ответила, только крепче прижала к себе сумочку.

Петерис прокашлялся.

— У тебя всегда в сумочке сотенные!

Руута молчала.

— А почему именно одной бумажкой!

— Я ненавижу деньги. Чем крупнее купюра, тем отвратительнее и мельче. В деньгах нет ничего духовного . . . Это символически . . .

— Я тоже, вообще-то . . . мне тоже . . . я тоже, вообще-то, деньги ненавижу. Сами деньги мне ни к чему, но вот свобода, которую они дают . . .

— Деньги приносят только рабство!

— Ах, вот как! — Петерис вспыхнул. — Именно у рабов никогда денег нет. Знаю я таких, которые по утрам у ларька двадцать семь копеек кланчат. Дай, дай . . . Ногой таким по харе!

— Как, Петерис! — на лице Рууты, как по карнавальному отблеску огней погружающегося в пучину «Титаника» пробежал испуг. — Как же так можно о человеке: по харе. Да еще ногой!

— А почему нет! И захватить тоже могу, если что. У

меня, как никак, сорок шестой размер. Приличные туфли нигде не достанешь, надо идти в «Гигант», а там такие трусищи . . . Онемеешь! В таких только медведи и лошади в цирке выступают. Я сам однажды видел, — мысли Петериса трепыхались, барахтались и фыркали, как закинутый однажды ранней весной в гауинский порог кот. — Привозит цирковой фургон медведя, напяливает на мишку такие вот семейные штаны салатного цвета и будь спок. Нет, знаете, эти мишке трут немного, хвосту мешают, дай-ка другие, мишке, видите ли, в Италию ехать, на гастроли. Мишке в Италию, да! А мне, — он приблизил свой нос впритык к потемневшему лицу Рууты, «Титаник»-таки потонул. — А мне в Италию не охота, да! Мне тоже хочется, а у меня денег нет. Это, что ли, жизнь! Рабство это. Рабство в салатных . . .

— Пошло . . . — Руута отступила на шаг и прислонилась к стене.

Петерис жестикулировал и разевал рот, как в немом фильме, голова Рууты гудела и звенела, из-под низа стеклянных входных дверей «Шкафа» через весь город тощей змеей протянулся бикфордов шнур, шипя, мгновенно настиг Рууту, взорвал рюмку «Шварцвайса», которую почти насильно влил в нее Никлавс со словами «до nirваны один шаг», уговаривая выпить за здоровье всемогущего Кришны, и она не могла отказать . . . Как можно было отказать выпить за здоровье этого единственного, который черный, черно-лиловый, нет, надо говорить фиолетовый, иссиня-черный, как грозовая туча, несущая жизнь изнемогшей, стенозающей земле — ой, ой, Кришна, тот, кого в трактате «Жизнь Кришны» описал Бенкимочондра Четтерпхадди, тот, о ком учит Лалу Джи Лал, убаяюкал ум, наполнил стакан — как прозрачный символ пустоты — и содержимое которого перешло в Рууту, обжигая горло. Еще и еще раз — помянуть всех ушедших и на брудершафт, и за тех, кто умер в детстве — чистых и невинных, и Руута представила своего братика, умершего при рождении, теперь он уже принц в другом кармическом цикле и ему хорошо там, очень хорошо . . .

— Я больше не могу, — она прикрыла глаза. — Мне плохо.

Петерис остолбенел на полуслове, — как это от Италии вдруг плохо! Площадь Святого Марка, сплошь в голубином помете, богатые американки с голубыми волосами, песни гондольеров в американской аппаратуре, морские водоросли, погружающийся в пучину город, львы в гербе привстали на цыпочки, чтобы ног не замочить, дож отправляется обручаться с морем, кольцо летит в воду, Яго завистливо подглядывает, мавр тискает в руке платочек, душит и удушает Дездемону, Элеонора Дузе воздела руки к небесам, а там, в одномоторном самолетике, пролетает Габриэль д'Аннуцио, легионеры, подражая Цезарю и Гаррибальди, отправляются в Фаюм, содрогается земля в Сицилии, нет мира под оливами, кренился Пизанская башня, гвельфы лают с гибеллинами, а Данте расставляет всех по своим кругам, все гнется, изгибается и сгибается окончательно . . .

Подхватив Рууту, вознамерившуюся усесться прямо на асфальт, Петерис заволок ее в какую-то из темных подворотен Сан-Ремо. Нет, это все же Венеция, конечно Венеция и сейчас в гондоле приплывет Никлавс, приплывет и все станет полный блеск.

— Ничего, ничего, это все свежий воздух. Скоро он прилепает на гондоле, тебе ведь нужна гондола . . .

— Не хочу гондолу, меня от нее вывернет . . . Я ничего не хочу. Это кара господня . . . — Руута стонала, обхватив голову руками и, затухая, однообразно качалась в такт словам.

— Все будет хорошо, будет хорошо, — Петерис продолжал гладить теплое плечо, здесь неподалеку, зажав, как гранату с выдернутой чекой, в ладони сторублевку бродит Никлавс, ищет водку. Он может нас не найти, подумал Петерис и через плечо посмотрел на улицу.

Там, с той стороны подворотни, в свете фонарей волновалась и блестела отшлифованная шинами мостовая, она

легко колыхалась и казалась в лунном свете тихо вздыхающим венецианским каналом, по которому в мраморной гондоле приплывет Никлавс, нос гондолы разделит маленькие, округлые, гранитные волны как масло, и за спиной останется огромная, словно прочерченная гигантской мидией, борозда, в которую опять, должно быть, запихнут какую-нибудь канализационную трубу, потому что всё всегда и везде обязательно загадят, осквернят любую святыню, церквям отпилят кресты, а колокола перельют на пушки, чтобы стрелять друг в друга, чтобы все дружно сгнили в поросших кустарником братских могилах. И она сгниет, только пока об этом будто бы не знает, спит и мечтает о возрождении...

Руута сложила руки как первоклассница, спокойно дышала, легко поднималась полная грудь. По двору, вдоль противоположной стены пробежала, шурша, крыса, зыркнула своими булавочными глазками. Петерис встряхнулся и отнял руку от Руутиноного плеча.

— Снасьльничать вздумал!

Из глубины двора, из-за полениц, как призрак, бесшумно выринула инвалидная коляска. Высунувшаяся из нее костлявая, с выпирающими скулами голова, задумчиво оценивая происходящее, обратила к Петерису побагровевший кончик носа.

— Она же набралась как...

— Хотел, хотел, а я вот тебе помешал! — коляска по дуге приблизилась вплотную.

— Заткни пасть, обезьяна старая! — итальянский клещ отпустил Петериса, он снова в подворотне на улице Дзирнаву, вместе с уснувшей Руутой и привязавшимся инвалидом. — Это моя жена.

— Извини, парень! — старик внезапно, перегнувшись через руль, визгливо всхлипнул. — Я катался в Межапарке, и они изнасиловали. На моих глазах! Пусть старый покайфует — говорят. Для того ли я до Берлина дошел, чтобы теперь можно было насиловать! Для того мы воевали! Мы так воспитывали!

— Кого вы вообще воспитать можете, убийцы! Перебить весь мир, потом выковырять кровь из-под ногтей и нам рассказывать, что не хорошо кошек за хвост дергать. У тебя выпить найдется! Приятель пошел, но вот... — Никлавс не было уже слишком долго, целую вечность, оставил его тут со всякими сектантами и насильниками.

— Сам ищущий, — пронзительные сетования инвалида оборвались столь же внезапно, как и возникли, он выпрямился и оглядел Петериса исполненными надежды глазами, в уголках которых еще блестели слезы. — Ты говоришь, пошел искать! Дашь глотнуть!

— За то, что над моей головой мирное небо! — глумливо процедил сквозь зубы Петерис.

Инвалид беззвучно пошамкал губами, покорно приоткрывшаяся между выпирающими плечами голова вызвала в памяти Сухуми, летнее кафе и большого отощавшего пса, который — паршивый и облезлый — ворочался в острых пахнущих кустах, ожидая с небес съедобного дара, но, зажав хвост между ног, убежал, когда Петерис швырнул ему вымоченный в бараньем жиру кусок хлеба.

— Получишь. — Буркнул он. — Послушай, старче, одолжи коляску. Надо, понимаешь, парня найти, а девчонку я так оставить не могу. Мы раз-два и обратно с водкой, и тебе — твоя доля.

— Мда... — старик почесал лысый череп. — Денег у меня нет... это раз. А ты знаешь, сколько такая коляска стоит! Она у меня с мотором. Хочу — кручу ручку и еду тихо, незаметно. Хочу — врубаю мотор и катаюсь по господски.

— Кончай! — Петерис состроил гримасу. — На кой черт она мне сдалась!

— Хе... В хозяйстве все сгодится! — инвалид, коварно ухмыляясь, поглаживал подлокотники коляски. — Ты думаешь, у тебя ноги вечные! Никакой войны не надо, возьмет трамвай и отрежет. Тогда как!

— Пришьют на место! — отмахнулся Петерис. — Теперь, знаешь, как умеют! Сам только проследи, чтобы

пьяный хирург левую с правой не перепутал. Так даешь ты мне свой ящик!

— Ладно! На что только человек ради водки не пойдет! — инвалид зашевелился, стащил с кулеть кусок замызганного фланелевого одеяла. — Помоги мне выбраться и поставь туда, вон в тот угол. Только надолго не исчезай!

— Приятеля отыщу и обратно... — Петерис извлек инвалида из коляски, тот, как ребенок, обхватил его шею длинными руками, и усадил в нишу возле замурованных дверей, куда вели три мраморные ступеньки. Мраморная гондола...

— Только ты не забудь, — скрипел, устроившись, инвалид. — Это юбилейная коляска, мне ее на годовщину преподнесли, торжественно, с цветами. Смотри, не раздолбай!

— Ладно, ладно! — отозвался Петерис и, повесив на шею белую сумочку, установил на ноги Рууту, которая, застонав спросонья, обвила его шею рукой и тяжело, липко прижалась к груди.

— Стоп, стоп... не так шустро... — бормотал он, волоча Рууту к коляске, втиснул ее на сиденье, одернул юбку, которая задралась и открыла колени, и вырлил на улицу.

Инвалид проводил их взглядом, исполненным сожаления.

— Обманет. На... ет, — пробурчал он, получится как в тот раз, с концами коляска, укатили, а кто виноват! Сам же и виноват! И в первый раз, что ли! Первая, с лакированными спицами — буржуи, когда на корабль зазили, в Лиенае бросили — та пропала. Потом ящик из-под масла, с коричневой выжженной надписью «Латвийский экспорт масла» и шарикоподшипниками внизу; кругом — собратья по несчастью, вернувшиеся, вынесенные, выброшенные из санитарных поездов и госпиталей, с аккуратно отрезанными ногами, с юфтью на заднице, с деревяшками в руках — чтобы отталкиваться, звякая медалями по вокзалам, рынкам и «американкам» — проклятое наследие войны. Коля — в танке горел и до конца не сгорел (пустые глазницы к небу и костыли) — против Кажиньша, у которого всего одна рука, а та — с тремя пальцами, как раз чтобы фигу сложить. А остальное — у Голубого Дуная, в Венском лесу, в Пратере, зарыто возле колеса обозрения. Костыль против костыля, в воздухе ругань, испарения древесного спирта, пачки червонцев и девки, заезженные фронтовые клячи, поезда, трофейные аккордеоны, жалостные песни... Где все это! Где этот тип с его юбилейной коляской! Эх, не встретишь уже... еще одна военная потеря! Как у дурачка коляску выманил. Лучше бы сам пропил...

Купюра — большая и светло-коричневая — несла Никлавса вперед, фасады улицы Дзирнаву пронеслись мимо, как декорации в павильоне, где снимают про индейцев, трубы и флюгера раздирали на полосы проплывающие мимо облака, иное из которых задерживалось, зацепившись за шпиль, обматывалось вокруг него и трепетало, поджидая порыв ветра. Подворотни и лестничные помещения пахли и чернели опасно.

Неподалеку, взвизгнув, остановилась милицейская машина, голос ударами плети искромсал воздух, лампочка вспыхнула и отразилась в кошачьих глазах.

Никлавс тенью прижался к стене, треть измерение его тела куда-то слиняло, мысли стали плоскими, как дипломат, который он потерял вместе со всеми документами, так что четверо задержанных теперь как сидят, так и будут сидеть вечно в камере, куда сейчас запихнут и его. Практику не засчитают, из университета отчислят: в период прохождения практики студент Роде задержан на улице Дзирнаву в поисках водки, водки, водки — какой-то комар, старательно и верно следовавший за Никлавсом, высматривал щелочку, куда вставить хоботок, — ну вот же он, вот он теплый поток крови, не слишком, конечно, хорошо пахнущей, какую только дрянь не пьют эти ходячие горы

мяса, скоро ДДТ глотать примутся, убийцы! Вот она, тень на стене! Комар ринулся вперед.

Никлавс, ощутив острый укол под ложечкой, простонал.

— Тихо, тише! — тут же, возле уха возник сиплый, как сквозь мешок из-под муки, голос.

Никлавс задрожал — рядом с ним, почти вплавившись в стену, стоял маленький, обросший длинной и редкой щетиной мужичонка в лоснящемся от нечистот болоньевом плаще.

— Не дергайся и уматывай! — выдохнул пыльный голос. — Я тут на шухере. Сегодня выходной, все срыли. Приходи завтра! Много уже погорело, хватают всех подряд...

— А на Калну, — испустил стон Никлавс, — на Малой Калну!

— Насчет Калну не знаю, там другие и вообще... я на посту, а ты сваливай! — торопил голос.

Никлавс отклеился от стены, взглянул через плечо на зловещую желтую машину, в которую два милиционера запикивали громко протестующего и нетвердо держащегося на ногах парнишку, и заспешил прочь. Что да, то да — ни за что, ни про что, а на двенадцать суток загремишь без разговоров, а если еще Петерис с этой придурковатой улыбающейся божьей коровкой вздумает сюда притащиться, так повяжут всех, как миленьких.

Петерис, стараясь совладать с коляской, никем не удерживаемый руль которой ходил из стороны в сторону, двигался вперед, то балансируя передним колесом на кромке тротуара, то цепляясь за стены домов, петляя как собака, которой по ходу дела надо изучить все запахи по обеим сторонам дороги. Шедшего большими шагами, почти бегом, Никлавса и грозно припаркованную возле ресторана «Мельник» машину он обнаружил почти одновременно.

— Облава! — просипел Никлавс, опознав Петериса.

— Достал! — допытывался Петерис.

— Ничего не достал, быстро, быстро, они сейчас будут здесь! Врубай свой ящик и поехали! Где ты его вообще откопал! — только теперь он осознал, сколь странно и неправильно выглядит Петерис в этой коляске, в которой, как тряпичная кукла, мотается еще и Рууту.

— Одожил... — Петерис обежал коляску и, схватив обеими руками переднее колесо, развернул его в требуемом направлении.

— Ну так по газу и вперед! — Никлавс пугливо озирался: протестовавший юноша был упрятан в округлом животе машины, та — тяжелая и удовлетворенно разбухшая — тихо отклеилась от сверкающего бульжника и медленно приближалась, боковым прожекторчиком рассматривая подворотни.

Петерис, отвернув бензиновый краник, негнуцимся большим пальцем давил на поплавок карбюратора, пока не ощутил кожей холодящую влагу.

— Лезь внутрь, ты тощее! — Никлавс впахнул его рядом с Руутой и, подтолкнув средство передвижения, вскочил на подножку.

За спиной, обняв уснувшую Рууту, смеялся Петерис, в ушах свистит ветер. Расправив плечи, Никлавс слегка согнул колени, как древний грек на боевой колеснице.

— Останови у тех вон ворот! — кричал Петерис. — Надо хозяйна прихватить.

— И не подумай, обождет! — отозвался Никлавс.

— Так нельзя! — Петерис отодвинул Рууту и, как ребенок в материнский подол, вцепился в край пиджака Никлавса. — Этот старик под завязку, и ног у него тоже нет.

— Ладно, подберем! — сжалился Никлавс. — Где подворотня! Прихватим на ходу!

— Стоп, стоп, вот она!

Никлавс, нагнувшись вперед, повернул руль, коляска выскочила на тротуар, впилась в подворотню и остановилась точно подле инвалида.

— Этот, что ли! — Никлавс указал пальцем на застывшего от изумления безногого, будто это обычное дело, что по ночам на улицах рассиживают инвалиды и надо выбрать

одного из, по меньшей мере, десятка. Не дождавшись утвердительного кивка Петериса, схватил старика, который, не включившись в ситуацию, закрыл голову руками, и впахнул того в коляску.

— Облава! — крикнул Петерис в крупное, угловатое ухо и, освобождая ему место, сел на подлокотник. — Они прочесывают на машине, скоро будут тут, твоя шарманка нас выдержит!

— Выдержит! — моментально придя в себя, крикнул в ответ старик. — И пятером езживали. Не разворачивайся, давай во двор, слышишь, ты, колбаса собачья! — заорал он на Никлавса, который, едва коляска пришла в движение, начал выворачивать на улицу. — Рули во двор, тебе сказано! Там щель между поленицами! Они застрянут, а мы — проскочим!

Коляска медленно набирала скорость, возле подворотни остановилась милицейская машина, луч прожектора высветил свод подворотни, вытянув тени беглецов наподобие пирамидки Бременских музыкантов.

— Приехали... — прошептал Петерис, ну вот оно, это несчастье, чье дыхание он ощущал уже несколько дней, все предыдущее это только цветочки, ягодки-то вот они...

— Молчать! — гаркнул старик и, отпихнув Никлавса, вцепился в руль; Никлавс завалился на Рууту, полулежа глядел назад — медленно, слишком медленно едет коляска...

Милицейская машина, тихо жужжа, заворачивала в подворотню, громкоговоритель выплевывал злые слова:

— Товарищ инвалид, сейчас же прекратите безобразничать! Вы оказываете содействие в попытке побега особо опасным преступникам! Если вы сейчас же не остановитесь, мы примем соответствующие меры!

Голос отражался в углах двора и волнами со всех сторон набегал на коляску.

— Стрелять будут! — Петерис пригнул голову.

— Я им — стрелять! — прорычал старик. — Сами надрались как свиньи, наконфисковались водки, насобирали податей, проклятушие...

Коляска ловко, как крупная крыса, шмыгнула в щель между двумя поленицами, за спиной взвизгнули тормоза, хлопнули двери машины.

— Не уйдешь! — громыхали шаги бегущих по камням двора.

— Не первый раз замужем. Побегай-ка еще! — хихикнул инвалид и направил коляску в дверь подъезда напротив.

С грохотом двери стукнулись о стену, повозка ввалилась на лестничную площадку, и двое подростков, тихонько там целовавшихся, бросились по лестнице вверх, как спасающиеся от разъяренного бульдога коты.

— Держись! — в упоении вопил инвалид.

Коляска подпрыгивая ссыпалась по двум ступенькам, с еще большим грохотом распахнула двери на улицу — разбив при этом переднюю фару.

Одинокий пешеход, взглядом проводив ездоков до угла, повернул голову и, нагнувшись, успокоительно погладил маленького, тонконового песика, прижавшегося к его ногам.

— Руки вверх! — еще раз стукнули двери, и в глаза вонзился узкий, колющий свет ручного фонаря.

(Продолжение следует)

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ ЯНИСА МИСИНЫША

В последней трети 19 века в Латвии проходил интенсивный процесс аккумуляции культурных ценностей. Во главе его стояли личности выдающиеся, с широким кругозором, а в отдельных мероприятиях участвовало множество людей, понимающих значимость этой большой работы для жизни своего народа. Всех не перечислить, но вспомним, что именно в этом периоде следует искать первоначала таких работ как «Латышские дайны» Кр. Баронса, «Материалы латышской народной музыки» А. Юрьянса, словаря К. Миленбаха, издаются и значительные поэтические антологии. В середине 80-х годов к этому движению присоединяется и ЯНИС МИСИНЫШ (1862—1945) со своим прекрасным замыслом — собрать все латышские книги. Вклад Я. Мисиньша в латышское книжное дело — собранная им библиотека латышских книг и составленный библиографический «Указатель латышской литературы» — можно сравнить с вкладом Кр. Баронса в фольклористику. Исследования истории библиотек и истории библиографии относительно всесторонне осветили сделанное Я. Мисиньшем. Меньше говорились о самой личности Я. Мисиньша. Это и побудило автора этих строк познакомиться читателей с воспоминаниями Я. Мисиньша. Сам Мисиньш свое объемное сочинение на 140 машинописных листах назвал «Вглядываясь в прошлое», на титульном листе автор поясняет, что воспоминания по его рассказам и замечаниям были «обработаны К. Дзильлейей». Воспоминания состоят из девяти частей, которые «закончены» в такой степени, что читаются как отдельные. Первые шесть — автобиографичны, рассказывают о детстве и юности Мисиньша. В седьмую часть — «Зоркие века» — вошли воспоминания Мисиньша о современниках (их — 28 человек), большинство — деятели латышской литературы. Следующая часть — «В глубине сердца» — посвящена самым близким Я. Мисиньшу людям, а последняя — «Дальние дороги» — позволяет побывать вместе с ним в зарубежных поездках. Немного о прежних публикациях этих воспоминаний. Несколько небольших цитат из двух частей («В глубине сердца» и «Дальних дорог») были напечатаны в «Literatūra un Māksla» уже в 1945 году, в номере за 26 января, рядом с сообщением о смерти Я. Мисиньша. В первом номере журнала «Karogs» за 1946 год под заголовком «Вглядываясь в прошлое» были напечатаны первые шесть частей. Эта публикация с незначительными изменениями была повторена в «Избранном» Я. Мисиньша, увидевшем свет в 1962 году. Ни в одной

из указанных публикаций не было сносок о том, что печатается только часть сочинений большого объема. Не говорится и о том, что в напечатанных фрагментах есть пропуски текста. Почти все эти изменения появились из-за стремления сделать Мисиньша «более правильным», поэтому фамилии многих людей, упомянутых в воспоминании, вычеркивались, а иногда они заменялись словосочетаниями типа «один врач», «один писатель». Характерный пример. В оригинале: «Народное пробуждение шло по Тирзе вместе с песнями Лиго» — так говорит Андриевс Ниедра о том времени, на которое пришлось и моя юность, и я вместе со всеми пел песни Лиго...» В журнале «Karogs» (с. 89) вместо Андриевса Ниедры «... так говорит ОДИН ПИСАТЕЛЬ...»

А в «Избранном» (71 стр.) в связи с тем, что празднование Лиго в 1960-е годы искоренялось, текст выглядит так: «Народное пробуждение шло по Тирзе с ПЕСНЯМИ», — так говорит ОДИН ПИСАТЕЛЬ... и я ПЕЛ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ». Ни в одной публикации не говорится о роли К. Дзильлейи в создании текста воспоминаний, неизвестным остается и местонахождение рукописи, на основе которой был создан «канонический» вариант в «Karogs». Некоторые пропущенные цитаты во введении к «Избранному» и в книге Ф. Ранцанса «Янис Мисиньш и его библиотека» (Рига, 1963) свидетельствует, что хотя бы у составителей «Избранного» было представление о полном тексте воспоминаний, и что один его экземпляр хранился в фонде Я. Мисиньша отдела рукописей и редких книг Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР. Сегодня этой рукописи здесь больше нет. В основе данной публикации — перепечатанный экземпляр воспоминаний, его в 1986 году сдал в Государственную библиотеку ЛатвССР им. В. Лациса сотрудник библиотеки А. Германис. Отбирая для публикации фрагменты из части «Зоркие века», вспомнила, что у каждой мысли есть свой потолок, поэтому тексты относятся к изображенным Мисиньшем личностям, цитируются полностью. Знаком «*» отмечены пояснения самого Мисиньша. Мои комментарии (да простят меня читатели) минимальны, лишь кое-где они помогут читателям «лабиринтов» в тексте. В тексте они отмечены цифрами и помещены в конце публикации».

И. КЛЕКЕРЕ

ЗОРКИЕ ВЕКА

Мне много раз напоминали о том, что я не могу уйти из этого мира, не рассказав о своих современниках примерно так, как это сделал Матис Каудзитис в «Воспоминаниях о народном веке». Это я и хочу сделать в этой части, название для которой я перенес с одной из своих папок, в которой собирал портреты и автографы деятелей своего века. Но делаю это с известными оговорками. Во-первых, я не хочу говорить о живых, ведь пока день человека не перешел в вечер, рано его характеризовать и оценивать. Во-вторых, в рассказе о моих современниках, уже ушедших к праотцам, пусть лучше будет сказано слишком мало, чем слишком много. Как учит пословица «Для еды — весь рот, для разговора — половина».

Все упоминающиеся здесь «Зоркие века» действительно заслужили такое обозначение, и со всеми мне в жизни так или иначе приходилось соприкасаться. Нет ничего удивительного и в том, что все они — либо писатели, либо публицисты, то есть тоже книжники; то, что они сочиняли и выпускали в свет, я собирал на своих полках.

Мое знакомство с братьями Каудзитис — Рейнисом (1839—1920) и Матисом (1848—1926) в действительности так же старо, как «Времена землемеров». Правда, с Матисом Каудзитисом я уже переписывался, отсылал ему народные песни,

еще до начала моей переписки с Бривземниексом. Так что, хотя бы мое имя, было Матису Каудзитису уже известно.

В 1879 году после выхода в свет «Времен землемеров» оба брата предприняли длительное путешествие, отправившись пешком из Видземе в Петродворец. В самый Янов день они зашли к учителю Веленской приходской школы П. Берзиньшу, переночевали у него, посетили богослужение в Веленском приходе. Брат Рейниса и Матиса Каудзитис — Антонс. Его отец, которого я несколько раз видел, судя по его походке и поведению, был явным прототипом Тениса Гайтиня. Сын — Антонс Каудзитис, был, как бы это сказать, весьма легкомысленным человеком, нерасторопным в делах, несметливым. До этого он работал ямщиком на Веселауской почте, и свою работу кучера у доктора Шуммера исполнял весьма небрежно. Желая приучить Антонса к порядку, я много раз заходил к нему, давал советы по уходу за лошадьми, показывал, как содержать в относительноном порядке повозку и упряжь, которую он обычно разбрасывал как попало. Пускаясь с ним в разговоры, я узнавал кое-что о детских годах Рейниса и Матиса Каудзитис, поскольку все они жили по соседству. Антонс рассказывал мне, как все они в молодости начали заниматься токарным делом, изготавливая трубки, и Рейнис, как самый взрослый, был у них за старшего. Трубки в воскресенье вечером они носили продавать в корчму, и так зарабатывали неплохие деньги. Антонс Каудзитис тогда начал работать как токарь: делал прялки, возил их продавать по окрестностям, особенно в Эстонии. Наверное, ремесло токаря ему не слишком поддавалось, поскольку он бросил его и стал кучером. Антонсу

так и не удалось прожить весь год у доктора Шуммера. Однажды утром, когда нужно было подавать упряжку к дверям, чтобы отвезти доктора к больному в Друвиену, у Антонса вырвалась и ускакала пугливая лошадь. Он верхом на другой бросился ее ловить, но это ему никак не удавалось. Лошадь через поле, через луга ускакала к лесной опушке. Доктор, конечно же, не мог ожидать, пока Антонс, как ковбой, закончит погоню. Он взял лошадь у корчмаря и поехал вместо кучера. На другой день Антонса выгнали и, насколько помню, проводили оплеухой.

В уже упоминавшийся Янов день Рейнис и Матис Каудзитис встретили Антонса возле Веленской церкви и спросили его обо мне. Матис Каудзитис велел передать мне привет, прислал свою визитную карточку, я был очень горд и польщен всем этим.

Когда потом я начал знакомиться с братьями поближе, и особенно видя их на летних собраниях учебных комиссий, было интересно наблюдать, какими разными они были по характеру. Рейнис по-крестьянски прост и медлительен, но не без хитрости, а иногда проявлялась и его саркастическая ирония. Матис же, напротив, всегда как будто играл роль изящного господина: он одевался по последней городской моде, заставил мягкой мебелью свою комнатушку в Кайбенях. Несхожесть их характеров (насколько она проявлялась во внешнем облике) видна и на известной фотографии, где оба брата сняты во время путешествия.

Речам Матиса был свойственен известный пафос. В них чувствовалась и определенная доля рутинности, также как и во всем его облике, в его вкусах. Матиса Каудзитиса как поэта я любил и уважал еще со школьной скамьи, когда только что вышла в свет первая часть его песен. Я переписывал их много раз, и лишь некоторые не знал наизусть. Они дороги мне и сегодня.

Любя и уважая Матиса Каудзитиса как настоящего писателя, я все же никогда не мог примириться с некоторыми, казалось бы, несозвучными тонами в его характере. Познакомившись с ним поближе, начал понимать, — все это идет от того, что многие люди, и особенно из числа ближайшего окружения, ненавидели его. Настоящими друзьям мы стали тогда, когда уже успели поседеть. Когда Матис Каудзитис отмечал свой 75-летний юбилей, я устроил по этому поводу выставку в помещении Рижского Латышского общества, тщательно собрав все то, что было связано с жизнью и работой писателя. Не было никого, кто бы субсидировал эту юбилейную выставку, поэтому все материальные издержки пришлось нести мне самому. Но я чувствовал себя радостным и удовлетворенным, моим вознаграждением была признательность и искренность юбиляра.

О Рейнисе Каудзитисе отдельных воспоминаний у меня нет, с ним часто встречаться не приходилось. Матис часто гостил в моем доме, Рейнис не заходил никогда. Вспоминаю один день рождения Апсишу Екабса: я приехал в Ригу из Леясциемса, и случайно попал на этот вечер. Там был и Рейнис. В разговоре мы начали вспоминать свои зарубежные путешествия. Оба брата Каудзитис, несмотря на маленькую учительскую зарплату и скромные побочные доходы, все же сумели попутешествовать по отдаленным краям. Понятно, что совершать эти путешествия они могли, только соблюдая строжайшую экономию во всем. Это надо бы учесть всем тем, кто братьев, и особенно Матиса, считали скупыми. Не один из наших литераторов получал для путешествия пособие Фонда культуры и путешествовал в более выгодное время, чем братья Каудзитис. Учитывая это, не удивляешься, что экономия иной раз доходит до скупоности, чтобы можно было как-то выжить. Говоря о путешествиях, Рейнис заметил, что на чужбине прежде, чем сделать заказ в ресторане, полезно спросить, что сколько стоит. Мне захотелось сыронизировать, и я сказал, что я об этом никогда не спрашивал, а иногда мой вопрос был таким: «А лучше у вас ничего нет!» Услышав это, Апсишу Екабс тихо усмехнулся.

Апсишу Екабс — Янис Яунземс (1858—1929). В ранней юности, когда у меня не было возможности продолжать образование, я с завистью слушал разговоры о том, что Трайдеру Янис посещает Цесисскую уездную школу (Отца Апсишу Екабса — Андриса Яунземса у нас обычно звали Трайдером. Откуда появилось имя Трайдер, я так и не смог установить). После окончания уездной школы он какое-то время пополнял свои знания в педагогике в Цимзском семинаре, потом пошел работать учителем в поместье. В Коку, близ Руйиены, здесь начался его путь писателя — со своими сочинениями он участвует в журнале «Austrums». После многих лет, проведенных там, он перешел работать учителем в Вецгулбене. Я в то время был книготорговцем в Леясциемсе, и поэтому мы вначале вступили в деловые отношения, поскольку книги и тетради для всей школы он брал у меня. Кроме того, через мою жену мы были с ним в родстве.

После смерти брата² я был совершенно разбит, мои нервы были расстроены, я не мог найти покоя и на какое-то время

уехал к Апсишу Екабсу в Вецгулбене; там я жил, отдыхая от своих повседневных обязанностей и забот. В то время его помещиком был Пипиньш-Визулис, который примерно через год ушел учительствовать в Малпилс. Апсишу Екабс в Гулбене никакого участия в общественной жизни не принимал, жил замкнуто, постоянно занимаясь писательством. В то время я издал его рассказ «Старая церковь»³. Особенно теплых отношений с гулбенецами у него не было и потому, что он был не выбран, а назначен инспектором. В своих статьях он всегда и везде пытался морализировать. Тут надо отметить и то, что многие наши писатели, говоря об Апсишу Екабсе, подчеркивают, что свое мировоззрение он унаследовал от традиций братской общины. Это совершенно неправильное представление. Отец Апсишу Екабса был воспитанником пастора Шаца, а пастор Шац боролся с братскими общинами. Апсишу Екабс и сам говорил, что никаких связей с братской общиной у него не было. Он не был и врагом братской общины, и в молодости вместе с отцом иногда посещал их богослужения, но и к близким братской общины людям он не принадлежал. Это неверное представление, что все религиозно настроенные люди унаследовали это от братской общины. И моя молодость, как и молодость Апсишу Екабса, пришлось на то время, когда наши родители устраивали дома богослужения, т. е. домашние проповеди, и мы уже с самого детства воспитывались в религиозном духе. В том, что эти домашние богослужения глубоко запали в сердце, я убедился, читая книги своему больному брату. Он много раз просил меня снова прочесть те молитвы и те песни, которые наш отец читал на домашних богослужениях. Поэтому не надо связывать религиозную жизнь и религиозные статьи Апсишу Екабса с братской общиной, он изображал людей, с которыми познакомился в жизни. Апсишу Екабс сам правильно называл свои статьи галереями народных картин, описанные им люди встают перед глазами читателей нагляднее и живее, чем на своих застывших фотографиях. Я лично знал изображенного в рассказе «Соседи» Прайтия, его настоящее имя — Гудритис. Его страсть к русскому «чаепитию» уже граничила с болезненностью. Помню, видел это однажды, когда ехал, вместе с другими попутчиками, на ближайшую к нам в то время станцию Стукмано (примерно 80—90 верст от Лизумса). Мы все уже пообедали в корчме, выпили чаю с захваченным из дому хлебом. Гудритис зашел позпозже, и, увидев на столе чайную посуду и — к сожалению пустой — чайник, вытряхнув из него листочки чая, смял в пальцах, обсосал.

Я был близко знаком и с отцом Андриса, изображенным в рассказе «Богатые родственники». Помню, что однажды до свадьбы моя невеста выбрала его своим посланником. Утром, в день моего рождения, я отправился в Лизуме и встретил его, идущим мне навстречу. Уже на расстоянии сняв шапку и размахивая ею, он кричал: «Большое счастье! Большое счастье!» и протянул мне письмо и подарок. Пошли вместе в Лизуме. Отец Андриса был из семьи Яунземсов, поэтому и самого Апсишу Екабса можно причислить к богатым родственникам.

Возникло противоречие и между взглядами, высказываемыми Апсишу Екабсом, и его жизнью. Он был апологетом крестьянской жизни, прославлял ее, в своем рассказе «В город!» он пугал сельских людей городом, где их душевной чистоте угрожают грех и падение. Но сам он — сказал деревне «до свидания» — и полжизни провел в Риге.

После того, как Апсишу Екабс переехал в Ригу, я, приезжая сюда по своим делам из Леясциемса, всегда останавливался у него, живя иногда по 2—3 дня. Вспоминается характерный эпизод: младший брат Апсишу Екабса Карлис Яунземс был учителем в Бикерниеках. Во время революции 1905 года он присоединился к бунтовщикам хотя бы настолько, что играл в церкви на органе некоторые революционные песни. После прихода карательной экспедиции он сбежал из своей школы и прятался у брата в Риге. Апсишу Екабс боролся сам с собой: что делать! «Как верноподданный императора я не должен прятать брата, а как христианин я не могу брата предать...» Эти рассуждения услышал Карлис, он ушел сам и нашел укрытие в другом месте.

Литературная деятельность Апсишу Екабса завершилась в 1905 году. В последние годы он работал в Риге как учитель права и причетников церкви Иоанна. После того он еще пару лет редактировал духовную газету «Evangēlijuma Gaisma».

С Екабсом Лаутенбахом (1847—1928 г.), одним из представителей старшего поколения, я лично познакомился в начале периода независимой Латвии, когда он вернулся из Тарту и стал преподавателем Латвийского университета. Поскольку ему все время были нужны различные литературно-исторические материалы, то он часто заходил в мою библиотеку, которая тогда находилась на улице Слокас.

Из разговоров с ним я сделал вывод, что нашу современную

литературу он знает не так уж хорошо. Со своими знаниями, взглядами и методами он принадлежал прошлому.

Кроме литературы, его интересовали проблемы языковедения. Однажды он взял статьи Апсишу Екабса и, зачитывая вслух предложение за предложением, доказывал, где и в чем тот погрешил против законов языка. По его мнению, про статьи Апсишу Екабса никак нельзя сказать, что они написаны на чистом латышском. Для меня это было неожиданно, поскольку я всегда считал Апсишу Екабса одним из лучших знатоков народного языка.

Эти разногласия не мешали нашим дружеским отношениям. Не раз я бывал у него в гостях, и его медлительная и добрая натура исследователя все глубже раскрывалась передо мной.

Но были вещи, которые его душа не принимала. Он, например, никак не мог забыть свой стародавний спор с Теодором Зейфертсом, так что последний так и остался в его глазах лишь самоучкой. Помню, однажды мы шли с Лаутенбахом по Верманскому парку, и тут с нами поравнялся Зейфертс. Мы с Зейфертсом жили в одном доме, так что нам было по пути. Но Зейфертс тут же оценил неловкость ситуации и, сказав мне несколько слов, поспешил проститься. Лаутенбах был заметно рассержен: «Что вы знаете с этим шарлатаном».

Я все собирался улучшить удобную минуту, чтобы обсудить с Лаутенбахом полемику Парстрауту Яниса с Каудзишу Матисом, но, видя такую нетерпимость по отношению к Зейфертсу, я отбросил эту мысль.

В 1927 году на факультете языковедения и философии университета прошло чествование Лаутенбаха. Какая-то бестактная речь его заметно обидела, и весь вечер он выглядел мрачным и подавленным.

Екабс Дравиньш-Дравниекс (1858—1927) в годы моей молодости обращал на себя всеобщее внимание непривычными для тогдашнего латвийского книжного дела отчаянными планами (речь идет в первую очередь об обеспечении словарем-разговорником). Он хотел быть коммерсантом высокого полета, но вскоре обанкротился. Ему была свойственна и весьма комичная страсть к саморекламе, из-за чего над ним многие посмеивались и даже собственный шурин Адолфс Алуанс всячески «подкалывал» его в своем юмористическом календаре и газетных фельетонах. Помню, в одном из циркуляров, которые Дравиньш-Дравниекс разослал всем книжным торговцам (я тоже его получил), был помещен образец его подписи. Есть люди, которые любят похвастаться своими фотографиями и подписями, этой слабости был подвержен и Дравниекс.

Особой дружбы между нами не было, но когда под старость мы снова стали чаще встречаться в Риге, он называл меня своим единственным другом.

В последние дни своей жизни, оставшись без ноги (началась гангрена, ампутация была неизбежна), он был прикован к постели. И однажды, навещая его, я видел, как он в последний раз поставил свою подпись. Райнис, будучи министром просвещения, выхлопотал для него пособие, и Дравниексу было необходимо расписаться в получении денег.

В предисловии к тому Разговорнику [1891—1893] Я. Дравниекс пишет: «С извинениями сообщаю, что, идя навстречу многочисленным пожеланиям, в приложении излагаю и свою биографию, я не считал это необходимым, но учитывая, что издатели немецких словарей Брокгауз, Мейер, Шпаниер и другие, также помещали свои биографии, то нескромным это не считаю. Прилагаю и свой портрет — для тех, кто этого желает, те же, кто этого не желают, смогут избавиться от портрета, не портя книги». Портрет с тонкой росписью и изречением «Век живи — век учись» помещен перед титульным листом.

Я держал его за руку, которая с трудом выводила неуклюжие буквы. Тогда я и вспомнил его тонкую подпись, которая некогда красовалась над его фотографиями и в упомянутом циркуляре.

В личной жизни его преследовали неудачи, и он был глубоко несчастным человеком.

...

Теодорс Зейфертс (1865—1929) был одним из моих ближайших друзей. Где и при каких обстоятельствах мы встретились, теперь уже толком и не припомню. Об одной из наших последующих встреч сам Зейфертс рассказывает так: «Запомнилась встреча на одной из выставок картин. Осеннее солнце заливало светом выставочный зал. Посетителей немного. И среди них внимательный, весьма скептический зритель, который, перекидываясь словами то с тем, то с этим, останавливается то перед одной, то перед другой картиной. Встречаясь, мы переглядываемся, внимательно всматриваясь друг в друга. Наконец кто-то спрашивает: «Вы не знакомы!» и называет имя Мисиньша. Ми-

синьш замечает: «Иногда мы знакомы, иногда не знакомы — когда как» — и здоровается со мной»*

Более тесно мы познакомились в моем книжном магазине на углу улицы Карлиса, куда Зейфертс стал заглядывать все чаще. Собирая материал для обширной хрестоматии по истории латышской словесности, он обошел все существующие библиотеки, но поиск продолжался. С моим собранием книг он еще знаком не был, и будто невзначай спросил, нет ли у меня той или иной книги. И на все его вопросы я отвечало: «Почему же нет! Есть, конечно!» Теперь он всякий раз, когда приезжал из Олайне в Ригу, рылся в моих книгах. Мы подружились, и сблизила нас страсть к книгам. Позже обе его дочери, которые учились в гимназии Малдониса—Ирбе, все школьные годы находились на нашем «пансионе».

Сначала я считал его, известного писателя и начальника Олайнской приходской школы, куда более изысканным и надменным, чем он был на самом деле. Когда я впоследствии гостил у него в Олайне, то имел возможность убедиться в том, что он жил очень скромно, как настоящий труженик. И только когда он приезжал в Ригу и выступал на собраниях, то, как и Каудзишу Матис в молодости, старался быть изысканным и элегантным, насколько это ему, сельскому учителю, удавалось.

Летом 1915 года, когда фронт подошел к Даугаве, Зейфертс со всей своей семьей внезапно ввалился ко мне — в магазин на улице Карлиса. Бросив все свое добро в Олайне, они с узлами на спине пустились в бегство. В ту ночь я уложил их тут же, на полу магазина, среди стопок книг, а потом переправил дальше в Краце, но там их уже опередили две другие семьи беженцев, собиравшиеся перебраться в Цесис, где Зейфертс и провел годы изгнания.

Случилось так, что в Риге мы жили в одном доме на улице Слокас. Не проходило ни одного дня без того, чтобы он не забежал ко мне или я к нему. В то время он писал обширную историю латышской словесности и читал лекции в университете и академии художеств. Это был самый плодотворный период в его жизни. Он был слаб здоровьем, постоянно болел, и потому часто писал, лежа в постели, обложившись книгами.

Когда в 1929 году умер Райнис, который родился в том же году, что и Зейфертс, он воскликнул: «Вот и моя очередь подошла!» Так и случилось, он умер в конце этого же года. Его ослабевший организм стойко сопротивлялся изнурительной болезни, он хотел жить и работать, работать...

У каждого человека есть свои слабости, были они и у Зейфертса. Я бывал несдержан на язык, часто посмеивался и над ним. И чем больше он дулся, тем в больший вкус я входил. Конечно, все было по-дружески, и я не отдавал себе отчета в том, что даже дружеские шутки могут ранить тонко чувствующего человека. Сейчас я очень сожалею об этом. Над столом в моей комнате висит портрет Зейфертса. И не проходит дня, чтобы я, бросив взгляд на лицо друга, мысленно не попросил у него прощения за то, что делал ему назло...

Теодорс Зейфертс в своей жизни очень много работал. Надо иметь в виду, что для занятий словесностью и литературно-историческими исследованиями, у него оставались только ночи и редкие свободные часы. Такие, как он, энтузиасты и неутомимые труженики, в свое время выходили из среды народных учителей. Я считаю, что Зейфертс — один из тех, кто заслужил, чтобы его деятельность была известна и оценена надлежащим образом в назидание нынешнему поколению.

...

С Райнисом [1865—1929] я не был знаком до того, как он вернулся в Латвию из Швеции. Как поэт я так и не смог его принять, поскольку в его стихах много холодной рассудительности. Но те стихи, в которых выразились его душевные переживания, я не раз читал с неподдельным волнением. Так, например, его «Идущий в гору», по-моему, сверкающая жемчужина, равных которой трудно найти в нашей лирике.

Меня оставляли равнодушными и постановки драматических произведений Райниса, которые по сути тоже являлись плодами «ума холодных наблюдений». Не нравятся мне и то, что многие пьесы Райниса написаны размером латышских народных песен, поскольку этот его прием ошибочен, и, на мой взгляд, обоснованны те претензии, которые предъявлял ему в связи с этим Андриевс Ниедра.

Как стало известно, написанного произведения он больше и пальцем не касался, ничего не исправлял, не оттачивал, и это, конечно, его недостаток. Перевод «Фауста» не был исключением из этого правила и считаю, что критика Миленбаха справедлива. Я не поэт, не словесник, но хорошо понимаю, что

* Т. Зейфертс. Янис Мисиньш. — «Ежегодник Даугавы», 1926, с. 138.

поэт, если он поверхностно относится к работе над словом, вредит сам себе.

Как с человеком, я познакомился с Райнисом в годы независимости. Однажды, когда я обратился к Райнису как к министру просвещения, наш разговор перешел к судьбам латышского народа в целом, и у обоих слезы выступили на глазах, свой народ Райнис любил всем сердцем. Вообще он был человеком глубоко чувствующим, и счастливым был тот, кому раскрывалась навстречу его богатая душа.

Екабс Яншевскис (1865—1931) был человеком совсем иного склада (чем Райнис — И. К.). У него, по-моему, не было настоящего друга, поскольку ему не хватало сердечности. Всегда сдержанный и слегка надутый, он шел своей дорогой. На склоне лет он стал весьма заурядным писателем и журналистом, целые десятилетия вращался в «полусвете», где никакие проблемы не поднимались; сам он тоже игнорировал наиболее яркие и значительные события в культурной жизни, и таким образом, возможно, неосознанно накопил впечатления о жизни в Курсе, глубоко вжился в ее старину. И вот однажды его этические произведения полились потоком, как из переполненной бочки. Заметив, что публике нравятся его новые романы, он стал писать их в большой спешке, стремясь уже только к наживе. Есть писатели, строящие свои исторические произведения на основе внимательного изучения источников и документов. В работах Яншевского эта серьезная первооснова отсутствует, его восприятие истории чисто интуитивное, и его романы изобилуют анахронизмами и неточностями вперемешку с нехстативными анекдотами и надуманными бурными подделками. Если бы он работал медленнее, был самокритичнее, написал бы раза в три меньше, то и произведения его ценились бы выше. Он поражал публику количеством, а не качеством, но надолго ли!

Когда он заходил в библиотеку, то производил впечатление высокомерного всезнайки. Он всегда говорил, что пришел вовсе не за советом или помощью, а просто так.

Он был большим чудачком. Но я принимал его таким, каким он был, и наблюдал за ним с большим интересом.

Летом 1930 года он провел несколько дней у меня в Краце. Когда мы гуляли с ним по лугам и навещали соседей, он все время спрашивал у меня, как называется тот или иной цветок в нашей местности, подчеркивая, что в Курсе эти цветы носят другие названия. В книге гостей Краце он записал такое стихотворение:

«Вот и мне пришлось однажды,
Пару дней пожить в Краце,
У меня остались самые лучшие впечатления,
Здесь места мне близки.
А пройдешь, проедешь верст шесть,
И опять вокруг другие, чужие места.
Зеленые леса, широкие долины,
Умные мужчины, бойкие девушки,
И над густой нивой,
Над широкими далекими долинами
пропадают леса, пропадают боры,
видны только горы голубые.
Вот такая панорама —
тихая, спокойная и мирная,
Это самое сердце Краце,
здесь все дышит гостеприимством
старинное латышское гостеприимство,
редкое сегодня качество.
Не хочется даже уезжать,
но пора за работу браться.
Так что, милые жители Краце!
Будьте здоровы!»

[подстрочник]

А. Саулиетис (1869—1933) одну из своих пьес назвал «Сердечная боль». Судя по всему, у него тоже была своя сердечная боль. То ли это была несчастная любовь, то ли что-то другое, но я часто видел его мрачным, подавленным. Это становилось особенно заметно в обществе веселых людей. Чужое веселье, похоже, его не заражало, скорее углубляло уныние, и тогда, замкнутый и неразговорчивый, он тщетно пытался развеять меланхолию стаканчиком браги. Но были у него и счастливые минуты, которые мне довелось разделять. Однажды после выхода одной из его книг мы поехали в ресторан в Пардаугаву, где нас ожидал делопроизводитель Латвийской типографии Варпаус. Не знаю, это было его настоящее имя или просто прозвище. Это был молодой, веселый человек. За кружкой пива мы пели

народные песни, Саулиетис то и дело затягивал свою любимую песню «Сажал я черемуху...» У того, кто знал Саулиетиса только по его стихам, могло сложиться впечатление о нем, как о человеке чуткой, лирической души. Таким он, наверно, и был, но скрывал свою сущность за внешней холодностью, даже суровостью. Это впечатление усугублялось суровым голосом и то мрачным, то недоверчивым взглядом. Помню один рождественский вечер. Я встретил Саулиетиса на улице, он бесцельно брел куда-то, погруженный в глубокую меланхолию. Я привел его к себе в свою комнату на улице Карлиса. Сидели, пили пиво, но разговор не клеился. Тогда я подарил ему книжку лубочной литературы — «Рижские памятные зонги» (1875 г.). По глупости, несуразности содержания ей нет равных в латышской литературе. Саулиетис начал читать глупые «перлы» типа «В море растет круглое дерево». Он начал смеяться, и вот уже от плохого настроения не осталось и следа.

Если верно, что Райнис раскрылся во всей глубине в своем Язепсе, то о Саулиетисе можно сказать, что он осознанно или несознанно — свою тоску выразил в образе Заулы.

Андриевс Ниедра (1871—1942) был одним из самых близких мне людей. В первый раз он (в лапотках на ногах) появился у меня в Краце, еще будучи учеником Тирзской приходской школы. Было ему тогда лет 14. Он был ровесником моего брата Андриевса, учился с ним вместе сначала в Тирзской, а потом Вецпиебалгской приходской школе. Сам Ниедра говорит об этом так: «Не помню, когда и почему Мисиньш впервые обратил на меня внимание. Скорее всего это произошло в то время, когда я сновал из Даукшан в Краце, с книгами для своей сестры, которые я брал в библиотеке Мисиньша. С тех пор Мисиньш меня уже не выпускал из поля зрения. Он никогда не навязывал свои советы или пояснения. Но он умел повернуть дело так, что мое внимание будто само собой обращалось к той или иной книге, и он старался, как мог, чтобы я обязательно прочитал ее».

Жители Тирзмале гордились своими тружениками и старались расчистить им дорогу. Мне нужно было дать образование брату. Поэтому помочь Ниедре я мог только книгами. В Рижской гимназии он мог рассчитывать только на собственные силы, зарабатывая статьями в «Балтийском вестнике».

Потом в наших краях он появился уже студентом. Студентом же он читал проповеди в Леясциемской церкви. В студенческие годы он и женился. Вернувшись из Тарту в Ригу, он устроился в редакцию журнала «Austrums» («Восток»). Жил он в маленькой квартирке, где я не раз его навещал. Однажды я встретил там Рудолфса Блауманиса, с которым Ниедре был хорошим приятелем. Входя, Блауманис сказал: «И небо, и земля полны твоим величием». Тогда в «Austrums» был напечатан роман Ниедры «Дым над пашней».

Постепенно убедившись в том, что места пастора ему не найти, Ниедра так же, как и Олафс, обратился к литературной деятельности. Когда фирма Калинина и Дейгманиса, издававшая «Austrums», обанкротилась, концессию купил Озолс из Цесиса. В 1903 году редакция перешла в руки Ниедры, у него появилась мысль стать владельцем журнала, с этого и началась конкурентная борьба с Озолсом, организация собственной типографии и т. д.

Ему были присущи качества практичного коммерсанта и предпринимателя, и это, на мой взгляд, нашло выражение в образе инженера Страутманиса. Но его начинания постоянно кончались крахом. Так было с Цесисской типографией, и позже с попыткой стать рациональным земледельцем в Калснаве. Надо сказать, что эти качества сделали его после страстным политиком, и Аида Ниедра, которая сама была родом из племени Тирзмальских Ниедров, многозначительно замечает: «Андриевсу Ниедре присуща некоторая порывистая сила, страсть к приключениям, которая характерна для всего рода Ниедров».

Когда Ниедра стал президентом, я старался не мозолить ему глаза, и он тоже не пытался меня найти. Только однажды мы случайно встретились в Верманском парке, но разговор наш был кратким.

Потом, находясь в заключении, он не раз писал мне, кстати, выражая недовольство собранием своих сочинений под редакцией Зелтиньша, которое помогал составить и я.

Когда Ниедра жил в ссылке в Восточной Пруссии, мы часто переписывались. «Дорогу тревог» он составлял сам, я только заставлял его включить в сборник последние статьи, поэтому в посвящении к одному из томов он и надписал «Моему старосте — учителю».

* Аида Ниедра. Духовный портрет Тирзской волости (Брива Земе, 1931, № 271)

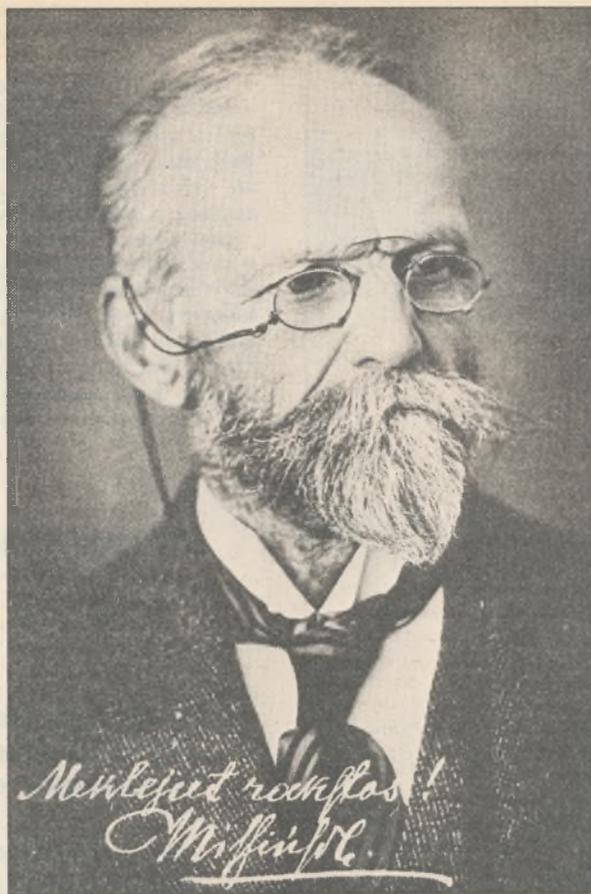


Фото МАРТИНЬША ЛАПИНЬША
Репродукция ЮРИСА КРИЕВИНЬША

ЯНИС МИСИНЬШ

Вернувшись в Латвию в 1924 году, Ниедра время от времени навещал меня. Он хоть и утратил былую энергию, но был еще способен на многое. Уже в годы ссылки он взялся за исследование языка, занялся лексикографией. «Эндзелинс не чувствует духа языка, — говорил он, — поэтому мне приходится начинать все сначала, чтобы выявить внутреннюю сущность языка, о которой наши словесники забыли». Но эту работу прервала его внезапная смерть.

С большим интересом я наблюдал, как Ниедре-человек реагирует на своих политических противников, которые потом также сошли со сцены. Он избегал говорить о них, а если иногда и упоминал, то без вспышек враждебности. Он говорил о народе и его судьбах. Он вернулся не для того, чтобы сводить личные счёты, а чтобы обрести вечный покой в родной земле.

Последнее письмо он прислал мне в Краце 6 сентября 1942 г. В нем он писал:

МИЛЫЙ ЯНИС!

Не сердись, что я пишу тебе. Это время для меня уже практически пришло. Сейчас я больше занят кровохарканьем. До книжного шкафа добраться еще могу, так же, как и до стола, но на более далекие путешествия меня уже не хватает. Так что можешь утешиться, ты не единственный, у кого «силенок маловато».

Ты еще в состоянии ругаться с книготорговцами, я и этого уже не делаю, хоть, видит бог, причин к тому достаточно. Я пришел к выводу, что тот, кто умер, отбарабанил свое и забыт, не должен делать вид, что ему под силу моргать.

Так что прощайте оба Яниса.*

твой А.

П л у д о н и с [1974—1940] так же, как и Зейфертс, стал навещать меня, когда он собирал литературно-исторические материалы для своих книг. Он был прав, утверждая, что без помощи моей библиотеки истории литературы ему не написать.

Если у Плудониса появлялись лишние деньги, то он после трудов праведных «пускался в загул». Чтобы потом отвести собиравшуюся грозу, мне порой приходилось доставлять его домой и брать вину за «разгул» на себя.

Хоть мы хорошо понимали друг друга, без ссор не обходилось. Так, помню однажды — это было вскоре после 1905 года, Плудонис, будучи навеселе, стал нападать на Андриевса Ниедру. «Стыдно высмеивать человека за глаза», — воскликнул я. Назревала ссора, но на помощь бросился всегда благодушный Пипиньш и успокоил Плудониса.

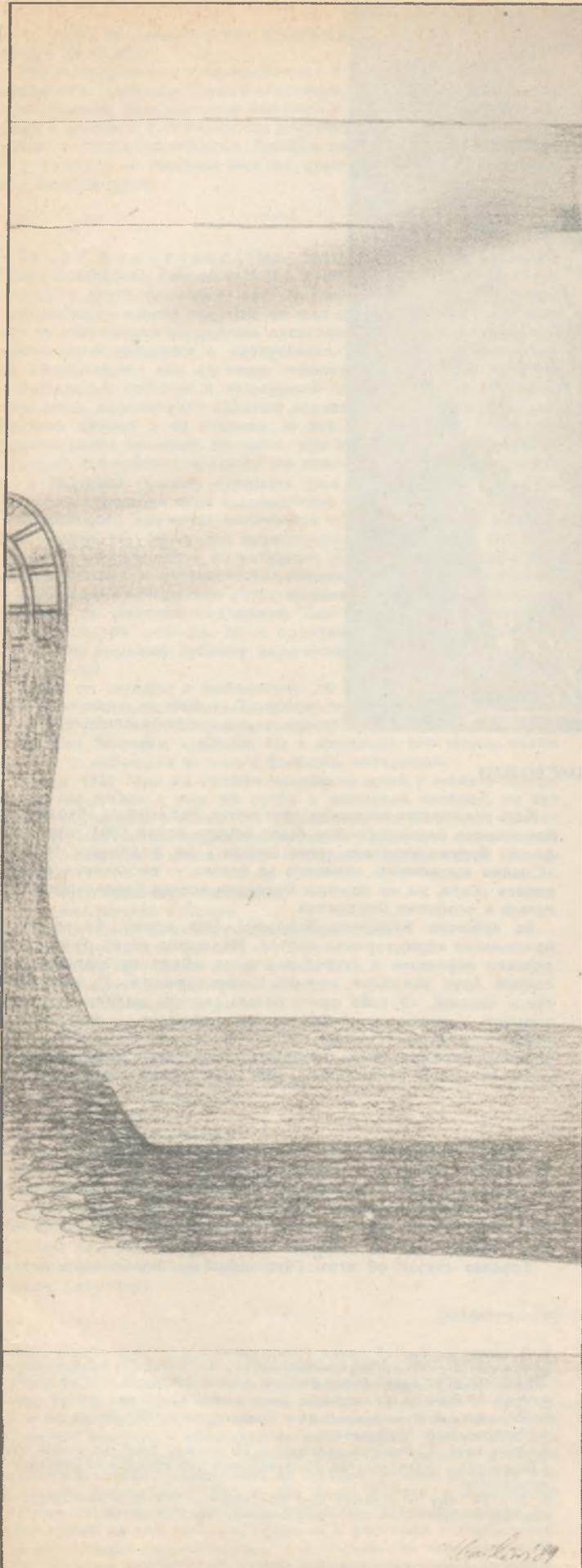
Во времена Улманиса Плудонис был одним из немногих признанных «придворных» поэтов. Нам стало не по пути. После долгого перерыва я встретил его на «Днях писателей». Мой старый друг выглядел весьма самоуверенным. У меня язык так и чесался. «У тебя опять новый галстук, видно, дела идут хорошо», — сказал я. «А как же, все в порядке, — отрезал Плудонис. — А ты свой галстук, похоже, носишь со времен комиссии знаний!» Так оно и было. Плудонис менялся вместе со временем, я же оставался неизменным, как собственный старый галстук.

Ну хватит. Я припомнил многих своих современников, с удовольствием воскресил в памяти их лица, слова и поступки. Жаль, что многие из них, хоть и были моложе меня, уже переселились в мир иной. И мысленно встречаясь с ними, я счастлив, что мне выпала честь знать в годы расцвета жизненных и творческих сил, и лучших из них называть своими друзьями.

Хорошо сказал об этом Гёте: «Люблю былое вспоминать».

1. В вышеупомянутой папке (она хранится в отделе редких книг и рукописей Фундаментальной библиотеки АН ЛатвССР) находятся оригиналы иллюстраций, приведенных в этой публикации.
2. Брат Я. Мисиньша, Андриевс умер в 1894 году.
3. Это книгу Я. Мисиньш издал в Леясциемсе в 1897 году.
4. Теперь улица 13-го января.
5. Этот пост А. Ниедра занимал с 25 апреля 1919 до конца июня в Латвийском правительстве, образованном при поддержке Балтийского дворянства.
6. В 1924 году А. Ниедра был арестован и осужден как предатель народа, вскоре после этого его выдворили в Германию.

* Второй Янис — сын приемной дочери Мисиньша.



ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Жизнь отдельного стихотворения стала сложной, мы же читаем — и воспринимаем — стихи сразу целыми подборками, циклами и сборниками. Одно-единственное стихотворение на страницах нашей прессы можно увидеть разве что к праздникам — с соответствующими приподнятостью и необязательностью.

Мы решили начать свою серию «Одно стихотворение», и она будет не совсем традиционной. Рядом со стихами латышских авторов разных эпох и направлений, здесь Вы найдете еще несколько строчек. Не надо их воспринимать как попытку разъяснения. Самое главное в стихах — как и во всяком чуде — не поддается объяснению. Я просто хочу немного поделиться с Вами тем переживанием, которое во мне вызвали эти стихи.

Эгилс Плаудис

Мне этот рот не нужен.
Лишь бы он улыбался
И красные яблоки ел.

Мне не нужна эта улица.
Лишь бы с другой сомкнулась,
Той, что дальше ведет.

Скворцы не нужны мне эти.
Лишь бы свою черноту
Вылили белой песней.

Не надо окна мне этого.
Лишь бы оно золотилось
Под утренним солнцем.

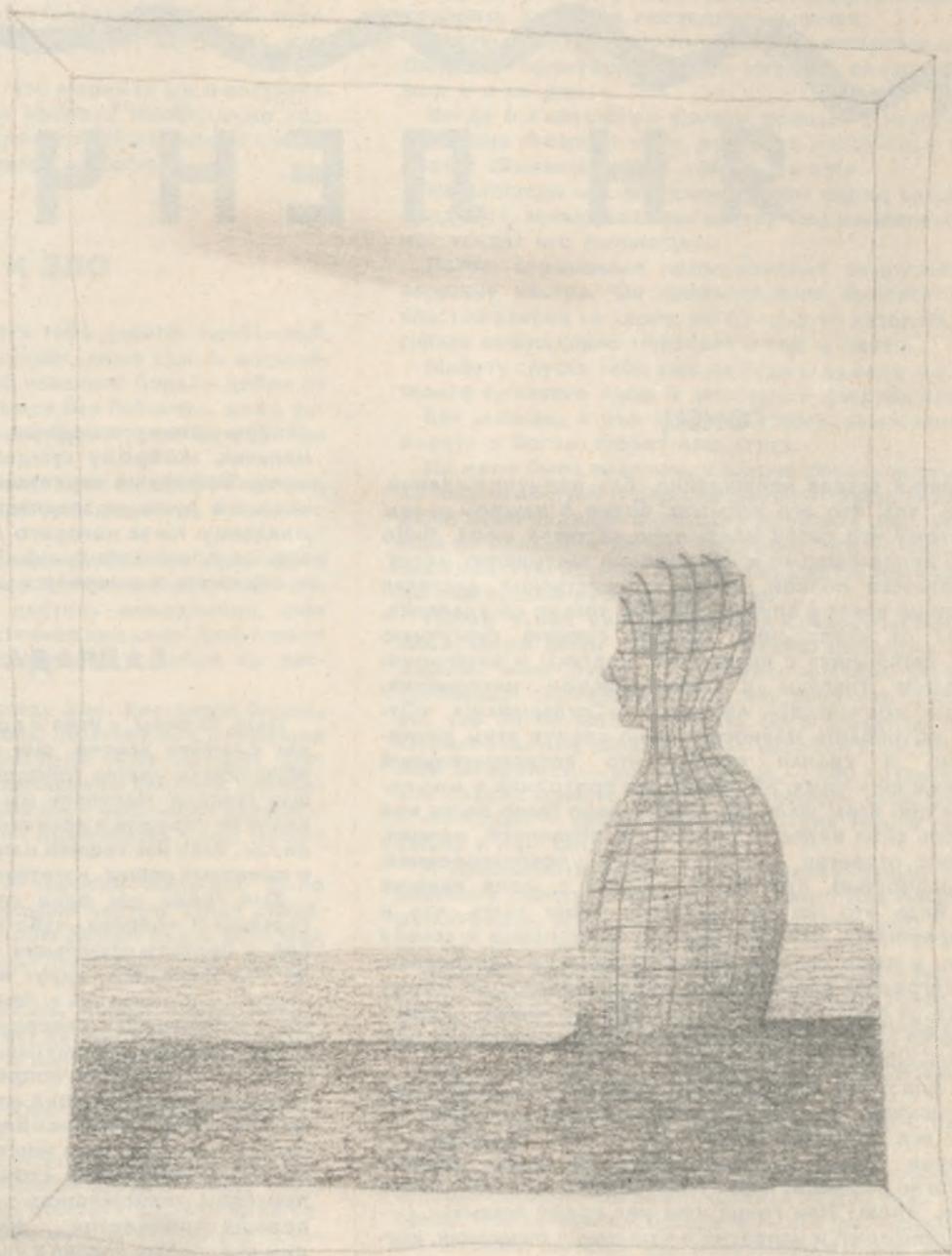
перевел Виктор Андреев

Поэтам всегда нравилось писать завещания. Это — одно из самых коротких и бескорыстных. И о том, что это на самом деле завещание, а не просто разговор между делом, можно догадаться лишь по той неуловимой особенности стихотворной речи, которую называют интонацией.

Этот поэт не занимается разделом своего имущества и не придумывает для этой цели смешное богатство, как делал Франсуа Вийон, и не предписывает вспоминать о себе — как это принято.

У него одно пожелание миру — оставаться прекрасным. Может быть — более прекрасным, чем при его жизни. И получается так, что эти несколько строчек еще и вопрос к нам. Что мы сделаем с жизнью! Будет ли утро достаточно чистым, чтобы золотилось окно!

Аманда АЙЗПУРИЕТЕ



16. April 1889

Словацкий писатель **ЯН ЛЕНЧО** родился 23 октября 1933 года в городе Жилине, ЧССР. Закончил университет Я. А. Коменского в Братиславе, пишет историко-философские романы и миниатюры.

Предлагаем подборку из первой, вышедшей в 1966 году, книги миниатюр Я. Ленчо «Путь на морское дно», удостоенной ежегодной премии издательства «Словацкий писатель» за яркий дебют.

Миниатюры написаны почти четверть века назад, но как современно они звучат!

На творческом счету Я. Ленчо свыше дюжины книг, некоторые из них переведены на польский и немецкий языки. Отдельные миниатюры публиковались и в латышской периодике.

ПЕРЕВОДЧИК



Я Н Л Е Н Ч О

ГОНЕЦ

Он являлся всегда неожиданно, без предупреждения. Очевидно, тот, кто его посылал, ведал о каждом моем шаге, потому что гонец неизменно заставлял меня. Лицо его было непроницаемо и напоминало застывшую маску. Учтиво отвесив поклон, гонец торжественно доставал запечатанный пакет и вручал мне. Как только он удалялся, я, сгорая от нетерпения, срывал свежую сургучную печать и знакомился с посланием, кратким и категоричным. Только глаголы в повелительном наклонении: «Радуйся!» «Печалься!» «Молчи!» «Соглашайся!» «Отвергай!» «Страдай!» Неукоснительно следуя этим распоряжениям, я сделал вывод, что восклицательный знак совсем ни к чему, ибо послания приходили в моменты, когда при всем желании невозможно было вести или чувствовать себя иначе. Я радовался, печалился, молчал, соглашался, отвергал, страдал с тихим удовлетворением и благодарностью, что кто-то снимал с меня лишние заботы. Ведь это же так приятно, точно знать, что и когда переживать, как действовать! Постепенно я свыкся с гонцом, и даже если он какое-то время не появлялся, сердце согревала уверенность, что он придет, не может не прийти. И вдруг я осознал — гонец не только служит, подчиняется кому-то, основная его задача заботиться обо мне! Исключительно обо мне!

С того дня я уже ждал гонца не равнодушно, с прохладцей, а жаждал его прихода, восторгался, трепетал от страха и все надеялся поговорить с ним по душам...

Но гонец словно в воду канул. Не знаю, почему он больше не посещает меня. Неужели его господин забыл управлять мною! Или гонца уже нет среди живых!

Он не приходит, и напрасно я изнываю в ожидании, когда же он снова постучится в мою дверь.

ВИНОВНИК

В городе шла резня. Убили и прелестного сыночка юной Эсфирь, красивейшего ребенка на свете. Золотистые волоски слиплись от крови, его уже не отличить от других мертвых детей... Повсюду раздаются вопли отчаяния и чадят, превращая ночь в кровавый полумрак, подслеповатые факелы.

День занялся свинцовым, промозглым, страшным, и народ узнал, что добрый царь Ирод велел известить всех мла-

денцев, потому что где-то, в далеком Вифлееме, родился мальчик, которому суждено будет затмить его славу и мощь. Эсфирь не перестает оплакивать свое медоволосое чадо, а в душе ее закипает ненависть к вифлеемскому младенцу, из-за которого добрый царь Ирод велел зарезать ее пригожего сына. Эсфирь плачет, тягуче голосит, и ненависть разгорается всепожирающим пламенем...

БАЛЛАДА О ЛЕСОРУБЕ

День за днем, с утра и до вечера, мы рубили лес. Потом нас сменяли другие, они трудились ночь напролет. Нас ублаживали удары топоров, треск сучьев, уханье падающих стволов. Ночевали мы в лачуге среди глухих дебрей, вдали от городов и поселков, и даже во сне валили, окоряли лес. Всех нас тешила мысль о бесчисленных прекрасных и полезных вещах, изготавливаемых из нашей древесины.

Был среди нас один печальный, неулыбчивый, вечно серьезный человек, избегавший наших разговоров и забав, — бирюк и отшельник. Случалось, что он, даже словом не обмолвившись, вдруг исчезал на несколько дней, заставляя нас томиться в неизвестности, куда он ушел и зачем. Возвращался человек столь же неожиданно, только более хмурый, замкнутый, и мы терзались удручающим в своем единообразии вопросом: куда это он ходит! Вопрос сплывал нас, возводил между нами и нелюдимо невидимую стену. Свое времяисчисление мы вели не по часам, солнцу или луне, а по свистящим взмахам топоров, треску ветвей, болезненным стонам сдираемой коры, уходам и приходам таинственного мужа. Может, пролетели века, прошли тысячелетия... Ничего не менялось, лишь нелюдим все глубже впадал в уныние и тоску. Мы, как и раньше, оставались в неведении о загадочных отлучках своего товарища, но возникало смутное подозрение, что он спускается с гор в города и села разузнать, что же там происходит с плодом наших трудов...

СВЯТИЛИЩЕ

Мы прозябали в страхе, горе, нищете, страдали от болезней и по причине такой жизни молились своему богу, вынашивали в сердцах множество просьб и желаний с надеждой, что вознесутся они птицами и будут услышаны богом; желаний было не счесть и, имея они действительно крылья, затмили бы не только солнце, весь небосвод.

Поначалу мы собирались раз в неделю, потом все чаще, и вот мы сходимся уже ежедневно в своем ветхом, низком, неприглядном деревянном святилище, чтобы предаваться молитве.

Увы, все оставалось по-старому. Тот, которому мы поклонялись, не внимал молениям, набухшие от наших слез половицы уже не впитывали соленую влагу, и тут вдруг у кого-то родилась мысль, снискавшая всеобщее одобрение. Мысль о причине, почему же бог нас не слышит, то есть о первоисточнике наших страданий, и мысль путеводная, указывающая стезю к спасению, здоровью, изобилию, золотому веку.

Бог не внемлет нам потому, что молимся мы и восхваляем имя его под недостойным кровом! Необходимо возвести новый великолепный, просторный каменный собор, тогда он не откажет нам в своей милости!

ДОБРО И ЗЛО

«Возможно, сказка покажется тебе дивной, необычной, но ты ведь уже знаешь, что сказки, даже самые волшебные, говорят иносказаниями об извечной борьбе добра со злом. Поэтому сегодня обойдемся без бабы-яги, змея, великана, черта, принцессы, героев будет всего два, Добро и Зло.»

Старик говорит тихо, неспешно, и мальчик слушает, словно чувствуя, что эта сказка для деда все равно что песнь песней.

«Устремленное к своей цели, Добро собиралось в дорогу, но такой казалась она длинной, просто бесконечной! А цель надо было достичь немедленно, сию минуту, разве можно тратить столько времени! Был только один способ для ускорения движения, и Добро им воспользовалось.»

Оно запрягло в свою колесницу Зло. Хлестнула бичом, и Зло рвануло с места, понеслось, помчалось, а ликующее Добро все подстегивало, убыстряя сумасшедший бег. Но опьяненное скоростью, ослепленное блеском близкого триумфа, Добро ослабило вожжи и разбилось вдребезги вместе с колесницей. К цели примчалось одно только Зло . . . ».

«Значит, Добро погибло! — спросил мальчик. Было видно, что он недоволен концовкой сказки, такой странной. Ему страстно хотелось, чтобы Добро взяло верх над Злом. Сказка нуждалась в продолжении! — А дальше ничего уже не произойдет!»

«Произойдет, если ты желаешь, чтобы произошло, — сказал старик. — Добро восстанет из мертвых, снова устремится к своей цели, и дорога к ней опять покажется ему бесконечной.»

«Но Добро ведь победит! Уже без помощи Зла!» — тревожно выпытывал мальчик.

«Не знаю, — ответил старик. — Это ты увидишь, достигнув моих лет. Только предостерегай Добро, чтобы избегало Зла! И если Добро придет все-таки к своей цели самостоятельно, расскажи на моей могиле эту сказку, только с благополучным концом.»

ПЕПЕЛ БОГА

Наконец мы его сожгли. Он долго внушал нам страх, перед ним трепетали отцы и деды, преклоняли колени далекие предки. Он был владыкой наших сердец, правил и наказывал, следил за каждым нашим словом и шагом, ибо это был суровый, всевидящий бог.

Но настал день, когда мы вырвали его из своих сердец. А вместе с богом и кусочек самого себя . . .

Взвалив бога на повозку, мы повезли его на площадь. Там его ждал высоченный, сложенный отцами и праотца-

ми костер, я бы даже назвал его зеркалом нашей истории. Костер стали раскладывать еще в глубокой древности. Валили примитивными топорами первобытный лес, кололи и устилали поленьями середину площади. Знали ли предки, что это первый пласт костра!

Штабелем вырастали над ним другие, и так вплоть до наших дней.

В городе рассказывали древнюю легенду о стариках, бредущих в предчувствии близкой смерти к костру, чтобы подарить ему свое последнее дыхание.

Какую-нибудь малость костру пожертвовал каждый. Людей не принуждали, но не нашлось никого, кто бы заявил: а я не дам!

Когда мы катили по улицам повозку с изваянием бога, горожане отворяли окна, радостно махали нам и кричали: «Вот и сбывается наша давняя мечта!»

На площади мы склонили головы перед памятью своих прадедов, закладывавших костер без малейшей надежды, что увидят его пылающим.

Потом огромными подъемниками водрузили бога на вершину костра. Он величественно высился над нами, властно взирая на толпу, но почему-то казалось, что в его глазах неожиданно появился испуг и печаль.

Минуту спустя тебя уже не будет, думали мы, не станет твоего грозного лика и жестокого сверлящего взгляда!

Бог молчал, и это вселяло отвагу. Мы сознавали, что вместе с богом сгорит наш страх.

На меня была возложена задача зажечь костер. В высоко поднятой руке я держал факел — пусть видят его все, даже само солнце! Я жаждал продлить миг, когда огонь еще не поыхает, но нет сомнений, что он вспыхнет, ибо знал простую истину: пальма первенства прекрасней, когда она только распускает почки . . .

Народ успел уже насытиться сладострастным ожиданием, пора было зажечь костер. Внезапно кто-то задержал мою руку. Я оглянулся — сзади стоял старый согбенный седовласый муж. На лице его было написано, что он не желает видеть бога, объятый пламенем. «Почему ты мне мешаешь!» — спросил я. «Костер не должен загореться, — воскликнул он, — ибо создавали его те, кто создал и нас с тобой. Не подноси свой факел!»

«Отстань! — сказал я. — Костер для того и есть, чтобы сжечь в нем бога!»

И приблизил факел к посыпанному белым порошком нижнему пласти. Взметнулось пламя, бог покрылся багряной ризой, огненные языки лизали его лицо, и чудилось, что он насмехается над нами . . .

Площадь была завалена пеплом, исчезли и бог, и костер. А что дальше! Раздался приглушенный голос: «Костер составлял смысл бога, бог — костра, а смыслом нашего существования было увидеть бога на костре . . . »

Ему возразили, что и костер, и бог, и мы возникли с одной целью — разжечь этот огонь.

Люди удалялись с площади молчаливые и вроде притыженные.

Но какая-то неведомая сила гнала их вон из жилищ, и они тайком, поодиночке возвращались на площадь за горстью пепла. Кто за пеплом бога, кто — костра, таково было наше мнение, потому как невозможно было определить, чей же это пепел. Каждый гордился своей добычей, словно ребенок затейливой игрушкой.

Своя пригоршня пепла оказалась в каждом доме, только мы не знали, для чего. Одни, возможно, поклонялись пеплу, другие его проклинали, а кое для кого он был просто олицетворением минувших времен.

Щепотку захватил и я. Выдолбил в ручке факела, которым был подожен костер, углубление, насыпал туда пепел, дал факел позолотить и выставил у своих ворот. Пускай напоминает о великом дне, когда мы сожгли своего бога!

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

НАД ПАВШИМИ

Долго ли скорбь и любовь мне таить?
Перед Всевидающим сердца не скрою:
Если не можешь всех тех воскресить,
К этому дай прикоснуться щекою.

Славною гибелью те крещены.
Всех их верни матерям безутешным.
Пусть из великой твоей тишины
Каждый на грудь ей вернется безгрешным.

Отчее всем, кто погиб на войне,
Неизреченное слышится слово.
Видно, что так и случится. А мне
Вымолить нечем касанья живого.

1985

МОНОЛОГ ДИССИДЕНТА

Обвинен в наличии общих интересов
С государственной громадой.
(Легче б в заземлях — с гробом.)
Страшно стать опорой мракобесов,
Хуже — обществ маленьких рабом.

Лучше б, говорят, тебе с червем сдружиться,
Чем с чиновником. Краснею . . . «Но он честный человек . . .»
Чем пугаться да стыдиться, лучше сразу удавиться.
То правую, то левую. «Не отмоешься, — грозит, —
Лучше к нам не появляйся, конформист и паразит.»

Ну, а чем я виноват, что депутат — мой родный брат?
Каждый раз меня обыскивают, ищут партбилет.
Ну, а там — альянс с братишкой партвызысканием чреват.
И, что я надиссидентил — чем братишка виноват?

Я от общества завишу, не свободен от родства,
И неискренняя пресса в чем-то, вижу я, права.
Лучше б я в передовице первый был передовик,
Чем, надумав поделиться, всех друзей передалил.

Но в кругу яйцеголовых, монархистов и калек
Был, по месту проживания, я — советский человек.
Скольким избранным в наш век-то
Не хватило интеллекта
С конструктивным предложеньем ловко выбежать наверх.
И своим передвиженьем всех я в панику поверг.

Я б совсем не шевелился.
Лег бы в подпол да молился.
Но виновен в пантеизме,
А воспитан в атеизме.
В низких — низость порицаю
И начальство отрицаю.
Не живу я, а мерцаю.

Мне б с самим собою слиться.
Только легче застрелиться.

77—81

ГНОМЫ

В гномическом доме,
В гномическом мире
Мы гномы в пере-
Населенной квартире.
Мы трудолюбивы и мстительно-злы
На тех, кто не знал топора и иглы.

В гномическом мире,
В гномическом тире,
Как будто жильцов в коммунальной квартире,
Наш карлик животных разит неживых,
Хоть он безоружней червей дождевых.

В гномическом мире,
В гномическом море
Мы тонем, как соль в нашем крошечном горе.
Мы знаем, что мелко,
И чуем ухмылки
На недоразвившемся нашем затылке.
Мы просимся робко на землю, на мель,
Но не понимает мось колонель.

Несчастливая участь,
Страдая и мучась,
Везде наблюдать водяную текучесть.
Но крошки-ладошки
Притянуты к ложке,
И нечем грести, — так гребем понарошке.

И в чреве зыбей
Мы мечтаем о доме.
Ловить на червей
В небольшом водоеме,
А лучше — на тесто, щипая квашню.
И гномов-рачков вынимать за клешню.

В гномическом скрытном
Малогабаритном
Уютном Содоме
Мы спим на соломе.
Нам карлы-соседки
Приносят обеды
Поп-арта и ню.
С большого меню.

Но радость — не в радость
Нам солью на раны,
Что где-то высоко живут великаны,
Что варят кита, шевеля уголек,
А в нашем котле щекотится малек.

В гномическом соре,
В гномической ссоре
Гипофиз как в академическом споре,
Где с гномиком гномик всегда на ножах,
Растет умозрительно, как на дрожжах.

Есть высшие гномы,
Повыше соломы:
Гробницы, пиры, повара и хоромы.
И в новые дни засылая десант,
Царь-гном порождает князьков и инфант.

Но тот же находим гномический принцип
В основе созданья гномических принцев,
В основе питанья,
В основе познания,
В основе переодевания и вер,
В основе основ наших нор и пещер:
С в о и х не убий,
С в о е золото старай, —
И, гном, попадаешь в гномический рай.

В гномическом рае,
В гномическом рое
На первое — грог и икра на второе,
Парижский акцент
И австрийский вокзал —
Вот гипергномический наш идеал.

1974

ПЕСНИ ГРЕШНИКА

Не избегать сирот и вдов,
Не бегать от трудов,
Лишь был бы шанс
На ренессанс —
И я на все готов.

Вот за пюпитром музыкант.
Вот исповедь на скрипке.
Вот на коленях человек
Осознает ошибки.

Вот перед строем командир.
Сейчас нагонит страху.
Вот на постели человек
Сучит свою рубаху.

Вот мой начальник за столом,
Солидный и серьезный.
А вот «без оных» человек,
И случай курioзный.

А вот еще один мужик —
Видать, политик грозный.
А вот — у стенки человек,
Весьма религиозный.

И все они вопят, твердят,
Кулак судьбы целуя:
«Зачем нам этот маскарад
И вид такой наружный?!»

Прости, Ловец, оставь улов
Без нескольких голов.
Видал? — бедняк готовит плов
Из клятв и честных слов.

Ужели сам ты не таков
И бросишь в жар котлов
Всех нас, как жертвенных быков,
Не ободрав подков?»

Красивая, святая песнь:
«Прости нас, смерть,
Прости, болезнь».

1975

Память опять в казематах казнит
Выплеснутых родиной.
Душу ли гложет иль сердце саднит
Незаживающей ссадиной.

Были да жили, садились за стол.
Поехали с орехами.
Дружба редет, сквозит решето
Чудо-прорехами.

Вечное в нас человеке-окно,
Взгляд с поцелуями.
Вот уж и славу делить не дано,
Честь — с негодяями:

Бросит, забудет, накинёт петлю —
С новым знакомите.
Лучше сводите все связи к нулю.
Срок сэкономите.

1979

СТИХИ О НОМЕНКЛАТУРЕ

I.
Не прельщайся сказкой сладкой,
Бедный мист, твои потери —
Под картонною подкладкой
Политических мистерий.

Пусть развеется над сценой
В ключья порванный веларий
И рассыплется на сено
Эфемерный мой гербарий,

Сколько б химии и гари —
От колодцев и до сопок
Ни сластили мы в разгаре
Реставраций и раскопок,

Об отечестве — ни слова.
Как вражду, скрывая нежность,
Я хочу ценой былого
В будущую неизбежность

II.
Загубил без крови. Буквам
В зубы плюнуть. Зол и горек,
В зыбь глубин откроешь люк вам
Протрезвившийся историк.

«Я ли жив? Не в гробе сплю-ка?»
Вместо свечки, глянть, деньжата.
Вся развесистая клюква
В стеллажах стоит несжата.

Прежде шел, как вор из храма,
Как из Орка — Прозерпина,
Сквозь мистерии спецхрана
К соцреальности Совмина.

Нынче мир перевернулся:
Крест на памятник вернулся,
В ресторанах — макароны,
А архивные хароны

Как слоны, припав к анналам,
Пьют из Стикса, как из Нила.
Стыд забыли. Или мало
Их история казнила?

Власть искусство испугало?
Что и толку от бумаг-то?
Разгласили по журналам
Исторические факты.

Для чего в слепой надежде
Сам себя ты верой дразнишь,
А в Митаве, как и прежде,
Малым миром вертит Крастыньш?

Закричу ли прытче, пуще,
Бесшабашней и бесстрашной:
«Я хочу в кофейной гуще
Сены с Эйфелевой башней!»

Или, ну, хотя бы рижской
Телевышки над Двиною!» —
Брат по родине латышский
Рассмеется надо мною.

Над Невою дайте койку!
Там помру. — Их смех неистов:
«С кем в родстве?» И в прорубь гойку,
Вместо Стикса архивистов.

Посмотри же, Всемогущий!
Пусть мой шрифт похож на пашню,
Но в грядущее запущен
Весь твой мир, сырой, вчерашний.

Говорили ж: «Бей, солдаты!
В мир забудутся промашки.»
Неужели ж в эти даты
Никакой для нас поблажки?

Видно, летось не хватило
Безднам дыр вина и ваты,
В оба света просветило —
Летописцы виноваты.

Прошлый мир потусторонний
Съединился с этим миром,
И туда-сюда гуляет
Весь народ по этим дырам.

Прежде было по заветам:
Похоронят — прославляем.
А теперь — «Вся власть Советам!»
Кто не помер, тех не хаем.

И живому-то я не в силах
Пособить, когда бранятся.
Ведь они и на могилах
Не забыли охраняться.

Там у них комфорт, натура,
Там, считай, иные классы.
Берегись, номенклатура,
От помощников из массы.

И тебе, певец безвестный,
Друг шпаны литературной,
Влечь бы в хлам в келейке тесной
В энтот наш период бурный.

29.06.—18.08.88.

ВАГОН ЗАК

РАССКАЗ

— Тридцать два зуба и все золотые, — сержант показал взглядом на осужденного, сидящего ближе всех к решетке. — Такому убить — раз плюнуть.

— Он не за убийство. — От непривычки сидеть прямо у Ани занемела спина, поэтому, когда машину не очень трясло, она старалась перенести тяжесть тела на руки, опираясь ими в обитую дерматином откидную скамейку.

— А за что же? — У сержанта, который представился Отаром, почти не чувствовалось грузинского акцента, но была в его речи легкая неправильность в ударениях, и эта неправильность заставляла внимательно вслушиваться в его слова.

— Статья девяносто, часть вторая. — Ане было приятно блеснуть знанием Уголовного кодекса.

— Это что? Грабеж?

— Да. Нападение на сберкассу.

— И сколько ему дали?

— Кажется, все пятнадцать. Прибавили за побег.

— Да-а, — протянул сержант. — Значит, он не на первый срок.

— На четвертый! — Аня чувствовала в своем голосе нечто вроде восхищения этим страшным человеком, который, поняв, что говорят о нем, не сводил с девушки маленьких, пуговичных глаз.

— На четвертый, а все коронки целые. У другого давно бы ни одной не осталось.

— Значит, он по натуре лидер, — сказала Аня. Недавно она прочла книжку по психологии.

— Это видно, — согласился Отар.

Золотозубый вновь зацепил взгляд Ани, и ей стало не по себе. Она стала смотреть на другого осужденного, высокого, длиннорылого, темная куртка которого была или слишком велика, или он был слишком худ, так что казалось, будто это не человек с телом и кожей, а лишь каркас. Одну длинную руку он держал внизу, между ног, а вторую обхватил плечо, словно оно у него болело или очень мерзло. Вернее всего — мерзло.

«Никаких капроновых курток, только ватник!» — категорически сказал отец, когда Аня собиралась в путь. «Придет время, — добавил он, — русской ватной стеганке поставят памятник». «Да, да — подхватила мать, — лет сорок или пятьдесят вся Россия носила ватники, если бы не они...»

Теперь, вспомнив родителей, Аня мысленно поблагодарила их не только за ватник, но и за теплый свитер, и за огромные «литые» резиновые сапоги, свободно вместившие и шерстяные носки, и толстые портянки. В модной куртке она давно бы очохла.

— А вон там, в углу, знаешь кто? — спросила Аня.

— В углу?

— Да. Седой такой. Благородный.

— Ничего себе благородный. Извращенец какой-то. Все лицо синее.

— Никакой не извращенец, а специальный корреспондент, — обиделась Аня. И пояснила: — журналист.

Отар снял с плеча автомат, положил на колени и, прищуря глаза, улыбнулся.

— Много ты знаешь.

— Знаю.

— Знаешь, какие бывают извращенцы?

— Ну... — Аня пожала плечами. — И знать не хочу.

— Правильно. — Отар приподнялся и, стараясь не стукнуться лбом об обшивку кузова, глянул в микроскопическое окошечко, холодным светом осветившее его смуглое лицо с густыми черными усами. — Лес, лес и лес. Как в песне: зеленое море тайги. Только не зеленое, а серое, как наши горы в плохую погоду.

— А я не бывала в горах, — сообщила Аня и вновь поймала ошупывающий взгляд золотозубого.

— О горы! О Кавказ! — с шутливой патетикой воскликнул сержант. — Я говорю капитану, — ты его видела, он в кабине сидит, капитан, говорю, домой хочу, я так давно не видел маму, дай отпуск.

— А он?

— Ты уже два раза, говорит, дома был. Да, говорю, был, но не в отпуске же! В командировке.

— Хорошие командировки, — Аня вздохнула. — На юг.

— Ничего хорошего: эков возить. От них ведь ни на шаг. К родителям один раз, на день, а в другой — всего на два часа удалось заехать.

— А к девушке? — Аня спросила не из любопытства и не из ревности, которые могли бы возникнуть, будь Отар хоть чуть ей симпатичен. Нет, ее занимал собственно разговор, который просто надо было поддерживать.

— К девушке не успел.

И когда он это сказал, Аня вдруг почувствовала зависть к той, далекой и неведомой, но тут же успокоила себя: раз он поехал к родителям, а не к девушке, значит...

— Она красивая?

— Да. — Отар задумался. Потом повернулся к Ане. — У нее такие глаза... Как у тебя. — Он наклонился и близко посмотрел ей в лицо. — Красивые.

— Ну уж. — Аня отстранилась. Она знала, что глаза у нее в самом деле красивые — слышала не раз и в зеркало насмотрелась.

— И волосы такие же. Густые, длинные.

— Черные?

— Нет, русые.

— У грузинки-то?

— Она не грузинка.

Аня поняла, куда он клонит. Игра эта была приятна, и она продолжала ее.

— Кто же она?

— Угадай.

— Еще чего.

— Ей семнадцать лет. Как и тебе.

— Мне скоро восемнадцать.

— Тем более.

— Что — тем более?

— Пора любить и наслаждаться.

Из-за решетки послышался хохот.

— Чего это они? — тихо спросила Аня. Золотозубый,

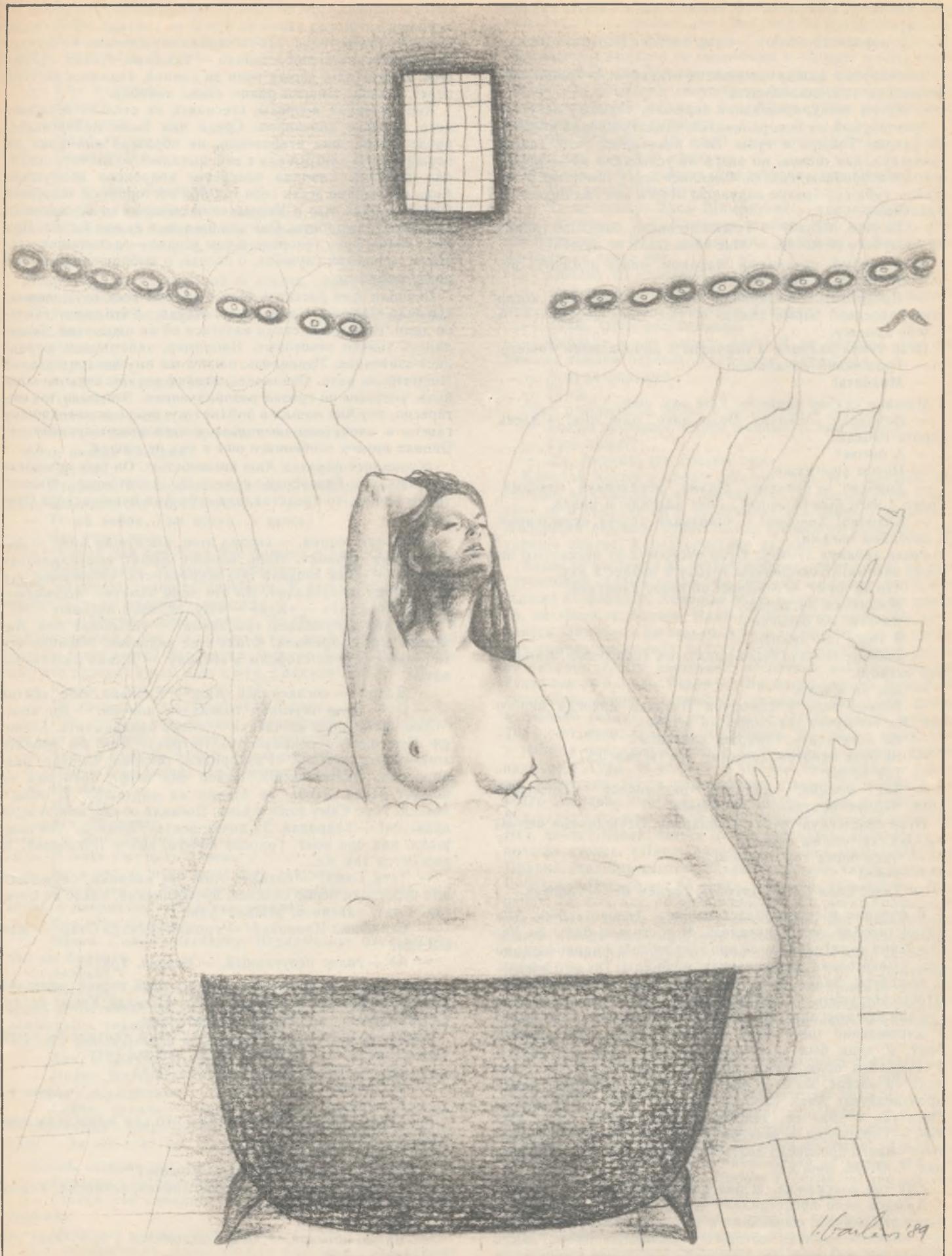


Рисунок ИНДУЛИСА ГАЙЛАНСА.

неотрывно глядевший на нее, что-то сказал, и опять раздался смех.

— Я поразговариваю! — Отар поставил автомат между ног.

Золотозубый пожал плечами и отвернулся. Тощий, сидевший за ним, осклабился:

— Убери девку, гражданин сержант. Терпежу нету.

Золотозубый, не поворачиваясь, взмахнул рукой и хлестко ударил Тощего в губы. Ане показалось, что Тощий взвизгнул, как щенок, но визга не услышала из-за дружного, со вскриками, хохота. Смеялись все, в том числе и Тощий — губа его быстро вздулась, отчего он стал похож на мальчишку.

— Ты чего, Махан? — Тощий легонько, боязливо тронул золотозубого за плечо. — Мне твоя девка не нужна.

Золотозубый, названный Маханом, опять взмахнул рукой. На этот раз удар по щеке.

— Прекратить! — закричал Отар, дождавшись, когда стих очередной взрыв смеха. И уже тише добавил: — А о тебе доложу.

Отар ткнул пальцем в перчатке в направлении Тощего.

— Гражданин начальник!

— Молчать!

Машину сильно качнуло. Еще раз, еще.

— Началось, — сказал Отар тихо, для Ани. — Здесь дорога плохая.

— А потом?

— Потом еще хуже.

— Холодно, — произнес Махан, передернув плечами. Голос у него был обычный — без надсады и хрипа.

— Холодно! Холодно! — закричали другие осужденные и затопали ногами.

Резко звякнул зуммер. Отар отстегнул от висевшего на стене автомата телефонную трубку и поднес к уху.

— Что за шум? — услышал он голос капитана.

— Жалуются на холод.

— Ничего. Не околеют.

— Я тоже так думаю.

— Вообще-то надо было выдать им телогрейки. Как-никак октябрь.

— Да, не жарко.

— Только ведь у самодура Петрова никогда ничего нет. Ни телогреек, ни сапог, ни штанов.

— Не могу знать, товарищ капитан.

— Не будь идиотом, сержант, все ты знаешь.

— Так точно.

— Вот именно, — капитан рассмеялся. — Пресекай шум. Черную проедем — погреемся.

Отар пристегнул трубку к аппарату. Осужденные молчали. Ждали, что он скажет.

— Часа через три погреемся.

— У-у-у!

— Тихо! Если будете шуметь, поедем без остановок.

В фургоне восстановилась тишина. Только сейчас Аня почувствовала, что напугалась. Чего только бабы из Учреждения не наговорили ей про этих людей: и наркоманы-то они, и алкоголики, и насильники, и убийцы. Так оно и было, в общем-то. Знала, куда шла работать. Сама захотела. Чтобы поступить на юридический, надо было послужить год или два в органах. В суде места не нашлось. Устроиться в Учреждение тоже было нелегко. Помог дядя, мамин брат. У дяди был знакомый, который знал начальника Учреждения полковника Петрова. Знакомство так себе, вода на киселе, но ее взяли. Делопроизводителем. Делопроизводитель Анна Сычева. Звучит? Первые две недели папа так и звал ее: делопроизводительница Анна. «Ну как, — спрашивал он вечером, когда она приходила с работы, — много произвела дел?» — «Много, папа, — отвечала она. — Очень много.»

«Ну так расскажи». И она рассказывала.

Каждое дело представляло собой папку со всевозможными решениями, выписками и тому подобными бумагами, без полного наличия которых осужденный не мог быть отправлен отбывать положенный срок. Иные папки были

совсем тощими, другие приходилось подклеивать, чтобы не порвались. Иногда каких-то бумаг не хватало, что-то надо было уточнить, тогда Аня вызывала осужденных на беседу. Они приносили с собой запахи — тяжелые, густые, пугающие. Приходили, держа руки за спиной, садились на стул перед столом. Иногда рядом стоял конвоир.

Аня задавала вопросы, стесняясь не столько осужденного, сколько конвоиров. Среди них были молоденькие, вроде Отара, они откровенно, не обращая внимания на осужденного, заигрывали с ней, пытались назначить свидание, шутили. Сначала поведение конвоиров возмущало Аню: как можно вести себя так при постороннем человеке? Потом поняла, что в Учреждении смотрят на осужденных как на объект работы. Они как бы есть и их как бы нет. При них можно было говорить о чем угодно — о домашних делах, о городских службах, о погоде, о выброшенном в продажу дефиците.

Сначала Аня рассказывала отцу обо всех осужденных, чьи дела попадали к ней — кто, откуда, за что сидит, сколько дали. Потом они стали казаться ей на одно лицо. Выделялись только некоторые. Например, запомнился журналист-взяточник. Удивилась: за что же ему взятки давали? Посмотрела дело. Оказалось, взятки давали воры-начальники, которым он грозил разоблачением. Это было так интересно, что Аня пошла в библиотеку, попросила подшивку газеты и прочитала несколько статей этого журналиста. Однако ничего особенного она в них не нашла.

Журналист поразил Аню внешностью. Он был не просто красивый, а благородно-красивый. Аристократ. Именно таким почему-то представляла себе Аня пушкинского Онегина.

«Мельчает народ, — сказал отец, выслушав Аню. — Девальвация нравов». Папа вообще любит высказываться научно. А мама сказала про журналиста: «Наверное, его за границу не пускали». На что папа заметил: «Думаешь, они не воруют?» — «Кто» — «Ну, те, кого пускают...»

— О чем задумалась, красавица? — услышала Аня. Наверное, она задремала. Стало еще холоднее. Машину все так же качало из стороны в сторону. — Давай разговаривать.

— Давай, — согласилась Аня. — Сколько еще ехать?

— О! — Отар шутливо толкнулся плечом. — До ночи.

Аня посмотрела на часы — скоро одиннадцать. Господи. Чем она не понравилась Петрову? Мог бы послать кого-нибудь другого. «Разнарядка, товарищ Сычева, разнарядка». Нашел шефа. Какой она шеф? Хотя она не помнит осени, чтобы не ездил на картошку. С пятого класса. Тетю Симу тоже жалко. Поехала со слезами. А куда деваться! — кадровая. За дочку боится. Певица. Аня слышала, как она поет. Голосок ничего, как у Пугачевой. И дергается так же.

— Тетя Сима! — позвала Аня. Из кабинки, служащей для перевозки особо опасных преступников, никто не ответил. Спит, наверное, решила Аня.

— Серафима Ивановна! — громко крикнул Отар. — Как вы там?

— А? — голос испуганный. — Ничего. Трясет.

Тетя Сима сама захотела ехать в этой тесной железной одиночке, объяснив: «Боюсь я их». Капитан Косых согласился: «Ладно, сдадим по назначению».

Здесь, на лавке, где сидели Аня и Отар, хватило бы места еще на двоих. А в одиночке даже окошка нету.

— Ты хочешь на юг? — спросил Отар.

— В Грузию?

— К морю.

— Хотела бы, но мама говорит, что там женщинам проходу не дают.

— Смотря каким.

— Всем. Заманят в машину и увезут.

— А ты не садись. Если села, значит, согласна. Условный сигнал, понимаешь?

— Ага.

— Ну-ка, повтори, — Отар наклонился и приблизил ухо к Аниному лицу.

— Что повторить?
— А-га.
— Ага. — Словечко это осталось у Ани от детства. Оно могло выражать и «нет» и «да», и «что» и все их оттенки.

— Еще повтори.
— Зачем?
— Нравится.
— Мало ли что.
— Пожалуйста.
— Ага.
— Ты не так. Ласково.

«Вообще-то он ничего, — подумала Аня. — Высокий. И усы». Повинуясь внезапному порыву, она, почти коснувшись губами его уха, шепнула:

— Ага.

Отар легонько сжал рукой ее локоть, снова положив автомат на колени.

— Можно поддержать? — спросила Аня, показав глазами на автомат.

— Нельзя.
— Заряжен?
— Ага, — Отар улыбнулся.
— Пулями?
— А чем же еще?
— И ты можешь выстрелить в человека?

Отар пожал плечами:

— Служба.
— Странно. В человека ведь, не в кого-нибудь.
— На войне же стреляют.
— То на войне. Там враги. А здесь?
— Эти тоже враги.
— Откуда они берутся? Все больше и больше.
— Время такое. Милиция работает на полную катушку.

Да и милицию, говорят, тряхнули. У нас в Грузии, мать пишет, судьям отдохнуть некогда.

— А из Москвы сколько везут. Из Ленинграда. А вот ты скажи: почему у вас, не только у вас, но и вообще на юге больше всего этого? Воровства, спекуляции... Папа говорит, что разврат к нам идет с юга, с запада и из центра.

— К вам — это сюда, что ли?
— Не только к нам. Вообще в страну.
— Нас, грузин, еще раньше развратили. Самое противное, когда шоферы эти портреты выставляют.
— Что ты будешь делать после службы?
— Пойду в милицию. Но сначала женюсь.
— На ком?
— На тебе.
— А я согласна?
— Ты же сказала: «Ага».
— У меня уже есть парень.
— Ну и что. У меня тоже есть девушка.
— Тем более. — Аня слегка отодвинулась. Шутки шутками, а неприятно, когда так говорят.
— Кто твой парень?
— Никто. Смени пластинку. Недаром про вас говорят, что вы бабники.

— Анечка!
— Отстань. — Аня отвернулась, глянула за решетку и опять встретилась взглядом с золотозубым Маханом. Она попыталась задержать взгляд, но не могла. Из-за плеча Махана выглядывали скользкие глаза Тощего.

— Аня, я больше не буду.
— Ладно. Интересно, за что сидит этот? — Аня кивнула в сторону осужденных. — Тощий.

— Сейчас узнаем. — Отар потянулся было к телефону, но передумал и закричал громко, чтобы услышали осужденные: — За что сел? Ты, ты, который по зубам схлопотал.

Тощий, ощерив рот, что-то ответил.

— Повтори как положено!

— Статья сто семнадцатая, часть первая, гражданин сержант.

— Понятно? — уже тихо спросил Отар.

Аню передернуло. Даже убийцы казались ей не такими

страшными, как насильники. А женщины? Как они живут после этого? Случись такое с ней, она бы сразу умерла.

Машина вдруг накренилась, и Аню прижало к Отару. Осужденные поехали по скамейкам и сбились в одну кучу. Золотозубый матерно выругался, но Отар не обратил внимания. Он обхватил девушку рукой и крепко прижимал к себе, упираясь ногами в пол. Машину так же внезапно бросило в другую сторону.

— Ну, Швыркун! Ну дает! — восхитился Отар. — Здесь только так и можно проехать.

Машина пошла ровнее. Аня убрала руку Отара.

— Кто такой Швыркун?

— Ты не знаешь Васю Швыркуна? — удивился Отар. — Наш водитель. Ас! Вагонзак любит, как девушку. Его изобретение, — Отар показал на телефон. — На других вагонзакх этого нет.

— Почему ты говоришь: вагонзак? Это же автозак.

— Правильно. Но мы так привыкли: вагонзак и вагонзак. Раньше черным воронком называли...

— Знаю. Отец рассказывал.

— Сколько в них народу едет! Я за полтора года не меньше тысячи перевез. Туда-сюда. Туда-сюда.

— А куда больше?

— Туда.

Отар рассмеялся, встал и посмотрел в окошко.

— Белую проехали. Скоро Черная. А там дорога...

— Еще хуже?

— Да, Анечка, там совсем хуже.

Капитан Косых в дороге обычно спал. Или дремал. Но сегодня не спалось и не дремалось. Со Швыркуном говорить не о чем. Да он и не разговорчив. Ничего водитель. Наберется опыта и будет гонять на междугородних. Там хорошо платят. Характеристику дадим.

Капитан взглянул на четкий профиль ефрейтора, на выступающий острый кадык, на крупные жилистые руки, лежащие на баранке. Хорошие руки, шоферские — ни мороза, ни грязи не боятся. Надо к празднику младшего присвоить. Не забыть бы только. А то все в ефрейторах. А когда ему самому-то майора дадут? Пора бы уже. Денег вечно не хватает. Книги дорожают. Особенно альбомы. Скоро будут как на Западе. Вчера вот Васильев пришел. Хороший художник. Очень русский. В двадцать три года умер, а сколько создал. Как не купить? Ольга скрыть хотела. Только от меня, дорогая, не скроешь. По глазам вижу, что у тебя за прилавком. «Из-за твоих книг мы вечно будем нищими!» Дура, не понимает, что моя библиотека — главное богатство. Пусть парни рядом с книгами живут, а не возле мебели. Умрем — им останется. Если и пропивать будут, так хоть книги, а не вещи. Может, третьего завести? Нет, хватит двоих. Ольга и так упеталась. Подросток — полегче станет. «Папа, почему у нас нет машины?» Это Павлик. Машину захотел. Давай продадим книги и купим. Согласен? Посмотрел на книги, подумал: «Согласен». Дурачок! То, чего нет, но чего очень хочется, легко побеждает то, что есть. Закон распространения зла. Вот, даже закон вывел. Пойди объясни этому интеллигенту Кон-стан-тину. Бороду отрастил. Думает, что от этого сразу поумнел. Книгу пишет. О перестройке в деревне. Что он понимает в деревне? «А как идет перестройка в армии?» Дурак! Какая может быть перестройка в конвойных войсках? Сидите за своими казенными столами, пишете статейки, а жизни не видите...

Вспомнив вчерашнюю ссору, капитан вновь почувствовал себя виноватым, хоть и старался убедиться в обратном. Часть вины, конечно, надо признать: зря я повысил голос. Но если этот Константин-журналист, писатель, то я и понять должен, с кем я каждый день имею дело и какое у меня должно быть от этого сердце. И жена его тоже: «Георгий, ты не прав». Официальная баба. Будто не знает, что все зовут меня Юрой. Да, по паспорту Георгий, но для всех — Юрий. Знает, но делает вид, что не знает.

«Вы, — сказал я, — едите колбасу, купленную по талону, иначе говоря, на карточки, это ведь только в столицах наших свободных республик колбасы сколько хочешь,

едите эту карточную вареную колбасу и рассуждаете о демократии. Кому нужны ваши рассуждения? Мяса в магазинах от них не прибавится и производительность коров не увеличится. Демократия! Я со страхом домой возвращаюсь, думаю каждый раз: вот сегодня-то уж точно нашу квартиру ограбили. У вас такого нет, потому что вы ничего не знаете. А я сводки читаю: там грабеж, там убийство, там изнасилование. Страшно становится. А вы — демократия!»

А Константин на своем: «Ущербная демократия рождает ущербное зло. Сколько у нас искусственных законов! Сколько преступников, рожденных этими искусственными законами! Истинная демократия — это отсутствие искусственных законов».

— «Что, Уголовный кодекс не нужен?» — «Нужен. Сейчас особенно нужен. Даже более суровый, чем есть, но справедливый». — «Не более суровый, а самый суровый из всех, какие когда-либо существовали. Страх и только страх может остановить человека». — «Было. Уже было. Сажали. Плоды тех далеких времен мы пожинаем сейчас». — «Не надо было те законы отменять, не пожинали бы».

И тут встряла его ученая жена: «Ты мыслишь не диалектически, Георгий. Ничего не может быть постоянного, в том числе и законов. Ибо законы — средство власти. А средство выбирается в зависимости от цели».

Вот, такая умная баба. Всегда употребляет слово «ибо». Не нравится мне это слово. Не знаю почему. Как услышу, так коробит.

«И что за цель у нынешней власти?» — «Любая власть хочет прежде всего укрепиться». — Это уже Константин. «А потом?» — «Потом еще более укрепиться».

В их рассуждениях что-то было. Капитан это чувствовал, но признать... Признать чью-то правоту, значит признать свою неправоту. Тоже диалектика. Впрочем, я не знаю, что такое диалектика. И уж такая ли она правдивая эта диалектика. Может быть, и нет никакой диалектики. Может быть, ее просто выдумали, чтобы мозги запудрить. Я верю своим глазам, а не рассуждениям.

Все это было прелюдией к ссоре. Она обязательно должна была вспыхнуть, потому что витала в воздухе. Он, капитан и Константин с женой были на разных полюсах психологического поля. Они встали друг против друга сразу, как только встретились. И что-то должно было эти полюса разрядить.

После разговора о законах беседа пошла спокойнее. Капитан во второй раз разлил по рюмочкам и выпил свою сразу, а Константин все вертел в пальцах, прихлебывал и премокивал, словно это не водка, и приговаривал:

«Нынче спешить нельзя. Нынче это напиток уважаемый, из литературы и кино изгнанный, а все, что изгоняется, то сладко...»

И тут капитан рассказал, как к нему пришла на днях дальняя-дальняя родственница, тридцатилетняя женщина, и стала просить похлопотать за мужа, которого посадили на четыре года за хищения собственности. Чтобы, значит, отбывал он срок где-нибудь поближе. В принципе это можно было устроить: колоний много и знакомых у капитана достаточно. Но капитан сказал, что это невозможно. Тогда она достала конвертик и говорит: «Тут все, что у меня есть. Помоги, Юрочка». Капитан взял ее за руку и молча вывел на улицу.

«Вот мы как испорчены,» — сказал в заключение рассказа капитан. А Константин поставил пустую рюмочку на стол и умным голосом произнес:

«Почему бы тебе не помочь ей? Не за деньги, конечно».

Вот после этих слов капитан и взорвался. Вскочил и закричал: «Как вы не понимаете?! Ведь она приняла меня за взяточника! Она, между прочим, народный учитель! Детей воспитывает! Чему она их научит? Чему? Дожили! А вы, интеллигенты, говорите про диалектику. Понять всех можно! И нужно понять! Но только тогда, когда у человека чистые помыслы! Понятно? Чис-ты-е!»

Константин, как на грех, вставил: «Мать Ленина, Мария Александровна, тоже за детей своих хлопотала. Чиновников и тогда было немало».

«Но ведь она не предлагала взятки! — совсем уже нехорошим голосом закричал капитан. — И дети ее были не уголовники. И не могли быть у такой матери уголовники. Не могли! Понятно вам? У этой учительки не только муж, но и сын — будущий уголовник. Потенциальный уголовник. Потому что мать — уголовный преступник. Понятно объясняю вам, интеллигенты?»

Не надо было так кричать. Нервы совсем никуда. Выгнал гостей. Ну хоть и не выгнал — позволил встать и уйти, не попрощавшись. Ольга чуть с ума не сошла. Кинулась за ними, а капитан: «Стой! Ни с места!» Послушалась. Так и ушли. Либералы. Болтуны. Писатели.

Ругань отвлекала, но чувство вины не проходило. И не пройдет. Чувство вины — родственник совести.

Швыркун давно уже включил печку, и в кабине было тепло, особенно ногам. О ветровое стекло билась снежная крупа, таяла и слизывалась дворниками. Кто знал, что погода так резко переменится — еще вчера было плюс десять. Хотя все лето нынче стояло противное. Можно сказать, его и не было. Надеялись на осень — как бы не так. Ни грибов, ни ягод, ни бабьего лета — ничего, как будто провалилось все к чертовой матери. А урожай зерновых, пишут, ничего, нормальный. Область план перевыполнила. Это, конечно, приятно слышать, однако как бы из этого неожиданного успеха худа не вышло: возьмет новое начальство да и припишет его своему мудрому руководству. А на будущий год неурожай — что тогда?

Капитан снял трубку и нажал кнопку вызова.

— Ну как там, сержант?

— Нормально. — Голос у сержанта мягкий, расслабленный. Ясно: девушка рядом. Капитан знал, что делал, посадив ее в кузов. Одета тепло, не озябнет, а рядом со словоохотливым сержантом и не заметит как доедет.

— Холодно?

— Синие, товарищ капитан.

— Кто синие?

— Эки, товарищ капитан.

— Осужденные, товарищ Кипаридзе, о-суж-ден-ны-е. Ясно?

— Так точно, товарищ капитан.

— То-то же. Эта, как ее, в одиночке, жива?

— Жива.

— А соседка?

— Грею, товарищ капитан.

— Ну-ну. Сам не перегрейся.

Шутка показалась капитану удачной, и он долго улыбался, глядя на проносящиеся мимо чахлые березки с полупопавшей листвой.

Вася Швыркун не впервые ехал этой дорогой. Правильно сказать, все его дальние поездки шли через Белую, Черную и далее до Восточной. Дорогу он знал и делил на три участка: до Белой гравийка, до Черной — грунтовка, а далее — черт знает что.

Он слышал, что в эту сторону собираются тянуть настоящую дорогу, асфальтовое шоссе, но когда это еще будет, в какой пятилетке? Остался год, как-нибудь потерпим, а потом...

Жаль, в Чернобыле к тому времени уже все кончится, вот бы куда махнуть: и риск, и деньги. Не в том смысле жаль, что опасность ликвидируют, а в том, что случая такого может больше не предвидится. Родиться бы двумя годами раньше. Хотя, конечно, лучше бы там ничего такого не случилось. Все так хорошо началось и на тебе — бабахнуло. Не чисто тут что-то. Халатность халатностью, но что-то не верится. И паромы. Это уж вообще. Это ведь не шоссе, где можно на машину наскочить, — море! Там же мили кругом, мили!

Вася достал сигарету и закурил, стараясь пускать дым в полукрытую форточку — капитан не любил дым. Вася, когда проходил курс молодого бойца, бросал и не курил

полтора месяца, но опять начал и теперь уж, видно, никогда не бросит.

Между Белой и Черной изредка попадались встречные машины и трактора. За Черной, как только пролали последние поселковые собаки, началась мелкоколесная болотистая пустыня: ровное необозримое пространство, изобретенное с юга на север черными бездонными колеями. Здесь надо врубать вторую скорость и пилить, пилить, пилить вполгаза, а если перегазуешь, дашь колесам пробуксовку — увязнешь и будешь сидеть и никто тебя не спасет, не вытащит.

Иногда черные колеи мельчали, дорога слегка подымалась — то были песчаные возвышенные участки, заросшие сосняком, но они быстро кончались, дорога опять шла вниз, разъезжалась вширь, снова рычаг передачи на себя, на вторую, снова мотор монотонно воев вполголоса, снова смотри, чтобы не замедлить, не задержать однообразного движения вперед.

Перед спуском с одного из песчаных холмиков Швыркун затормозил, остановился и, не выключая мотора, выскочил на улицу посмотреть: жив ли мостик через невидимый, утонувший в кочках ручей.

В разгоряченное лицо Васи колюче сыпанул снег, но это было даже приятно после жаркой кабины. Приятно было и размяться — посиди-ка три часа за баранкой.

Широко ступая каблуками в рыхлый песок, Вася миновал кусты и увидел — мостик цел. Несколько бревен, правда, выбились из тесного наката, но это ничего, проскочить можно. За мостиком же начиналось жуткое черное месиво, настолько черное, что даже странно — почему эту местность называют Нечерноземьем.

Швыркун дошагал до мостика, попытался сапогом втолкнуть вылезшее из наката бревно на старое место, посмотрел вперед, на месиво, свистнул, сплюнул и вернулся к машине.

— Как? — капитан открыл глаза.

Швыркун пожал плечами.

Сзади, из фургона, послышался топот ног. Впечатление было такое, будто они в квартире крупнопанельного дома, а за стенкой свадьба.

Капитан взялся за телефон.

— Что там?

— Мерзнут, товарищ капитан. — В голосе сержанта слышалась неуверенность.

— Ладно. — Капитан положил трубку. — Давай, Вася.

Водитель включил скорость, скатил машину вниз, довел почти до самого мостика и тут не пожалел газу. Он знал: мостик надо проскочить так, чтобы еще оставалась скорость, иначе сидеть в черном вареве до конца службы.

Еще не отгромыхали под колесами бревна, а Швыркун уже понял: завязнут. Мысленно выругавшись, он инстинктивно до упора выжал педаль газа, мощный мотор рванул, ведущие колеса резко крутанулись, пружинивая настил, вагонзак подпрыгнул, накренился, потом пошел ровно, будто поплыл и, наконец, остановился, вздрагивая всем телом, как перенапрягающаяся кляча. Швыркун продолжал давить на газ, надеясь: а вдруг зацепится, вдруг выедет, вдруг счастье на его стороне...

— Черная далеко? — спросил капитан Косых, когда Швыркун выключил мотор и наступила звенящая в ушах тишина.

— Километров десять. — Швыркун открыл дверцу и, наклонившись, глянул назад и вниз, под колеса.

— Однако.

Капитан ждал, что в кузове опять затопают, и прислушался, но было тихо. Он толкнул дверь и, распрямив затекшие ноги, с сожалением опустил чистые сапоги в черную грязь. Тотчас же увязнув выше щиколоток, капитан перестал думать о грязи и осмотрелся. Вокруг простирался довольно обширный прогал или луг, покрытый ивняком, тощей осокой и рыжими кочками.

Впереди, там, куда они ехали, дорога слегка поднималась вверх и скрывалась в низкорослом кустарнике.

Все четыре задние колеса больше чем наполовину увязли

в черной каше, в которой кое-где виднелись и желтоватые пятна песка. Передние колеса выглядели вполне прилично — не буксовали.

— А передний мост?

Капитан глянул на стоявшего рядом водителя и почувствовал к нему неприязнь.

— Не работает. — Швыркун кинул окурок в грязь.

— Как это — не работает?

— А вы не знали? Я все лето без передка езжу.

— Почему молчал?

— Толку-то. Начгар...

— Что начгар?

— Думаете, я один без передка езжу? Нету, говорит, запчастей. А еще говорит: без передка бензину меньше уходит. Если бы с передком...

— Ну ладно. Разберусь. Что делать будем?

— Копать. Чего еще.

Швыркун обошел машину и с железным стуком выдернул откуда-то лопату. Капитан последовал за ним и стал смотреть, как Швыркун, скинув бушлат на сиденье кабины, начал с чавкающим звуком выгребать из-под колеса землю. С неба продолжал сыпать мелкий крупитчатый снег. Падая на грязь дороги, он уже не таял, а скатывался в ямки, как тяжелая дробь. Капитан подумал о тех, кто сидел в вагонзаке, и пожегил — только теперь он почувствовал чертовский холод.

— Еще лопата есть?

— Не, — водитель выпрямился, отер рукавом со лба пот и длинно высморкался.

И тут в кузове опять затопали. К топоту добавились крики. Капитан перешагнул колею и встал у двери.

— Кипаридзе!

— Да?

— Наведи порядок.

Сержант что-то скомандовал. Крики на время утихли, но тотчас же возобновились с прежней силой.

Капитан отомкнул дверь и, по привычке соскребя о железную ступеньку лестницы грязь с сапога, в один шаг поднялся в кузов. «Было, все это уже было», — подумал он, оглушенный всеобщим криком. Взгляд его, быстро привыкший к полумраку, различил фигурку сидящей девушки, растерянное лицо сержанта и руки. Руки, сжатые в кулаки, руки, трясущие прутья решетки.

— Внимание! — сказал капитан тихо, так тихо, что не услышал собственного голоса. Однако крики тотчас прекратились, будто их что-то обрезало. Пальцы разжались, скользнули по прутьям вниз и исчезли. — Вот так. Будете по одному выходить греться.

Ответом было дышащее молчание. Слышно было, как у кого-то из осужденных стучат зубы.

— Вы, — капитан коснулся податливого плеча девушки, — марш в кабину. А вы как? — он постучал костяшками пальцев в стенку одиночки. — Идите погрейтесь.

— Не пойду. — Голос у тети Симы был глухой и как бы севший от холода, а может это только казалось оттого, что вокруг нее было железо.

— Она их боится, — объяснил сержант. Он первым выпрыгнул из кузова и подал руку Ане. Девушка, увидев черную жижу, заколебалась, и тогда сержант подхватил ее на руки. Аня не сопротивлялась. Капитан с интересом посмотрел на подчиненного и хмыкнул. Дождавшись, когда сержант вернулся, Косых достал ключ и отпер замок на решетчатой двери. Несколько осужденных разом встали.

— Сидеть! — остановил их капитан. — А ты выходи. — Он показал рукой на ближайшего. Осужденный, опустив голову, вышел. Капитан замкнул замок. Сержант стоял внизу и держал автомат наперевес. Осужденный неловко сорвался со ступеньки, утопив ботинки в грязи. Его трясло.

Водитель с красным от напряжения лицом распрямился и воткнул лопату в сырую землю.

— Включи мотор, — распорядился капитан. — Пусть девушка погреться.

Осужденный, мужчина лет сорока с обросшими щетиной щеками и подбородком, стал расстегивать штаны. Капитан

молчал. С трудом застегнув негнушимися пальцами пуговицу, осужденный посмотрел на лопату.

— Давай. — Капитан подтолкнул его в спину. — Действуй.

Швыркун показал, где копать. Сам он продвинулся недалеко: лопата была небольшая, плоская, а земля — тяжелая, вязкая; такой лопатой работы на неделю.

«Влип, — думал Швыркун, — ой как влип». Из кабины смотрела на него девушка. Утром он не успел разглядеть ее как следует и сейчас просто ошалел. Надо же: и теплый ватник, и глухой бордовый платок, и большие резиновые сапоги, явно отцовские, а сразу видно: красивая. «Вот бы на такой жениться», — подумал он, но тут же отогнал эту мысль, вспомнив чьи-то слова, что красивые, как правило, верными женами не бывают. «Раз уж ее сейчас на руках носят...» Швыркун мысленно одобрил капитана, отославшего Отара обратно в кузов. «Он бы, конечно, был радешенек в кабине посидеть». И Швыркуну было приятно, что девушка устроилась на его сиденье, а не там, где сидел капитан.

Осужденный копал вяло, его худые лопатки под тонкой тканью полосатой куртки раздвигались и сдвигались как крылья переваренной курицы — вот-вот отвалятся.

Прошло минут пять. Капитан посмотрел на часы и велел осужденному возвращаться в вагонзак. Опять выставив сержанта с автоматом возле дверей, он выпустил на улицу следующего. Им оказался Тоший. Опухоль на его губе спала и посинела. Тоший тоже перезыб, дрожал, хватался руками за плечи, но внимания не потерял и зыркал глазками по сторонам. Копал он быстро, отшвыривая землю далеко, и часто выпрямлялся, чтобы перевести дух, выглядывая при этом в сторону недалекого леса. Это не укрылось от капитана, и перед тем, как вывести третьего, он вынул из кобуры пистолет, вставил обойму, щелкнул предохранителем и убрал обратно.

Третий, на которого показал капитан, выходить отказался.

— Ну тогда ты, — капитан махнул рукой другому.

— Он тоже не пойдет, — сказал тот, который должен был идти третьим. Все передние зубы у него были золотые.

— Как хотите, — миролюбиво, слишком миролюбиво сказал капитан и стал запирает замок, соображая, как же быть: часа через три стемнеет и в темноте их никуда не поведешь, оставить в машине — замерзнут. Ох, Швыркун! Надо было самому сесть за руль. Однако без переднего моста... Ну, начгар! Я покажу тебе, как экономить бензин на вагонзакмах!

Выругавшись таким образом, капитан Косых приказал себе: спокойно, только спокойно, ни в коем случае не спешить. Он уже допустил ошибку, позволив заключенным не выходить на улицу. Он подумал сначала, что у третьего, золотозубого, это просто блажь, но тут что-то не так. Надо быть внимательнее.

Замкнув замок, капитан повернулся, чтобы выйти, и в этот момент раздался вой голосов и топот. Капитан оглянулся и увидел искаженные холодными гримасами белые лица и пальцы, вцепившиеся в прутья решетки. Среди общего воя можно было различить слово: «Холодно! Холодно! Холодно!»

Капитан выждал с минуту, оставаясь на месте, затем решительно шагнул к выходу. Решетку рвали так, что вагонзак трясся. Ступив на лесенку, капитан услышал еще один звук — тонкий, наполненный смертным страхом. Так кричат в беспамятстве женщины. Но женщин среди осужденных не было. И тут капитан понял, что кричит та, в одиночке. Крик ее был невыносим. Капитан повернулся к решетке и выхватил пистолет. Все двенадцать осужденных разом замолчали и убрали руки с прутьев.

Только женщина все еще продолжала тянуть свою жуткую ноту. Капитан молча подошел к одиночке и постучал по железу. Нота оборвалась, будто женщина выкричала весь воздух.

Капитан открыл дверь.

— Нет! — услышал он тотчас. В одиночке было темно,

и капитан увидел только затиснутый в угол силуэт и белое пятно лица. — Нет!

— Что «нет»?

— Не открывайте.

— Чего разорались? — капитан начал выходить из себя. — Никто вас не трогает.

— Страшно. Заприте на ключ.

— Идите в кабину.

— Нет.

— Ну и сиди, дура, — тихо произнес капитан, захлопнул и запер дверь на ключ.

В ту же секунду вновь затряслась решетка. У капитана заложило уши от крика. Помедлив, он вышел на улицу.

— Что стоишь? — спросил он сержанта. — Помогай Швыркуну.

Водитель орудовал лопатой под правым бортом. Отар отдал ему автомат, взял лопату и стал копать.

— Надень китель, — велел капитан водителю.

Солдат отмахнулся. Форменная рубашка на его спине была темная от пота.

— Не дури, — капитан возвысил голос.

Швыркун нехотя открыл дверцу кабины, вытащил китель и кинул автомат на сиденье, увидев при этом, как девушка испуганно глядела на оружие. Швыркун улыбнулся: ничего, мол, страшного, но девушка никак не ответила на его улыбку.

Сержант копал хорошо, ловко, но быстро выдохся.

«Концерт» в вагонзаке не прекращался.

— Иди посмотри, — сказал капитан и отобрал у сержанта лопату.

Сержант вернулся скоро:

— Боюсь, решетка не выдержит.

— Не может быть.

Капитан бросил лопату и пошел к дверям.

— Может, попробуешь? — предложил он водителю и поднялся в вагонзак. Достав пистолет и направив его в сторону осужденных, остановился у решетки. Крики и топот прекратились. На этот раз женщина вела себя тихо. Верхний левый угол решетки, там, где она была приварена к угольнику, отошел в сторону. Капитан убедился в этом, подергав один из прутьев.

Тем временем Швыркун уселся за руль, включил скорость и дал задний ход. Вагонзак чуть двинулся. Затем Швыркун переключился на первую. Мотор заревел. Машина дернулась, прошла метра два и будто уперлась во что-то. Назад.

Вперед.

Чтобы не упасть, капитан сел на скамейку.

Путь машины туда и обратно постепенно сокращался: чувствовалось, что она увязает глубже и глубже.

Бесполезно, подумал капитан. Словно уловив его мысль, Швыркун заглушил двигатель. Хлопнула дверца.

— Сержант! — крикнул капитан, высунувшись из дверей на улицу.

Отар подошел.

— Проверь оружие.

— Есть.

Швыркун что-то сказал, но его слова заглушили крики осужденных. Железная решетка затряслась с каким-то жутким, знобящим скрежетом. Капитан махнул рукой сержанту, чтобы отошел в сторону. Отар понял и потянул за собой Швыркуна.

Капитан взялся за замок. Крики смолкли. Капитан снял замок, положил его в карман бушлата и открыл дверь.

— Выходите! Все! — Отдавая этот приказ, капитан чувствовал, что поступает неправильно, но изменить свое решение уже не мог.

Осужденные один за другим стали пробираться к выходу и спускаться вниз. Капитан стоял чуть в стороне и держал руку на кобуре. Глядя на их согнутые холодом спины, он вспомнил рассказ Толстого, в котором описывалось, как в одну морозную ночь, во время бунта, упитанная лошадь превратилась в клячу.

Когда все вышли и встали в ряд, капитан, теперь уже

совершенно не обращал внимания на грязь, прыгнул на землю, осмотрел жалкий неровный строй и приказал:

— Третий слева — ко мне! — И достал карманный ножик.

— Гражданин начальник! — вскричал золотозубый Махан и опустился на корточки.

— Ко мне! — повторил капитан. — Сколько у тебя побегов?

— Два. Всего два, гражданин начальник. — Махан, прихрамывая, приблизился к капитану. — У меня нога болит, гражданин начальник.

— Знаю, как она у тебя болит.

Капитан раскрыл нож и в два приема срезал со штанов Махана пуговицы. Золотозубый, поддерживая штаны рукой, пятясь, вернулся в строй.

— Нале-во! — скомандовал капитан. — Бегом марш! По кругу! По кругу!

Осужденные нехотя побежали, образовав круг диаметром метров в пять.

— Быстрее!

— Юрий Иванович, слышите? — К капитану подошел Швыркун.

— Что? — Капитан не спускал глаз с осужденных и не обращал внимания на «гражданское» обращение водителя.

— Кажись, трактор.

— Стоять!

Осужденные, дыша, остановились.

— Слышите? — Швыркун показал рукой на север. Капитан прислушался. Действительно, со стороны дальнего леса тянулась радостная паутинка знакомого звука.

— Я пойду, сказал Швыркун.

— Подожди. — Капитан снова прислушался. Паутинка оборвалась. — Сержант, ты слышишь?

Отар подошел к ним, приставил к уху ладонь и тоже вслушался.

— Нет, товарищ капитан. Показалось Васе.

— Показа-а-лось, — обиделся Швыркун. — Я даже уверен, что это дэтэ семьдесят пять.

Краем глаза капитан заметил среди осужденных движение: они сгрудились.

— Что такое?

— По нужде, гражданин начальник, — ответил Тощий и хихикнул.

— Иди, — разрешил капитан Швыркуну.

Возле кабины Вася остановился, думая, не пригласить ли с собой девушку, но капитан, рывкнул:

— Живей!

Швыркун нахлобучил пилотку и крупными шагами пошел месить грязь. Отар, повесив автомат на плечо, заглянул в кабину.

— Ну как, Анечка?

Капитан, проводив взглядом водителя, повернулся к осужденным. В следующее мгновение он сделал громадный прыжок, выхватил пистолет и несколько раз подряд выстрелил вверх. Осужденные расширяющимся веером бежали в сторону ивняка.

Хлопки выстрелов, как удар бича, бросили всех на землю. Только один, самый дальний, продолжал петляющий неровный бег, мелькая голыми белыми ногами.

— Стой! — Капитан опустился на колени и стал ловить в прицел бегущего. Но сержант опередил: его очередь прозвучала секундой раньше. Бегущий упал.

Швыркун, не успевший сделать и ста шагов, бегом вернулся к машине.

Краткая тишина прервалась вдруг бабьим криком. Все осужденные лежали, уткнувшись головами в рыжую траву. Ближе всех лежал бывший журналист. Он находился там же, где пять минут назад грелся физзарядкой.

— Так, — сказал капитан, вставая с колена, — Швыркун, туда! — Косых ткнул пистолетом в сторону самого дальнего, лежащего без движения. А сам начал считать. Насчитал ровно двенадцать. «Ничего страшного», — успокоил он себя, — лишь бы баба не орала. Словно услышав

его мысль, женщина в одиночке кричать перестала. Были слышны лишь всхлипывания.

Капитан приблизился к журналисту и велел встать. Тот поднялся сначала на колени, потом в рост и, глядя на пистолет капитана, вознес кверху руки.

— Я... Я... — тело журналиста нелепо и жалко вибрировало.

— В машину! — выдохнул, как плюнул, капитан и, продолжая наблюдать за остальными, уширил голос для всех: — Стреляю без предупреждения! — Оглянулся, чтобы проверить, на месте ли сержант.

Теперь капитан явно слышал неровный западающий звук приближающегося трактора. Подходя по очереди к лежащим, он поднимал их и отправлял в машину. Сержант стоял в двух метрах от дверей.

Швыркун приблизился к Махану, наклонился, чтобы лучше рассмотреть что-то, и побежал обратно.

— Что? — вскричал капитан.

— Кровь! — Швыркун рванул дверцу кабины, оттолкнул девушку, и выхватив из-за спины сиденья аптечку в мягкой коробке, помчался обратно.

Закрыв за последним осужденным решетчатую дверь вагонзака, капитан Косых поспешил к раненому (или убитому?), над которым склонился Швыркун.

Махан лежал на спине и белыми, пустыми глазами смотрел в небо. Синеватую плоть его правого бедра, чуть ниже мокрых трусов, уже сдавил коричневый эластичный жгут. Трава возле колена блестела от крови. Водитель, разорвав пакет, разматывал широкий марлевый бинт.

— Кость задета?

— Не знаю. — Швыркун приложил к маленькой круглой ранке, из которой темными сгустками выталкивалась кровь, мягкий белый тампон.

— Ну-ка, подними колено. — Капитан присел. — Осужденный, слышишь?

Махан застонал и пошевелил ногой.

Капитан взял пальцами чуть повыше щиколотки и помог ему. Нога согнулась.

— Нормально, — капитан достал из аптечки еще один бинт. — Замотай крепче.

— Стараюсь. — Кончики длинных, сильных пальцев Швыркуна, запачканные кровью, нервно дрожали.

Капитан встал и огляделся. Возле головы раненого лежали свернутые полосатые штаны. «Хитер», — подумал капитан и вновь внимательно посмотрел на устремленные в небо глаза Махана.

Шум трактора усилился, стали ясно слышны рыканья его дизеля. «Надо успеть», — решил капитан и позвал сержанта. Швыркун заканчивал наматывать второй бинт.

Сержант подбежал.

— Давай! — капитан нагнулся и, приподняв Махана за плечи, просунул руки ему под мышки. — Берите!

Сержант и Швыркун подхватили осужденного за бедра, подняли, и отступаясь в ямы между кочками, понесли ногами вперед. Капитан это отметил про себя, но тут же подумал, что все эти приметы — суеверия и глупость.

Втащить раненого в узкую дверь вагонзака удалось не сразу. Капитан попробовал утвердить Махана на здоровой ноге, но осужденный то ли ослаб, то ли притворился, поэтому пришлось сначала опустить его на грязь, сержант и водитель запрыгнули в кузов и уже оттуда, сверху, схватив раненого за руки, подняли к себе. Его посадили на пол между скамейкой и решеткой. Пока капитан открывал дверь, сержант поддерживал Махана за плечи. По приказу капитана Тощий и еще один осужденный втащили раненого товарища за решетку. Сержант кинул туда же полосатые штаны Махана.

— Ослабьте жгут. — Вновь заперев двери на замок, капитан выпрыгнул на улицу.

Швыркун, стоя возле кабины, оттирал белой тряпкой кровь с пальцев и, криво улыбаясь, разговаривал с девушкой.

Через минуту-другую должен был появиться трактор.

Ане давно уже необходимо было выйти на улицу. Но голько теперь, когда увидела выползающий из леса рыжий, как муравей, трактор, сильно уменьшенный расстоянием, она поняла, что сможет это сделать либо сейчас, либо придется терпеть до конца пути. Аня потянула на себя ручку и осторожно надавила плечом на дверцу. С этой стороны вагонзак никого не было. В лицо вместе с холодным воздухом полетели крупинки снега. Отойдя шагов на десять по направлению к ивняку, Аня оглянулась и увидела Отара, который стоял за углом фургона и сосредоточенно смотрел под ноги. Лицо у Ани вспыхнуло, она отвернулась и прибавила шагу. Идти в больших сапогах было неудобно.

Возвращаясь, Аня увидела, что трактор уже не рыжий муравей, а настоящий, с гусеницами, стоит впереди вагонзак и из кабины его высовывается легкая фигурка мальчишки — синяя, в пятнах масла, капровая курточка, кепочка с пуговкой на макушке и огромные, выпачканные в грязи сапоги с низкозавернутыми кирзовыми голенищами.

— Буксует, че ли? — Мальчишка улыбнулся во весь рот, обнажая мелкие белые зубы.

К нему подбежал Швыркун.

— Понял! — радостно крикнул мальчишка и, убрав голову под крышу кабины, не садясь налег на рычаг и резко дал газу.

Трактор, заблестев правой гусеницей, развернулся и встал к вагонзаку задом, из которого торчали заляпанные землей и навозом какие-то растопыренные железяки.

— Давай трос! — Мальчишка сбросил газ и, ступив на гусеницу, прыгнул вниз. На вид ему было лет семнадцать, не больше, но держался он вполне по-взрослому — уверенно и серьезно.

Швыркун, растерянно улыбнувшись, развел руки в стороны.

— Что? — к нему подошел капитан. Увидев его лицо, Аня подумала, что он сейчас ударит водителя.

— Нету. — Швыркун с последней надеждой посмотрел на тракториста.

Мальчишка вздохнул, подумал и, шагнув к задку своего трактора, стал носком сапога выпинывать что-то из спекшейся грязи. Швыркун поспешил на помощь. Вдвоем они извлекли и размотали мятый-перемятый трос с размочаленным концом. Трос был настолько истерзан, настолько оброс ржавой стальной щетиной, что было боязно даже глядеть на него. Однако Швыркун, находясь в отчаянии униженного профессионала, схватил трос голыми руками, подволок к машине, и с трудом, краснея от натуги, захлестнул вокруг кляка на бампере широкую петлю. Другой конец троса был уже завязан в огромный спутанный узел, юный тракторист сунул его в буксирную вилку и прихватил шкворнем, вдавив его каблуком сапога.

— Держи, затайнем! — сипловатым баском крикнул тракторист и впрыгнул в кабину. Мотор рыкнул, в коробке передач звякнуло, гусеницы лязгнули и трактор двинулся, волока и натягивая трос. Швыркун, глядя на трактор, крепко зажал руками петлю, чтобы она не разъехалась и затянулась. Трос, как живой, приподнялся, повис, вытянулся и распрямился.

Швыркун вскрикнул и резко отдернул руку.

Трактор остановился. Мальчишка, высунувшись из кабины, ждал, когда сядут за руль машины.

Швыркун беспомощно оглянулся на капитана. С его опущенной вниз правой руки тоненькой струйкой сбегала на землю кровь, рассыпаясь по тонкому налету снега темными пятнышками.

Капитан крикнул и беззвучно, одними губами, выругался. То, что это были ругательства, Аня поняла по тому, как перекосилось его лицо. Ей стало жалко водителя, и она подумала: остался ли в аптечке бинт?

За руль сел капитан и включил скорость. Трактор дернул трос натянулся и стал похож на струну. Вагонзак, трясясь всем телом, поплыл за трактором.

Вася Швыркун, улыбаясь, посмотрел на Аню.

— Больно? — спросила она и подошла поближе.

— Не-а, — держа руку на отлете, Вася встряхнул ею, и на снег брызнули тяжелые капли. — Заживет до свадьбы. — Он опять улыбнулся.

Трактор и вагонзак, отъехав метров на пятьдесят, остановились.

— Выбрались. — Вася пошел вперед, оставляя на снегу рядом со следами сапог цепочку черных оспин. Аня старалась не ступать на них.

Мальчишка-тракторист с помощью капитана убирал трос на старое место. Капитан был в перчатках. Он спросил:

— Откуда ты, парень, взялся?

— Из «Рассвета».

— А в Черную зачем?

— За фельдшером. Мать заболела.

— Своего фельдшера нет?

— В нашем колхозе не только фельдшера, у нас и председателя нету. — Мальчишка, чувствовалось, был горд тем, что разговаривает с офицером.

— Что это за колхоз такой? — удивился капитан.

— Последний.

— Последний?

— Дальше ничего нету. Ни колхозов, ни совхозов. — Мальчишка посмотрел на капитана, потом перевел взгляд на вагонзак и спросил простодушно: — Зэкв везете?

— А почему знаешь?

Тракторист пожал плечами:

— Больше некого. — Словно извиняясь за то, что задержал, виновато улыбнулся. — Ну, я поехал.

— Давай, — сказал капитан и добавил громче: — Спасибо!

Мальчишка ловко, по-обезьяньи, вскарабкался в кабину, газанул, развернул трактор и целиной поехал в сторону Черной.

Аня, стоя возле открытой дверцы кабины, бинтовала Швыркуну руку. Капитан подошел, остановился.

— Как это тебя угораздило?

— Ничего страшного, товарищ капитан.

— Конечно, ничего. — Гнева в голосе капитана не было. — Вы что, медсестра?

— Еще какая, — сказал Швыркун.

— В школе научили. — Аня старательно обматывала марлей длинные пальцы водителя. Раны, их было несколько, она обильно полила йодом.

— Хоть чему-то учат. — Капитан отошел, открыл дверь фургона и поднялся наверх, к сержанту.

— У нас климат лучше, — сказал Вася глухим голосом, ему хотелось высморкаться, но он стеснялся.

— У вас?

— Ну да, в Белоруссии.

— Ты белорус?

— Наполовину. Отец русский, мать белоруска, я — кацап.

— Каца-а-ап, — Аня рассмеялась. — Теперь кацапов нету. — Она разорвала бинт и завязала узелок. — Давай вторую руку.

— Да тут нет ничего. — Вася растопырил пальцы левой руки. — Царапины.

— Давай хоть йодом смажу. — Аня откупорила флакон и намочила ватку. На темную ладонь солдата падали белые крупинки снега, похожие на гомеопатические таблетки, которые горстями пила Анина бабушка.

— Мы на хуторе живем. Рядом лес, озеро. Дом большой.

— После армии туда поедешь?

— Если женюсь.

— А если не женишься?

— Махну куда-нибудь. Поработаю . . . Надо же, совсем не жжет. Наверное, йод выдохся.

— Да нет, — Аня понюхала флакон. — Я все-таки завяжу.

— Ладно, завязывай. Мне нравится, как ты это делаешь. И вообще.

— Что?

— Вообще нравишься.

«И этот . . .» — подумала Аня.

— Ну, голуби, поехали! — капитан обошел вагонзак спереди и сел за руль. — Скоро совсем стемнеет.

— Я бы сам, — Швыркун помог Ане закрыть аптечку. — Товарищ капитан, я бы смог, — сунув коробку за спинку сиденья, он подвигал белыми толстыми пальцами.

— Ладно, в другой раз. Садитесь. Оба.

Вася обернулся к Ане, улыбаясь во весь рот. Он хотел сначала сесть первым, чтобы оказаться между девушкой и капитаном, но передумал. Подождав, пока Аня забралась на сиденье, он отошел на два шага и позволил себе наконец-то высморкаться.

Первые полчаса капитан вел машину неуверенно, чувствуя напряжение во всем теле — все-таки не каждый день этим занимался, но после того, как включил фары и взгляд перестал отвлекаться на темные кусты, пни и невысокие деревья, а сосредоточился в протяженном овале света, перескакивая с одного дорожного пятна на другое, тело его расслабилось, и капитан стал испытывать привычное удовольствие от езды за рулем.

Как и взгляд, который не выходил теперь за пределы освещенного участка дороги, так и внутренний взор капитана, сужаясь, все прыгал вокруг того, что произошло на сером прогале возле застрявшей машины. Первый раз в жизни пришлось ему сегодня стрелять в человека. Сколько раз проигрывал он в своем воображении подобные случаи, сколько инструкций, наставлений, разбирательств прочел, выучил и выслушал он за годы службы, но только сегодня, возле увязшего в грязи вагонзак, он убедился в том, как просто убить человека.

Эта простота странным для капитана образом вставала на сторону вчерашнего его оппонента Константина. Незавершенный спор, окончившийся ссорой, становился теперь почему-то вполне завершенным и не в его, капитана, пользу. «Вот видишь, — слышал капитан слова Константина, слова, им не произнесенные, но капитаном услышанные, — видишь, как все просто. Теперь ты и сам понимаешь». «Ничего я не понимаю», — возражал капитан. «Понимаешь, но не хочешь это признать, — продолжал Константин, — и дело не в том, кто из нас прав, а в том, что ты не прав». «Да, да, да — вдруг соглашался капитан, — я не прав, но в чем?» — «Наверное, в том, что ты мог попасть не в ногу, а в голову, и не в одного, а в двоих или троих, ты имел возможность...» — «Еще неизвестно, кто попал — я или сержант, к тому же мы действовали по правилам». — «Что такое правила? Не более чем инструкции, которые пишутся для частных случаев. Смотри шире... Теперь понимаешь?»

Капитан, стараясь отвлечься, прислушался к разговору сидящих рядом девушки и солдата. Молодые! Ну, о чем они воркуют? О танцах, о моде, о песнях, вспоминают школьные годы... «Интересно, понял ли что-нибудь Швыркун? А Кипаридзе? Нет, им пока не понять того, что открылось сегодня мне... А эта, в одиночке? Чего она так кричала? Ведь кадровая, сержант, кажется, а... Нет, баба есть баба. Нельзя их на такую работу. Едет вот теперь за тридевять земель на картошку. Не мог Петров мужчин найти? Надо было воспользоваться инструкцией и не брать женщин в вагонзак. Пожалел, уступил... Ну, Петров, ну, чиновник! И стол-то у тебя чиновничий. Не стол, а мастодонт какой-то — огромный, под зеленым сукном, с тумбами, похожими на крепостные башни, с мраморно-бронзовым письменным прибором, с тяжелым пресс-папье...»

«Хитрая все-таки штука — человеческая натура, — подумал капитан, тряхнув головой, чтобы сбросить подsunутую воображением картину великолепного стола начальника Учреждения Петрова. — Причем тут стол, если я размышляю вовсе не о столе, а о чиновнике Петрове? А при том, наверное, что я знаю: чиновник Петров уйдет, а стол останется и за него сядет другой чиновник — Иванов или Сидоров... Хотя что мне до них, я не им подчиняюсь, у меня свои начальники».

Чтобы отвлечься от Петрова и его стола, капитан стал думать о жене, детях, но на них мысль долго не задержалась

и перешла на Константина. Странно, неприязнь к нему исчезла, даже его умная жена казалась теперь не такой уж «умной», а обыкновенной, не в меру начитанной женщиной, даже симпатичной... «Надо зайти к ним. Извиниться. Поговорить. Послушать...»

На территорию колонии въезжали уже ночью, в полной темноте, но в самой колонии, в центре ее, было светло от множества прожекторов, установленных где-то сверху.

Аня вышла из кабины на твердую, утопанную ногами землю и в растерянности оглянулась на незнакомые темные сооружения. Подошли какие-то люди в военной форме, заговорили.

— Тебе, наверное, туда, — сказал Швыркун Ане и показал на угловое двухэтажное здание, у которого два верхних окна были освещены.

— Кто такие? — голос одного из подошедших, на плече которого блеснула майорская звездочка, оказался женским.

— Шефы, — капитан Косых, произнеся это слово, усмехнулся. — От Петрова. Там еще одна. — И пошел открывать дверь фургона.

— Нас в Подсобное послали, — сказала Аня.

— Да? — удивился майор. Аня никак не могла понять, мужчина это или женщина. — Виноград собирать?

— Картошку.

— Надо же! — майор приблизился к Ане и заглянул в лицо. — Ладно, идите наверх.

Воздух на улице был влажный, холодный, и после избыточного тепла в кабине Аня почувствовала неприятный озноб, вызванный не столько холодом, сколько усталостью. Последний час пути она спала, потеряв интерес к разговору с Васей, и к дороге, и ко всем другим впечатлениям. И сейчас ее не тронули стоны и жалобы тети Симы, которая, выйдя из своего долгого заточения на землю, в первую минуту не могла и шагу ступить от боли в спине и суставах. Равнодушно кивнула Аня на поспешный шепот Васи в самое ухо: «Ну так как? Увидимся?» — равнодушно же приняла из рук тети Симы сумку с вещами и пошла к зданию. Оглянувшись у дверей, она увидела, как из вагонзак вытаскивали человека, видимо, того, раненого, а войдя в двери, почувствовала знакомый запах — запах Учреждения. Круглая лестница, площадка, плохо освещенный коридор с щелистым потолком из гладких крашенных досок и блестящими стенами, еще одна дверь и, наконец, комната — большая, освещенная сильной голубой лампочкой, висящей под белым потолком, и лампочкой настольной с оранжевым абажуром. За столом, облокотясь, сидел мужчина в накиннутой на плечи шинели и читал книгу.

Тетя Сима, вошедшая первой, поздоровалась. Мужчина в шинели медленно повернул голову.

— Мы к вам, — сказала тетя Сима и поставила свою сумку на пол. Аня последовала ее примеру и прошла чуть вперед.

Мужчина молчал. Потом, не двигаясь, сказал тихо:

— Дверь.

— Что? — не поняла тетя Сима.

— Закройте дверь. — Мужчина так же медленно отвел от них взгляд и снова уставился в книгу. Аня вернулась к двери и прикрыла ее.

— Я в туалет хочу, — прошептала тетя Сима так, чтобы слышала только Аня, и шагнула назад, к двери. Ее осто-вил окрик:

— Куда?

Тетя Сима, пораженная, замерла.

Мужчина поднялся и подошел к ним.

— Кто вас послал?

— Петров, — сказала тетя Сима.

Мужчина внимательно их разглядывал. Сначала тетю Симу, потом Аню. Он был похож на киноартиста, игравшего роль поручика старой армии в каком-то недавнем фильме — Аня не понимала.

— Идиот! Дурак! — Поручик повернулся на каблуках и пошел к столу. — Куда я вас дену?

— Мы не . . . — начала тетя Сима, но была прервана.
— Молчать!

Ане стало вдруг жарко. Она развязала узел и стащила с головы тесный платок. Мужчина, открыв рот, смотрел на ее рассыпавшиеся по плечам волосы, потом как-то странно, по-кошачьи приседая, приблизился к ней почти вплотную и спросил тихо, с пришептыванием:

— Прос-ти-гос-по-ди?

— Да вы что? — не выдержала тетя Сима. — В своем уме?

— Молчать! — не сводя с Ани прищуренных глаз, прорычал мужчина. — Почему не остригли?

— Вы не поняли, — уже громче сказала тетя Сима, — мы . . .

— Молчать! Я тебя спрашиваю? — мужчина приблизился к Ане еще ближе, так близко, что она почувствовала запах его дыхания.

— А зачем? — спросила Аня и вся сжалась от непонятного страха. Мужчина закричал, раздельно произнося слово за словом, но она не слышала звука, она чувствовала только давление запаха, вылетавшего из широкого рта. Ей казалось, что вот сейчас, сию секунду, ее ударят, толкнут, бросят на пол . . .

— Ну, ну, Сивков, успокойся, они не те, за кого ты их принял. — Это говорил майорский голос, слышанный ранее на дворе.

— Господи, господа, — повторяла тетя Сима, — как девку-то напугал. Сядь, Анечка, не плачь, не плачь. Он не нарочно, он тут отвык от человеческих-то обращений.

— Здесь отвыкнешь, — как бы оправдывая Сивкова, говорил майор, в самом деле оказавшийся женщиной. — Здесь и людей-то позабудешь . . . Что же мне с вами делать, а? До Подсобного-то знаете сколько? Пятнадцать километров. Только на тракторе. А трактора нет.

— Пойду пешком, — сказала тетя Сима. — Переночую и пойду. Я человек военный.

— Ладно, ты военная, а этой-то на что? — майор кивнула в сторону Ани. — Зачем ей-то мучиться?

Аня посмотрела на майора, на ее пухлое, мягкое лицо и вспомнила мать. Сивков сидел за столом, отвернувшись к окну, в черном стекле которого отражался оранжевый абажур канцелярской лампы.

На другой день, вечером, Аня поднялась на пятый этаж серого крупнопанельного дома, вошла в пустую квартиру, в которой прожила десять лет из семнадцати, с облегчением стащила тяжелые сапоги, бросила в угол узенькой прихожей ватник и включила в ванной воду. Затем прошла на кухню, отрезала от буханки ломоть черного хлеба, намазала маслом и прикрыла куском вареной колбасы. Ей хотелось молока, но молока в холодильнике не было. Откусив, она положила бутерброд на стол и пошла раздеваться. В квартире было тепло. Раздевшись, она посмотрела на себя в зеркало и обнаружила, что соскучилась по самой себе. Ей нравилось смотреть на себя. Правда, не все у нее, с ее точки зрения, было первый сорт. Груды, например, были чуть-чуть тяжеловаты — сказались гены матери, а шея — худа и тонка. Все остальное было ничего. Особенно ей нравился живот — длинный, плоский, без единой складочки.

Достав из шкафа полотенце, Аня взяла бутерброд и села в ванну, наполовину заполненную водой. Она ела бутерброд и смотрела, как обжигает горячая вода, бурля, постепенно подбирается к коленкам, и как кожа, соприкоснувшись с жаром, одновременно покрывается пупырышками и мелкими блестящими пузырьками. Съев бутерброд, она закрыла кран, вытянула ноги и медленно погрузилась в воду, оставив над поверхностью лишь лицо с поднятым подбородком. Ровное, спокойное дыхание плавно вздымало и опускало ее легкое тело, и только это говорило о том, что она жива. Она чувствовала, как на верхней губе и на переносице выступают капельки пота, хотелось стряхнуть их, стереть, но не было сил пошевелить рукой . . .

Аня закрыла глаза, но от этого не перестала видеть.

Перед ее внутренним взором опять потекли поля, кусты, перелески и бесконечные колеи разбитой дороги.

Обратный путь был столь же долгий и утомителен, хотя на этот раз не буксовали, не стреляли и не проливали кровь. Вел вагончик капитан. Сегодня он был разговорчивей и сказал Ане, что знаком с ее родителями. Зато Вася Швыркун молчал. Его правая рука разболелась: придется, видимо, пострадать у хирурга. Но молчал он, конечно, не от боли. Сначала, пока капитан не упомянул Аниных родителей, он не молчал. И на просьбу Отара поменяться местами ответил категорическим отказом, сославшись на то, что он все-таки водитель. «Все понял», — сказал Отар и пошел в свой фургон, где на этот раз он был совершенно один и мог сидеть хоть на конвойной скамейке, хоть за полуразломанной решеткой, хоть в железной одиночке. «Глупые», — подумала Аня, поняв, что вопрос соперничества между ними был решен так просто. Ей было приятно от мысли, что она могла легко перерешить этот вопрос по-своему. Могла, но . . .

Отар бы в кабине не молчал. Его бы не смутило знакомство капитана с ее родителями. Он бы даже воспользовался этим, чтобы расширить тему разговора. Вася же молчал, дышал, швыркал время от времени носом, и это его молчание, его короткие взгляды, его осторожная боязнь прижаться к Ане, когда машину наклоняло, — все это держало Аню в ожидании чего-то радостного.

И было бы все хорошо, просто прекрасно бы все было, если бы не было завтрашнего дня. Завтра утром Аня должна предстать перед строгими глазами полковника Петрова. Предстать и объяснить, почему она вернулась домой.

Вспомнив Петрова, Аня набрала побольше воздуха и перестала дышать. Вода, отбирая и усиливая отдельные звуки, донесла до ее ушей голоса соседей, живущих этажом ниже. Через минуту в ушах зазвенело и Аня поняла, что не сможет умереть просто так, лишь задержав дыхание. Вот если опустить голову поглубже . . .

В эту секунду она услышала шаги и металлический шорох ключа в дверном замке. Это папа. Па-па!

Аня с шумом выдохнула спертый воздух и стала дышать так часто, что закружилась голова. Папа! С ним не страшно!

Капитан Косых проснулся чуть раньше обычного и нажал на кнопку будильника, чтобы не трезвонил понапрасну. Можно еще полежать. За окном розовел кусок неба, и капитан, глянув на него, обрадовался: этот день, в отличие от вчерашнего, будет ясный, подмороженный, с колющим сухим воздухом — прекрасный день.

Из прихожей донеслись чуть слышные вкрадчивые шорохи — вернулась, отведя Петьку в детский сад, Ольга. Что-то рановато. Обычно она дожидалась, когда откроется продовольственный и возвращалась в восьмом часу. Капитан к этому времени уже брился. А сейчас еще без пятнадцати семь. Павлик, конечно, дрыхнет. Ему спешить некуда — он во вторую. Будет валяться до тех пор, пока мать, уходя на работу к одиннадцати, не столкнет с постели на пол. Никакой дисциплины. Капитан пытался действовать на него внушением, даже за ремень брался, но в душе считал все эти меры безрезультатными, потому что сам в детстве не соблюдал никакого режима.

Ольга тихо прошла на кухню, звякнула крышкой чайника, налила воды и зажгла газ. Потом вернулась в комнату и, стоя к мужу спиной, стала переодеваться в домашний халат. «Поползла, — отметил капитан, глядя на нее из-под опущенных век. — Все они, к сожалению, полнеют. Неправильное питание. Лыжи. Обязательно купим лыжи. И каждое воскресенье. Всей семьей».

— Как ты меня напугал! — неожиданно встретившись с ним взглядом, сказала Ольга и опустила руки. — Разве так можно?

Капитан рассмеялся и, резко откинув одеяло, сел, нащупывая ногами тапочки.

— Опять ты утащила?

— На! — Ольга сняла тапочки и подтолкнула к кровати.

— Я сегодня веселый, — сказал капитан и потянулся.
 — Вижу.
 — А отчего, знаешь?
 — Наверное, какую-нибудь бабенку во сне видел. Молодую и стройную.
 — Я не бабник.
 — Кто знает.
 — Все знают.
 — Кроме меня.
 — Перестань, — посерьезнел капитан. — Мне на днях майора кинут.
 — Да? — Ольга искренне обрадовалась. — Поздравляю.
 — Спасибо. Только...
 — Что?
 — Давай всю прибавку за звездочку откладывать. Как будто ее и нет.
 — Зачем?
 — Павлик о машине мечтает. Да и я, знаешь ли, люблю за рулем. Лет пять на «Запорожец» накопим. Спокойно. Представляешь? Грибы, ягоды — все наше.
 — А мне опять от полочки до полочки?
 — Да не так уж бедно мы живем. Библиотека подобрана. Можно ограничиться.
 — Вот это правильно.
 — Но лыжи мы купим. Для всех. Хорошие, с ботинками.
 — Лыжи? Зачем?
 — Это же здоровье. И... фигура. Как ты на это смотришь?
 — Ты уже все решил. — Ольга застегнула халат и ушла на кухню.
 Капитан надел тапочки, встал, поправил пижамные брюки, подошел к жене, обнял ее и поцеловал в мягкую теплую щеку.
 — Я с дочкой Сычевых познакомился. Хорошая девочка. Симпатичная. Может, пригласим их в гости?
 — Я тоже об этом подумала. Нехорошо тогда получилось. Я звонила Тамаре, вроде бы ничего, но все равно чувствуется: сердится.
 — Ну так пригласи.
 — Ладно, но ты будь терпимее к ним. Они неплохие люди. Даже очень неплохие.

Было около десяти, когда вагонзак остановился возле

Учреждения. По дороге капитан узнал от молодого водителя, что рука у Васи Швыркуна разболелась не на шутку. «Ему даже укол сделали», — добавил водитель. «Жалко парня, — подумал капитан, — а все из-за начгара». И спросил: «А у тебя передний мост работает?» — «А как же, — ответил парень, — машина-то новенькая».

Еще не открыв дверцу, капитан увидел Константина. Вид у него был такой, будто его только что приговорили к смертной казни. Увидев капитана, Константин бросился навстречу.

— Что случилось? — вместо приветствия спросил капитан.

— Они... Они... — Губы у Константина тряслись. — Скоты...

— Ну, ну, — капитан поймал руку Константина, но тот резко вырвал ее. — Успокойся. Говори...

— Они скрутили мне руки и...

— Кто?

— Они! — Константин оглянулся на зеленые двери Учреждения. — Они вытолкали меня вон.

— Почему? За что? — волнение Константина передалось капитану. — Как ты туда попал?

— Там Аня. Дочь. Иди туда, помоги ей. Спаси ее.

— От кого? Что ты говоришь?

— Сначала меня пустили с ней, но потом Петров заорал и меня выгнали.

— Успокойся. Я сейчас. — Капитан пошел к дверям.

— Спаси ее! — слышал он вслед. — Я пойду к прокурору. Да, к прокурору!

Капитану никогда не приходилось сталкиваться с Петровым, но о его характере он был наслышан. Говорили, что если он взбесится...

В коридоре, напротив кабинета Петрова, капитан увидел группу людей, склонившихся над чем-то. Капитан подошел и решительно отодвинул одну из женщин. На поставленных в ряд стульях лежала Аня с закрытыми глазами. Ее бледный высокий лоб пересекала вздувшаяся багровая полоса.

— Пепельницей, — шепотом сказала женщина. — Он кинул в нее пепельницу.

— Врача вызвали? — спросил капитан.

Женщины переглянулись.

— Что же вы? Зовите немедленно!

Капитан стал на колени и осторожно провел ладонью по щеке девушки. Веки ее дрогнули и приоткрылись.

ВАГОНЗАК

НОРМУНДС НАУМАНИС С НОВЫМ ГОДОМ, А ПЕЙЗАЖ— ВСЕ ТОТ ЖЕ*



II. КАК ГРОМКО ДОЗВОЛЕНО ЗВАТЬ?

Я принимаю и поддерживаю то, что силу Лачплесиса-88 не провозглашают как туповатое физическое достоинство, как унаследованные от матери-медведицы

* См. «Родник», 1989, № 1.

килограммы мускулов. Культуризм не к лицу этому герою рок-оперы, хотя он бы оказался весьма модным аксессуаром (многие потенциальные посетители спектаклей сомневаются и ужасаются — как осмелился этот похожий на мальчика ИГО сыграть ГЕРОЯ Латвии! И для них, потенциальных зрителей и слушателей, увы, существеннее всего оказался старый визуальный стереотип, соответствующий образу Разрывателя Мед-



ведей. Или же романтически-женственная тоска по чему-то возвышенному, большому и... слащавому?!

Убедительно прозвучало стремление создателей рок-оперы заставить нас понять, что именно сегодня актуален духовно развитый человек, сильный интеллект, ибо, в конце концов, ни к какой физической борьбе с Черными рыцарями мы же не готовы — и мало-вато нас, и... мечей приличных не хватает. И все же — финал рок-оперы авторы видят трагическим. И так, только СЛЫШАТЬ — этого еще мало (в смысле — чувствовать, понимать), когда речь идет о боли и проблемах отчизны... Похоже, что в энергии несказанных рок-оперой слов таится сакраментальный вопрос — ЧТО ДЕЛАТЬ с Латвией? КАК ей помочь?

Положение сложилось драматическое — «Латвия распянута, /Как разорванная жила», — констатирует спектакль, а в зале — вспышка протеста и патриотизма. И так, вот он, первый шаг, он сделан, и стоим мы — на перекрестке, как малые дети.

Ясно, что успех этого произведения определили условия времени — над Латвией засияло солнце надежды, нет, оно вошло в зенит! И мне кажется двусмысленной подозрительность тех людей, которые ищут в произведении М. Залите и З. Лиепиньша следы «прогрессивной конъюнктуры». Тогда уж на каждого, кто понимает ситуацию в своей стране и высказывает свое мнение о ней, придется вешать ярлык конъюнктурщика. Эту способность нащупать «горячую тему» я бы скорее назвал, особенно в отношении Мары Залите, навыком культур-политика, возможно, особенным талантом. А если не так, то всего «Лачплесиса» придется назвать угождением вкусам широкой публики: по-народному захватывающий сюжет, рок, почти все наши звезды! (Кто бросит камень?..)

Какой судья укажет нам, насколько громко можно назвать по имени Латвию?

III. ТОННЫ ЗВУКОВ И СВЕТА. ДУША И ПОТ...

Когда смотришь спектакль в Спортивном манеже, одновременно радуешься и грустишь. Радуешься, что наконец-то в прожорливую глотку шоу-бизнеса мы положили приличный кусок — с весьма достойным (а по нашим меркам — даже грандиозным!) светооборудованием и терпимым звукооборудованием*, с широким составом участников, одна организация которых для целых двадцати представлений (надо заметить, что команда «Лачплесиса» комплектовалась из, по меньшей мере, чертовой дюжины коллективов и достигала двухсот человек) — факт уникальный.

А грустишь, потому что в инсценировке и хореографии были кое-какие «провалы», и из-за них «Лачплесис» прихрамывал, и они даже угрожали спихнуть спектакль в провинциальный пруд «наивного» театра. (И это временами случалось...)

Не думаю, что тут место для горестных вздохов на тему «первый блин комом». Ибо не ошибается лишь тот, кто ничего не делает; хватило бы только денег и материала для развития жанра рок-оперы в Латвии, чтобы «Лачплесис» не оказался таким одиноким «модернизированным монументом» юбилея Андреяса Пумпурса. И чтобы Лиепиньш не оказался у нас единственным основоположником и отцом жанра рок-оперы. (Так считать было неверно, ведь «Лачплесису» несколько лет назад предшествовала рок-опера Имантса Калныньша «Эй, вы там!»).

* Художник по свету — Айварс Жейкарс, Гинтс Гукс и др.

** Звукорежиссура (Эдмунд Зазерскис, Юрис Морицс и др.) в таких мероприятиях — проблема номер один, если учесть, какие сложности возникают, когда работают в одной связке импортная аппаратура с нашим «звукооборудованием»!

С другой стороны — дело сделано, вещь уже живет своей, независимой от воли авторов, самостоятельной жизнью. И нужно быть готовым к любым отзывам — от сентиментальных восторгов по поводу Муктупавелса или Иго до воплей рутинеров, поднаторевших в практике мировой рок-оперы: а латышский король-то голый!

В конце концов, остается еще оценка Времени — и того, что вынесло на вершине своей волны «Лачплесиса», и того, что еще придет. А время, как известно, аргумент безжалостный, но справедливый. В свою очередь, никто из нас не застрахован от счастья и страданий Моцарта или Сальери. В сильных объятиях времени.

Следуя профессиональной этике, я не буду рассуждать о тончайших музыкальных нюансах (я не специалист-музыковед), но не могу удержаться, чтобы не заметить, — некоторые музыкальные темы эмоционально отзываются во мне по сей день (сольные номера Иго, Зигфрида Муктупавелса и Яниса Спрогиса, дуэт Иго и Спрогиса, разговор в первой части Кангарса — Имантса Ванзовича и троих чертей, голос Мирдзы Зивере). Также я не считаю Зигмарса Лиепиньша плагиатором, поскольку отголоски мотивов «Jesus Christ Superstar», Стинга и латышских народных песен, прозвучавшие в «Лачплесисе», совсем не свидетельствуют о плохом музыкальном вкусе. Меня эти впечатления еще раз убедили в том, что своеобразный, свойственный поп-культуре конца XX века эклектизм есть принцип стиля, а цитирование — одно из его выразительных средств, органическая составная полиструктурных жанров. (Здесь можно бы добавить, что лучше уж, не повторяясь, цитировать самого себя. Но по сути своей, принцип — это лишь орудие, важен результат, и это в мире музыки доказано еще бог весть когда. А о результате я сужу с не очень высокой «точки зрения» простого слушателя. И это же не мешает мне слушать «Pet Shop Boys» и «Communards», а любить Кинга Кримсона или Зару Леандр?)

Возможно, иной музыковед предложит другую кандидатуру на роль Лачплесиса. Я согласен с выбором Лиепиньша. И, наряду с вокальными данными Иго, для меня важно, какова внутренняя величина этого человека как личности, вписавшейся в наш культурный пейзаж, придающая значимость и сегодняшнему варианту Лачплесиса. Я имею в виду, что до сих пор Иго в своем сценическом образе (и, надеюсь, в жизни тоже) не культивировал зла, отрицательных эмоций. Он был, если можно так выразиться, узнаваемым и демократичным типом молодого человека, своим парнем из «ком-

мунального блюза». Такой image мне кажется прямым попаданием, внушающим надежду, что способность слышать отчизну — не только привилегия специально избранных голубоглазых культуристов. Такой выбор актера и певца для исполнения главной роли гуманизирует идею Героя нашего времени как таковую. Это симпатично и обнадеживает.

Нельзя отрицать, что Иго выполняет свои обязанности на сцене с колоссальной самоотдачей и серьезностью. Звучит патетически, но верно: «Тебе простится, если не успел, но не простится, если не хотел». Ибсен, «Бранд». Так ведь оно и есть.

Но, к сожалению, Лачплесис в одиночестве. Его не устраивают вписанные в либретто и музыку персонажи — ни как «куклы в игре», ни как вежливые собеседники: возможности диалога с другом-предателем Кангарсом наш герой почти полностью лишен, и из рок-оперы исчезает существенная возможность выяснить, откуда взялось зло. Не убедительно также предположение, что Кангарс, как отрицательный персонаж, выступающий по знаком минус, все же надеется, что служит на благо отечества, только иными средствами. Эта мысль, скорее догадка, интересна, но она не вытекает из содержания либретто. На самом деле нам приходится считаться с заранее известной «хоккейной командой», когда у каждого игрока свое место и известно заранее, за что его ждут штрафные очки. Кажется, важнее всего для Мары Залите было доказать, что сюжет настолько вечен, что теперь самое время пустить его в ход.

Да, меня интересует главный герой — в той мере, в какой Лачплесис мог бы определять ситуацию. Но все же в либретто он ничего не делает, только старается хорошо выглядеть и говорить поэтично. Он и слышит тоже, но эту способность, как политически неполноценную, Лачплесису «приписала» автор либретто. Это важно, но этого недостаточно. (Финал!)

Обратите внимание — Силы тьмы куда больше возьтятся с Кангарсом, этим братцем, готовым в своей аморфной сексуальности отдаться всякому, кто предложит



больше — ну, хотя бы денег или наслаждений. Мне кажутся значительными «дуэтные партии» Имантса Ванзовича и Виестурса Янсонса, напоминающие вечную картину совращения — на сей раз враг в красном соблазняет неустойчивого представителя латышского народа. Выразительность мизансцен в этом дуэте близка к совершенству, остается лишь удивляться мастерству обоих актеров — уже Лукино Висконти сказал, что социальное зло совращает сильнее всего — и привел в пример свой знаменитый «Гибель богов», фильм, в котором режиссер признает, что сладко вкушать плод фашизма. То же и в «Лачплесисе» — бродит по свету красный призрак, готовый поймать в объятия всякого, кто не готов оказать сопротивления. И это настолько похоже на процессы, долго происходившие в нашем обществе! Ведь многие были готовы поверить в ту модель «казарменного социализма», которую хотела нам подсунуть, как прогрессивную мечту всего человечества, правящая клика. Ах, ничего, что это оказалось «малость преступная компания», это уже не важно.

Рок-опера «Лачплесис» напоминает — люди, будьте бдительны, соблазнитель близости и его приманки так же чувственны, как сорок девять лет назад — подлинный интернационализм, равенство, свобода, Fraternité, Liberté и т. д. А этот Кангарс (по-моему, одно из самых крупных достижений латышского театра прошлого года — именно Кангарс, блестяще и элегантно сыгранный Имантсом Ванзовичем) готов не только продать за трешку друга детства, он ради своего благополучия сплетет перед органами безопасности любую необходимую им интригу — начиная с постели друга и кончая коллективным подсознанием народа, его устремлениями. «Смерть предателям!» — кричит рок-опера и предупреждает, что предатели до сих пор числятся «национальными героями» латышского народа. Пока «на перекрестке малое дитя . . . »

Жаль, конечно, что Лачплесис не может в рамках рок-оперы, хотя бы на уровне разговора, посчитаться со своим другом — это не предусмотрено либретто. Ибо в либретто, видите ли, просто констатируется, что ВЕЧНО ЕСТЬ добрые и злые силы. (Вспомним, например, съезд Интерфронта.)

Слава Богу, что статично хороший Лачплесис не призывает консолидироваться на уровне абстракций — по принципу «ты меня уважаешь? . . . Я тебя тоже . . . »

На уровне идей «Лачплесис» оперирует до симпатичности понятными вещами — и в смысле, и в декоративном отношении. Можно только подивиться тому, с какой настырностью хореографы Улдис Штейнс и Юрис Капралис предлагают Латвию в прекрасных линиях своего силуэта. «Слишком хорошо — это тоже плохо» — но это, похоже, создателей спектакля уже не интересует. Ведь не пришло еще время, когда «Боже, благослави Латвию» будут петь каждые полчаса, то по радио, то по ТВ, а то и каждый — в тишине своей малогабаритной квартиры, в сопровождении бутылки с водкой (а что еще делать в это время национального отчаяния?). «Спою я о тебе, земля отцов . . . ».

Я не уверен, что теперь нужно так много декоративной Латвии. И у разукрашенного танцовщиками контура Латвии тоже есть свои пределы, для меня они кончились в рок-опере, когда я в четвертый раз увидел одни и те же вариации одного и того же силуэта. Поразительно мастерство, с которым построен пол сцены, и все же нужно напомнить, что в контексте всего спектакля Латвий действительно было многовато — особенно думаешь об этом, когда гаснут лампочки, которые лишней раз напоминали — далеко еще тебе, Лачплесис, идти. Силуэт Латвии, или ее контур в плохом техническом исполнении, нарушает качественность идеи: следует вспомнить, что в знаменитых документальных фильмах «Расширение мира» и «Созвездие стрелков» используется знак — Латвия из огоньков свеч или из звезд, и это, своего рода, фирменный знак. Между прочим, мысль, что Лачплесису суждено вечно стремиться к своей Латвии, сама по себе важна (это следовало бы не упускать из виду каждому из нас), но когда в спектакле эта мысль материализуется в конкретной мизансцене (Иго стремится к контуру Латвии из лампочек), возникает неясность — разве борьба с красно-черными протекала на какой-то абстрактной территории, а не здесь и сейчас? Знаки, которые мы расставляем на своем пути, предназначены для того, чтобы нас нашли, а не наоборот — не так ли?

Латвия — яма и Латвия — мечта (дырка в полу и мерцание лампочек) — это довольно определенная сценографическая конструкция. Но не совсем ясно, кто и в какие минуты бродит по нашей земле, кто и в каких ситуациях выползает или гордо вырастает из Латвийской «дыры» — кажется, здесь сценограф Гунарс Земгалс и режиссер Валдис Луриньш не поделили сферы влияния. Если такой несомненный знак (не обойтись без этого слова) предлагается зрителю, то надо отвечать за его осмысленное использование. Иначе в памяти останется только миг аплодисментов, когда на эту яму, как на могилу, стелят красный плащ и кладут охапки цветов. Не слишком ли грустно?

Каждый миг спектакля предлагает визуальные ассоциации, и мне хочется найти для них рациональное, а не только эмоциональное употребление. Ибо — жест рождает отношение, и хочется, чтобы оно работало на пользу «Лачплесису». Именно длительность этих «жестов» определит век спектакля — не будем наивными и не станем считать только с «данным моментом», когда любое упоминание об Отчизне уже гарантирует слезы и восторг . . . , и успех.

(До встречи!)





Коллектив «Сцены». 1935.

ЯНИС БАЛТАУСС СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Возможно, самая трагическая и своеобразная страница в истории латышского театра — это судьба Государственного латышского театра «Скатуве» («Сцена») в Москве. Его студия была основана в 1919 году, коллектив погиб в 1938 году, на перекрестках политической ситуации и человеческих судеб того времени. Театр верил, театр самоотверженно трудился, и вот что было создано — 88 постановок, не считая импровизаций и отдельных сцен из пьес, а также множества концертных программ для сельского зрителя. Шесть раз театр выезжал на гастроли — в Ленинградский округ, Белоруссию, Башкирию, Восточную и Западную Сибирь.

В первые годы после Великой Октябрьской революции в Москве жило 35—40 тысяч латышей. Благодаря усилиям бывшего актера и директора Рижского «Нового театра» Теодорса Амтманиса в 1918 году был организован Московский театр латышских рабочих. Уже после первого сезона он раскололся на три группировки. Из первой возник под руководством Т. Амтманиса «Агиттеатр», из второй — Московский государственный латышский драматический театр, из третьей — театр-студия «Скатуве». Недолго играли на московских сценах известные латышские актрисы — Т. Банга, Б. Скуенице, П. Балтабола... В таких условиях совершенно естественным было желание молодого поколения организовать новый латышский театр — с монолитным творческим коллективом, с единым пониманием законов театрального искусства, с единым методом художественного творчества. Путь к такому театру — учебная студия. Одним из вдохновителей студии «Скатуве», придумавшим ей название, был Евгений Вахтангов. Долгие годы главным двигателем «Скатуве» был энтузиазм молодежи. В отличие от Московского театра латышских рабочих, до того дня, когда ему был присвоен «титул» Государственного, коллектив «Скатуве» работал без денежного вознаграждения. Что касается помещения, то для репетиций своими силами переоборудовали квартиру. Впоследствии коллектив работал на сцене Московского центрального латышского коммунистического клуба со смешанным хором, струнным оркестром и т. д. Весной 1920 года в студии занимались двадцать человек. О том, какое в те годы царило настроение, вспоминает одна из ведущих актрис театра Элиза Мишке в вышедшей в 1963 году книге «Государственный латышский театр «Скатуве»: «Нам, оставшимся, хотелось поскорее заполнить ту пустоту, что образовалась после ликвидации Московского театра латышских рабочих в латышской театральной жизни (имеется в виду московская — Я. Б.)».

В первые пятнадцать лет в студии работало более семидесяти педагогов. Основой воспитания актера была система Станиславского. Этот выбор определила ориентация студийцев на театр Вахтангова (студией руководил тогдашний директор театра Освалдс Глазниекс) и на Московский художественный академический театр — отсюда, в большинстве своем, были и педагоги. Для студийцев главными были ритм, пластическая гимнастика, сценическая речь, техника дыхания, грим, актерское мастерство, социология и история театра. Особое внимание уделялось методике актерской игры. Постановкой голоса занимался Борис Щукин, спецкурс о Райнисе читал Паулс Дауге, общественные науки преподавали Карлис Печакс и Робертс Апинис. Не жалел для студии ни времени, ни фантазии Освалдс Глазниекс. «Этюды мы иногда играли, — пишет Элиза Мишке, — используя все помещение, а Глазниекс, как координатор наших действий, находился в центре. Проверяя наше внимание и находчивость, Глазниекс постоянно устраивал нам разные сюрпризы. В ходе работы он менял кое-кому из нас задания так, что прочие об этом не знали, и только по поведению, взглядам, речи могли расшифровать подлинное лицо играющих». Результат первого года работы студии — пять небольших постановок, с которыми и вышли к зрителю в первый день 1921 года участники студии «Скатуве» — Латышского драматического техникума. Остался за спиной 1920 год — вероятно, один из самых противоречивых периодов в новейшей истории латышского народа.

Десять лет спустя в Москве вышла брошюра «Олимпиада театров и искусства народов СССР». Вот что было в ней напечатано: «... есть основание считать ее («Скатуве» — Я. Б.) в будущем ядром пролетарского театра Латвии. Во всяком случае, деятельность «Скатуве» не может не оставить следа в истории латышского театра». Этой перспективе помешало планомерное уничтожение практически всего коллектива театра. И в истории советского латышского театра это до сих пор самая прозрачная страница. Да, творчество «Скатуве» напрямую не влилось в культурный оборот современного латышского театра, но последний спектакль этой труппы завершился словами: «До встречи в Советской Латвии!» Прочная связь с латышской культурой очевидна, если хотя бы познакомиться с репертуаром театра и количеством постановок. Спектакль «Вей, ветерок!» прошел 84 раза (чаще всего игралась пьеса Р. Апиниса и К. Йокумса «Авантюра» — 87 раз). Почти четверть репертуара «Скатуве» составляет драматургия Райниса, Блауманиса, Андрейса Упитса,



Сцена из пьесы «Перелом» (Lūzums).



Мастерская «Сцены». 1932.



Культпоход 1934 года.



Робертс Апинис с актрисами, занятыми в постановке пьесы «Авантюра». 1935.



Я. Балтаус — Улдис «Вей, ветерок!».



«Вей, ветерок!»

Фото из семейного архива Балтаусов.

Лайценса и Паэгле. Журнал «Атпута» публикует в 1927 году фоторепортаж об этом театре. Разумеется, и с одной, и с другой стороны немало было опасных и тенденциозных высказываний. Газета «Jaunākās ziņas» («Последние новости») в 1929 году писала: «Латыши в России во многом схожи с русскими эмигрантами во Франции, Германии и Чехословакии. Они тоже эмигранты, и в отношении культуры им придется испытать общую судьбу всех эмигрантов». Московский латышский журнал «Celtne» («Стройка») устами своего редактора Паулса Вискне в 1929 году возражает: «Раз и навсегда мы ответим этим писакам, что та земля, на которой мы стоим, наша земля». Возможно, это совпадение, но, полстолетия спустя после этих споров, известный журнал «Наука и жизнь», комментируя снимок бывшего здания «Скатуве», пишет: «Здание театра латышских эмигрантов». В период до и во время застоя о «Скатуве» в латышской печати упоминалось лишь в связи с артистами коллектива. Нескольким раз появлялись в «Советской Латвии» фрагменты воспоминаний, отклоненных редакцией «Цинни». Может, и это лишь совпадение. И все же — не чужие ли среди своих?

Вернемся к 1920 году. С точки зрения сегодняшнего дня — то есть, зная трагическую судьбу театра, — важнее всего кажется ответить на вопросы: почему так много латышей осталось жить, как доказал горький опыт, на чужбине? Не будучи историком, я не берусь анализировать ситуацию. Пусть говорят документы. 11 августа 1920 года Советская Россия после нескольких настоячивых попыток заключила мирный договор с Латвийской республикой. Со стороны РСФСР его подписали Адольф Абрамович Иоффе (позднее — посол СССР в Латвии) и Яков Станиславович Ханецкий. В то время Красные Латышские стрелки еще проливали кровь на Украине. Т. Драудиньш в книге «Боевой путь латышских стрелков» пишет: «В боях под Каховкой Красная Армия понесла большие потери. И велики были потери Латышской дивизии, особенно среди командиров... Так, 12 августа 1920 года (подчеркнуто мной — Я. Б.) под Черненко-Тарнами полк белогвардейской кавалерии окружил 4-й латышский полк, в котором сражались 436 стрелков. Начался свирепый, безжалостный бой... Около 120—150 стрелков сдались в плен. Белогвардейцы отделили 84 латышей, загнали их в какой-то хлев и после долгих пыток расстреляли из пулеметов». Доктор тем временем ждал ратификации. Вот несколько фрагментов. «Статья II. Исходя из провозглашенного Российским Социалистической Федеративной Советской Республикой права всех народов на свободное самоопределение вплоть до полного отделения от государства, в состав которого они входят, и ввиду определенно выраженной воли латышского народа к самостоятельному государственному существованию — Россия признает безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенность Латвийского государства и отказывается добровольно и на вечные времена от великих суверенных прав, кои принадлежали России... Из прежней принадлежности к России для латвийского народа и земли не возникает никаких обязательств в отношении к России».

«Статья IV. Существующие ныне в Российской армии наименования отдельных войсковых частей, входящих в состав «Латышской Стрелковой Дивизии», признаются обеими сторонами только имеющими историческое значение. Эти части не имеют, и не будут иметь преобладающего национального латышского состава и, несмотря на свои наименования, не могут иметь отношения ни к латышскому народу, ни к Латвийскому государству».

Уточним. После кровавых боев с Деникиным и Врангелем Латышская дивизия действительно утратила свой национальный характер. Осенью 1920 года в ней насчитывалось 16 333 человека, из них 6278 латышей. Но вернемся к договору. «Поэтому сохранение за ними их исторических наименований не будет рассматриваться Латвией как нарушение сего пункта».

Невзирая на это, в декабре 1920 года Латышская советская стрелковая дивизия была расформирована. Это повторилось и в 1945 году — сразу же, как отпала необходимость в кровопролитии. Странное совпадение, не правда ли? Цитирую договор. «... все лица, достигшие 18-летнего возраста и проживающие на территории Латвии, в праве в течение одного года со дня ратификации сего договора заявить о своем желании выйти из гражданства Латвийского и оптировать гражданство Российское, причём их гражданству следуют дети...»

... Равным образом лица, являющиеся Российскими гражданами в течение того же срока и на тех же условиях могут оптировать Латвийское гражданство».

«Лица, ко дню ратификации сего договора проживающие в пределах Латвии, равно и беженцы, проживающие в России, кои сами или их родители были до 1-го августа 1914 года прописаны на территории, составляющей ныне Латвийское государство, признаются гражданами Латвии».

«Статья XV. В счет имеющих быть возвращенными Латвии цен-

ностей Россия уплачивает Латвии авансом в четыре миллиона рублей золотом».

«Статья XX. После ратификации сего договора Российское Правительство освобождает Латвийских граждан, а Латвийское Правительство — Российских граждан, как военного, так и гражданского сословия, от наказания по всем политическим и дисциплинарным делам. Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния после подписания сего договора».

О чем в день подписания этого договора думало руководство латышских стрелков? Ответ на этот вопрос — среди многих других векселей наших историков. Среди опубликованных материалов самый авторитетный и лаконичный, на мой взгляд, принадлежит перу Юкумса Вацетиса, — это написанное 10 июня 1922 года послесловие к двухтомнику «Историческое значение латышских стрелков»: «... Латышский народ стал популярен во всем мире, как среди союзников, так и среди врагов, и завоевал симпатии всех народов... С того времени в латышском трудовом народе укрепилась надежда на лучшее будущее, ибо он был убежден, что героическое новое поколение (стрелки — Я. Б.) больше не выпустит оружия из рук...». Это — единственное многоточие во всем сдержанном по тону послесловии. Многозначительное многоточие. Она напоминает, что в миг, когда писались эти строки, оружие уже было в других руках, а латышский трудовой народ, как проповедовали газеты, задышался под ярмом капиталистов. Далее Ю. Вацетис подводит итог: «В Красной России латышские стрелки выполнили те задачи, которые перед ними, как добровольцами, поставила история. Я видел две такие задачи. Во-первых, после разгрома Германии в мировой войне — **занять Латвию**, и во-вторых — **помочь укрепить Советскую власть в Латвии России**, потому что она признала полную самостоятельность маленького народа» (подчеркнуто мной — Я. Б.). Это отступление не случайно. Оно заставляет еще раз подумать о стрелках как о величайшей гордости латышского народа, и вместе с тем — как о горчайшем его опыте. Это относится и к театру «Скатуве», в котором работали четверо красных стрелков и семеро участников гражданской войны. Возвращению латышей на родину в начале двадцатых годов помешало многое. В области политики — условия партийной дисциплины (даже в «Скатуве» количество членов партии было внушительным, конкретно в 1930 году — 12 из 38), а также то, что текст договора не был опубликован в печати — и это свидетельствует, что уже в первые годы существования советской власти гласность не очень-то была в моде. Яркую и драматическую роль в дальнейшей судьбах этих людей сыграл и популярный тогда лозунг о всемирной социалистической революции, а также агитация местных парторганизаций за то, чтобы латыши остались в Советской России. Во-вторых, на выбор повлияли совершенно практические соображения — такие, как отсутствие родственников и проблема с местожительством в Латвии.

Культурной жизни латышей в СССР на рубеже 20-х и 30-х годов присущ одновременно и огромный размах, и какая-то бесконечная разбросанность, ибо единство может проявиться только в локальном масштабе. В 1931 году в вузах СССР учатся 2000 латышей. За пятнадцать лет в «Латышском педтехникуме» получили образование 200 учителей, на «Латышском рабфаке» — 400 рабочих и крестьян, продолживших учебу в вузах. В 1930 году в Ачинске начал работать Латгальский педагогический техникум. В начале тридцатых годов у латышей было в СССР 12 средних школ с семилетним курсом обучения и одна десятилетка, 137 начальных школ и около десяти вечерних школ и курсов.

В таких, благоприятных для развития национальной культуры, условиях «Скатуве» превращается в профессиональный театр. 16 сентября 1931 года газета «Kopināgi Cīņa» («Борьба коммунаров») писала: «В августе этого года президиумом совета национальных театров было принято решение включить латышский театр-студию «Скатуве» в сеть театров совета, вместе с тем переводя часть коллектива театра, уже теперь переведя, на профессиональную работу, с соответствующей материальной базой и трудовым планом». Театр был открыт 15 июня 1932 года в зале Московского латышского клуба им. П. Стучки, который стал пристанищем театра до его последних дней. В первой половине тридцатых годов «Скатуве», невзирая на огромные трудности, переживает период подъема. Ставятся лучшие спектакли театра: из латышской драматургии это — заново поставленная пьеса Райниса «Вей, ветерок!» (впервые — в студии в 1925 году), пьеса живущих в СССР латышей К. Юкумса и Р. Апиниса «Авантюра», Р. Эйдеманиса «Волки» и Симаниса Бергиса «Косари», из русской драматургии — драма Билль-Белоцерковского «Жизнь зовет» и комедия Н. Погодина «После бала», из зарубежной драматургии — трагедия Ф. Вольфа «Крестьянин Бец». Самоотверженно трудятся артисты «Скатуве». 10 марта 1933 года «Kopināgi Cīņa» сообщает: «27 февраля. На смотре-конференции национальных театров Москвы Государственный латышский театр «Скатуве» показал «Вей, ветерок!» Райниса. За выпол-

нение производственно-финансового плана, политическую активность и высокий художественный уровень Государственному латышскому театру «Скатуве» присуждено переходящее Красное знамя». 11 марта 1935 года «Скатуве» отмечает свое пятнадцатилетие. В праздновании принимают участие представители всех московских театров. От имени живущих в Москве латышей выступает бывший командир латышских стрелков Кирилл Стуцка — председатель комиссии по истории латышских стрелков, писатель Судрабу Эджус и сотрудники издательства «Прометей». Три человека из коллектива «Скатуве» получают звание заслуженных артистов республики, художественный руководитель театра становится заслуженным деятелем искусств республики. Вот что написано об этом событии в брошюре «Государственный латышский театр», выпущенной в 1935 году издательством «Прометей»: «Право зваться заслуженными артистами республики получили директор театра — актер, режиссер и художник Р. Банцанс, лучший актер театра Янис Балтаусс, актер-режиссер Адолфс Ванадиньш. А художественному руководителю театра — заслуженному артисту республики Осв. Глазницеку ВЦИК присвоила звание заслуженного деятеля искусств».

За семнадцать лет работы в «Скатуве» было поставлено 88 спектаклей. Из них — 38 многоактных пьес. Среди авторов: француз, бельгиец, ирландец и венгр, поставлены шесть пьес немецких авторов, 15 — русских и 41 — латышских. Из деятелей латышской культуры, живущих в СССР, репертуар театра формируют Конрадс Йокумс (пять пьес), и Робертс Эйдеманис (три пьесы), и Робертс Апинис (соавтор пьесы «Авантюра» и один из педагогов студии). Но связи московских писателей-латышей с театром нерегулярны и не очень плодотворны. 10 июня 1934 года Адолфс Ванадиньш так пишет об этом в газете «Komiņāru Strais»: «Пока у нас еще нет своей национальной драматургии (?? — Я. Б.). Чтобы написать хорошую пьесу, необходимо знать законы сцены, необходимо сотрудничать с театром. Если писатель изолирован от театра — он для нас хорошей пьесы не напишет... Театральных критиков у нас тоже нет». А вообще об отрыве московских латышской культуры от «Скатуве» уже в апреле 1930 года писал в журнале «Selfne» Алвилс Цеплис: «За недостаток национального репертуара «Скатуве» с полным правом упрекают наших пролетарских писателей, которые до сих пор не создали ни одного произведения, способного на долгую жизнь». Правда, то же самое можно сказать и о самом Цеплисе. Вот что в этой связи двумя годами позже пишет в той же «Selfne» директор театра Робертс Банцанс: «Вместе с началом работы пришлось и начать войну за свой метод — против старых театральных специалистов. Латышские писатели и театр (в Советской России — Я. Б.) начали целую кампанию против студии. Одной из причин стало то, что мы не смогли взять в основу своей работы литературную продукцию латышских советских писателей своего времени. Но эта вынужденная изоляция породила скверные тенденции и в самом коллективе. Мы стали зазнаваться — гордились своей творческой монолитностью, собой как творцами нового театра... мы многим пожертвовали ради своего начинания, но оказались в изоляции. Еще и теперь у нас хватает и выносивости, и коллективизма, но связи с обществом слабоваты». Пытаясь избавиться от этой принудительной «автономии», «Скатуве» дважды проводит конкурсы драматургии. К сожалению, в результате жюри получает немало брака, и ни одна из присланных пьес не попадает в число лучших постановок театра.

Самой действенной, хотя одновременно самой трудоемкой и тяжелой акцией театра по укреплению связей с прочими латышами, живущими в СССР, определенно следует считать культурные рейды. Это не просто гастроли — в них театральная труппа соединила просветительную миссию с контролем культурной жизни. Такие «культурные походы» были вызваны необходимостью — 10 000 живущих в Москве латышей, хорошо владея русским языком, посещали ведущие театры, а в «Скатуве» шли только на хорошие спектакли. Благодаря этим рейдам, «Скатуве» из московского латышского театра превращается во всеоюзный латышский театр. Стоит отметить, что уважение к своему искусству труппа старалась внушить не утонченным обхождением, а отличной ударной работой на местах, не отказываясь от самых неблагодарных заданий. Артисты «Скатуве» называли себя ударниками политический и культурно-массовой работы. Так они и трудились. Чтение лекций по вопросам политики, выпуск стенгазет, поделился на группы и отправился знакомиться с хозяйством, бригадами и работой избы-читальни. В обеденный перерыв — концерты в бригадах. Обсуждение дальнейших заданий и трудовой дисциплины. Актеров в бригаде угощают молоком. «Ребята, пейте, но не увлекайтесь! — подшучивает Балтаусс (руководитель всего культурного рейда — Я. Б.). — Вечером — спектакль». «Огромный сарай не в силах вместить всех, приходится выломать кусок стены. Люди пришли из всех окрестных коллективов... В последний день — спектакль в самой отдаленной бригаде. После двухчасового похода мы у цели. Опять сарай, но с цер-

ковными скамейками, настоящий театральный зал. Но Балтаусс беспокоится: «Почему в сарае? А в церкви нельзя?». «Да, почему бы не в церкви, разве там еще продолжают дурачить людей?» — спрашивает кто-то из актеров. «Да вот уж года три стоит пустая, осенью туда картошку сваливаем... Там дня два придется поработать, пока в порядок приведем» — пытается отговорить актеров председатель колхоза. «Сегодня же вечером мы превратим ее в колхозный клуб» — строго говорит актер Цирулис. «Ничего не выйдет, — утверждает Цеплис. — Никто не пойдет в церковь смотреть театр». Через несколько минут окна и двери в церкви выставлены. Четыре часа спустя клуб готов. Теперь ждем публику. Неужели действительно никто не придет? Но что за чудо — кто ни подойдет, входит вовнутрь, только несколько старухе ссыпаются у дороги». За время третьего культурного рейда артисты «Скатуве» побывали в Новгороде, Пскове, Великих Луках, Минске (будучи в Минске, Райнис оставляет там письмо для передачи коллективу «Скатуве»), Слуцке, Витебске — в пятнадцати городах. Самым внушительным по протяженности маршрута и времени стал второй рейд (1933). За 113 дней театр проехал по маршруту Уфа — Омск — Тара — Абакан — Красноярск — Ключевная. О поездке «Скатуве» писала 18 декабря 1933 года газета «Komiņāru Strais»: «63 дня ушло на непосредственную работу, 50 дней — на дорогу, проехали 11 000 километров по железной дороге, 640 — кораблем, 687 — на лошадах, 447 — прошли пешком... Показаны следующие спектакли: «Разрыв» Лавренива — 21 раз, «Вей, ветерок!» Райниса — 10 раз, «Три вдовы» (по Улитсу) — 16 раз... Всего — 87 спектаклей. Их посетило 25 000 зрителей». Соответствующие данные по второму первому поездкам «Скатуве» таковы: 18 300 километров, из них 715 — пешком, 198 спектаклей, 53 200 зрителей.

Биографии энтузиастов из «Скатуве» полны самых неожиданных поворотов. Они сродни судьбам большей части латышского народа в первой трети века. Вот некоторые из них. Художественный руководитель театра Освалд Глазницек. Житель Курземе, сын столяра. С семнадцати лет работает в Петербурге и в Москве конторщиком, свободное время посвящает драмкружку петербургского Латышского театрального общества (1911 — 1916). В 1918 году поступает в драматическую студию Мамонова, которая позднее сливается со студией Вахтангова. Становится одним из самых выдающихся воспитанников Вахтангова и восемь лет после его смерти (1924—1932) является директором театра имени Вахтангова. В «Скатуве» поставил едва ли не все самые значительные постановки. В 1941 году, поехав к матери в Подмосковье, оказался на оккупированной территории. Пешком дошел до Латвии. Раскрытый гитлеровцами, принял приглашение работать в театре. Поставил антифашистскую пьесу Гауптмана «До захода солнца». После войны попал в лагерь и там, осужденный по делу «Скатуве», организовал театр... Погиб в лагере 16 марта 1947 года, в возрасте 55 лет... Ведущий актер театра Янис Балтаусс. Сын сапожника из Вецпиебалги. Учился ремеслу каменотеса, сапожника, сельскохозяйственного рабочего. Как сам над собой подшучивал, девять ремесел, а десятый — голод. Добровольцем пошел на военную службу в 1916 году. Три месяца прослужил в полку сибирских стрелков, потом — в Тукумском латышском стрелковом полку. В 1917 году в Валке охранял железную дорогу, не давая контрреволюционерам дойти до Петрограда. После разгрома Колчака работал в драмсекции Омского коммунистического клуба, а потом — в Омском Латышском агиттеатре. В 1921 году театр был ликвидирован, и он перешел в агиттеатр Т. Амтманиса, а в 1923 году — в «Скатуве». Учас в студии, он еще десять лет параллельно работал сапожником. В театре сыграл 56 ролей. Конрадс Йокумс как-то пошутил: «Может быть, эти терпение и настойчивость пришли к нему, когда он гвоздик за гвоздиком забивал в подошву». 5 декабря 1937 года ему было сорок три... Директор театра Робертс Банцанс. Сын батрака из Илуксте. С 1910 по 1923 год работал на заводах Елгавы, Риги, Мариуполя, Москвы. Какое-то время учился в Риге скульптуре. С 1923 года работал режиссером научных культурфильмов, руководил отделом культурфильмов студии «Союзкино». Позднее занимался изобретательской деятельностью в области телевидения и телефильмов. До 1935 года руководил научно-исследовательской лабораторией телемультифильмов Наркомата связи, изобрел и запатентовал аппарат радио «Этескоп». Вклад в работу «Скатуве» — 34 роли, декорации к нескольким пьесам. Работал и в драматургии. Получил премию в 1928 году за проект эмблемы профсоюза, а в 1930 году — знамя на конкурсе ВЦИКа. В 1937 году ему было 46 лет...

«Слишком мало, / Чтобы отпустить одного / В широкий мир» — сказала Мара Залите.

Нас слишком мало, чтобы мы могли позволить себе отказаться от той части нашего народа, у кого не осталось и надгробий...

Перевела **ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ**

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН



РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ КЛИШЕ» СОЮЗА ИТАЛЬЯНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

ЦЮРИХ, 31 МАЯ 1974 ГОДА

Ознакомясь с принципами, согласно которым ваша премия присуждается Союзом итальянских журналистов уже 11-й год и вот сегодня мне, я, разумеется, не только выражаю вам благодарность, но не свободен и от чувства гордости, видя столь достойных и мужественных людей в числе моих предшественников, в том числе — совокупно всю пражскую молодежь 1968 года.

Те, кто передают сегодня эту премию, и тот, кто ее сегодня получает, прожили свою жизнь как будто в разных половинах планеты, разных мирах, разных системах, о которых говорят, что они разделены пропастью, во всем противоположны и исключают друг друга. Однако, если бы это было так, то не нашлось бы между нами единых ценностей, которые подали бы вам мысль присудить мне эту премию. А если такие ценности нашлись, то, быть может, мы можем выработать и общий взгляд на происходящее в сегодняшнем мире и даже открыть друг во друге сходное направление наших чаяний и усилий.

Примитивное разделение мира на две системы является суждением **политическим**, значит, весьма посредственного уровня. Все вообще политические приемы есть операции с готовыми нравственными (или безнравственными) данностями, лежат на невысоком уровне человеческого сознания и бытия, обрываются и меняются за короткие периоды, при каждой смене ситуации. Страстными политическими ярлыками мы больше вводимся в заблуждение, чем вникаем в состояние сегодняшнего мира. Если же мы хотим охватить истинную суть положения человечества сегодня, степень безнадёжности его и степень надежды, — а пресса в своих высших задачах тоже не может не иметь в виду этой цели, — нам не избежать подняться много выше, чем политические характеристики, формулировки и рецепты.

И тогда мы увидим, быть может, хотя это не окажется более отрадно, что главная опасность не в том, что мир расколот на две альтернативные социальные системы, а в том, что обе системы поражены поро-

ком и даже общим, и потому ни одна из систем при ее нынешнем миропонимании не обещает здорового выхода. Через все случайности конкретного развития отдельных стран и за несколько веков этот порок органически пророс в современное человечество, и на большой дистанции мы можем его проследить.

Мы — все мы, всё цивилизованное человечество, — посаженные на одну и ту же жестко связанную карусель, совершили долгий орбитальный путь. Как детишкам на карусельных конях, он казался нам нескончаемым — и всё вперед, всё вперед, нисколько не в бок, не вкривь. Этот орбитальный путь был: Возрождение — Реформация — Просвещение — физические кровопролитные революции — демократические общества — социалистические попытки. Этот путь не мог не совершиться, коль скоро Средние века когда-то исчерпали себя, стали невыносимы оттого, что построение Царства Божьего на Земле внедрялось неограниченно-насильственно, с деспотическим подавлением личности, отображением ее существенных прав в пользу Целого. Нас тянули, гнали в Дух — насилем, и мы естественно отинулись, рванули, нырнули в Материю. Так началась долгая эпоха гуманистического индивидуализма, так начала строиться цивилизация на принципе: человек — мера всех вещей и человек превыше всего.

Весь этот неизбежный путь весьма обогатил опыт человечества, но вот на наших глазах и он подошел к исчерпыванию: ошибки в основных положениях, не оцененные в начале пути, ныне мстят за себя. Поставив человека высшей мерой всех вещей — несовершенного человека, никогда не свободного от корыстолюбия, самолюбия, зависти, тщеславия, и отдавшись Материи неумеренно, несдержанно, — мы пришли к засорению, к изобилию мусора, мы тонем в земном мусоре, этот мусор заполняет, забивает все сферы нашего бытия. В сфере **материальной** этот мусор уже всем слишком заметен, он отравил воздух, воду, освоенную часть земной поверхности, уже захламляет и неосвоенную; он так же безобразно наградил наши могучие производственные усилия, как в жизни отдельных людей повседневно самые заманчивые рекламы, упаковки и пластмассы обращаются в избыточный мусор городской. Но и в сфере так называемой **духовной** этот мусор забивает нас, давит нас — тяжелыми объемами, не могущими вместиться в наши глаза, уши, груди, в толкованием звонких всеобщих, как будто всем ясных, а на деле беспомощных плоских идей, ложной наукой, жеманным искусством, — всем, что не знает над собой ответственности выше, чем Человек, то есть ты, я и люди по нашей склонности. Гремливая цивилизация совершенно лишила нас сосредоточенной внутренней жизни, вытатила наши души на базар — партийный или коммерческий. В сфере **социальной** наш многовековой путь привел нас в одних случаях на край анархии, в других — к стабильной деспотии. Между этими двумя грозными исходами на наших глазах становятся немощными, бесправными одно за другим демократические правительства — оттого, что малые и большие соединения людей не желают самоограничиться в пользу Целого. Это понимание, что **должно же быть** нечто Целое, Высшее, где-то разоренное нами, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности, — это понимание чутко сторожится современными жестокими тираниями и вовремя выставляется под названием Социализма. Но — обман вывески, неисследованность термина: полстолетия достаточно показали, что и там мы массами унавоживаем благоденствие малых групп людей — и притом самых ничтожных, мусорных.

Оттого и орбитален оказался путь, что из власти насилия вырвались мы и во власть насилия вернулись — еще не все пока, но скоро грозит и всем, при общей болезни ослабнувшей воли и потерянной перспективе.



Фотопродукция УЛДИСА БРИЕДИСА

А если сохраняем мы волю не дать так унижительно замкнуть эту орбиту, то должны мы найти в себе силу теперь пересмотреть фундаментальные определения жизни человека и человеческого общества: действительно ли превыше всего человек и нет над ним Высшего Духа? верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией? допустимо ли развивать ее в ущерб нашей целостной внутренней жизни?

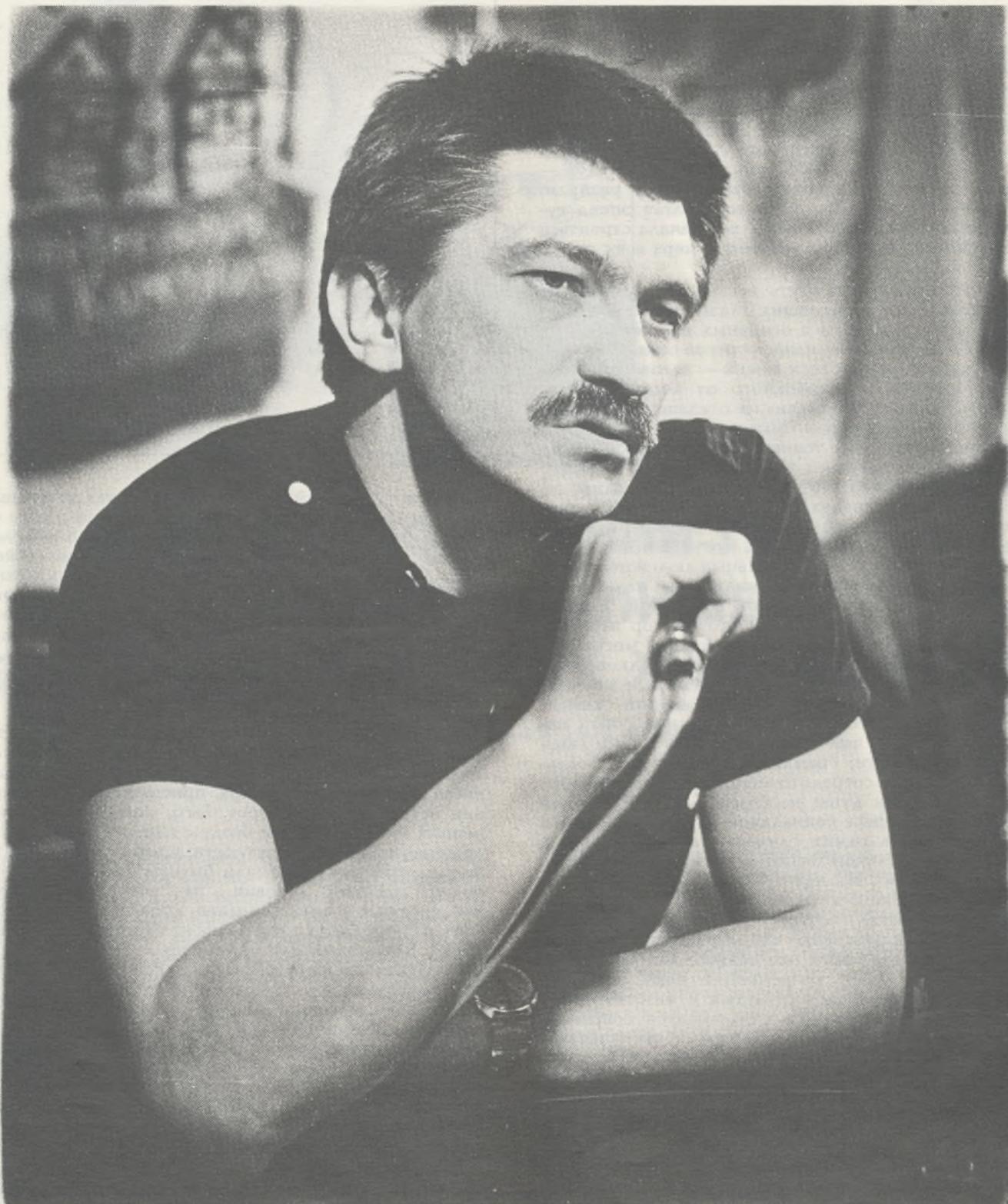
Как нам видится, цивилизованное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания), по значению такому же, как от Средних веков к Новому времени, — если только по беспечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота. Именно ваша страна, Италия, была некогда первой страной мира, приоткрывшей нам прежний исторический поворот. Быть может, теперь вы из первых же и ощущаете бездны нашего нынешнего положения и, по вашей чуткости, можете нам найти те формы, которые облегчили бы нам перейти на орбиту более высокого уровня, на которой не будет, как в Средние века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная.

По угрожающим темпам нынешней жизни — времени на осмысление и осуществление этого поворота у нас остается несравненно меньше, чем отпускалось его в неторопливом течении XIV или XVI веков. А при всем кровавом опыте минувших столетий — и самый выбор **форм** преобразования должен быть тоньше и выше: мы научились уже, что физическим сотрясением государств, что насильственными переворотами открывается путь не в светлое будущее, а в худшую гибель, в худшее насилие. Что если и суждены нам впереди революции спасительные, то они должны быть революциями **нравственными**, то есть неким новым феноменом, который нам предстоит еще открыть, разглядеть и осуществить.

Публикуемым ниже интервью мы знакомим вас не только со взглядами режиссера Александра Сокурова, но и с кругом интересов независимого издания «Сине-фантом».

«Сине-фантом» — это самодельный киножурнал, издаваемый группой московских кинематографистов. Кстати, именно они являются авторами так называемого параллельного кино, с которым рижане могли познакомиться на фестивале «Артконтакт» и «Арсенал». Журнал издается уже два года, выходит в количестве нескольких, иногда нескольких десятков экземпляров, делается можно сказать, вручную, на личные средства самих издателей. «Сине-фантом» представляет собой оригинальную попытку совмещения теоретического, узко-профессионального журнала с представлением широкой информации о мировом кинопроцессе. По стилю, тематике, «Сине-фантом» не повторяет ни один профессиональный киножурнал.

По разговору с Александром Сокуровым очевиден избирательный интерес авторов «Фантома» к конкретным, порой не связанным между собой проблемам, но именно они раскрывают нам их собеседника с новой, неожиданной стороны.



АЛЕКСАНДР СОКУРОВ

Фото ОЛЕГА ЗЕРНОВА

АЛЕКСАНДР СОКУРОВ: ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ...

СИНЕ-ФАНТОМ: Какова, на ваш взгляд, роль теории в развитии кинопроцесса? Какое воздействие она оказала на вас?

А. СОКУРОВ: Мне кажется, я сугубо практик. С теорией отношения сложные. Но здесь, наверное, возможны две точки зрения, как и двойной ответ на этот вопрос. Первая — теория кино, киноведение, безусловно, должны быть совершенно самостоятельной, независимой от кино науки. Не искусствоведением, не искусствоведением, а совершенно отдельной, обособленной отраслью знания. То есть той наукой, которой еще нет в современной культурной практике. Пока что нет и представления о том, какой она должна быть. Как мне кажется, киноведы должны отталкиваться от произведений, использовать их только как основание для размышлений.

И второй аспект. К киноведению можно проходить через практику. Появление теоретических работ о кино со стороны практикующих людей, например, Тарковского, вполне закономерное явление. Но это отдельное течение в киноведении, имеющее свои вполне определенные опасности. Поэтому что режиссеры, занимающиеся теорией, склонны абсолютизировать свой опыт; художественные, эстетические результаты этого опыта. Абсолютизации опыта не избежал никто. Опасность заключается в том, что размышления, основанные на практике, воспринимаются с большим вниманием, чем размышления людей, занимающихся кино исключительно теоретически. Такова моя точка зрения на этот вопрос. Или через практику идти к теории и думать о физических реалиях кино, или создавать совершенно отдельную философскую науку, которая может быть гораздо ближе к физике, чем к искусству.

СФ: Способствует ли как-то кинопроцессу то, что сейчас делается в западном киноведении? (Деятельность журнала «Кайе дю синема», разработка семиотики кино и т. д.)

А. С.: Безусловно. Но способствует ровно настолько, насколько образован практик-кинорежиссер. Если он человек приблизительно образования и находится в идеологических и эстетических шорах, то, конечно, бессмысленно говорить с ним о теории кино даже на уровне Базена. Для такого разговора необходима открытая личность. Людей такого плана в нашей стране бесконечно мало, насколько я знаю эту среду, насколько я знаю молодых режиссеров. Я уже не говорю о киноведах, потому что среди молодых киноведов процветает воинствующее бескультурье и отсутствие какой-либо базы.

В основе исследований такого рода могут лежать и эстетические проблемы, как складывается в европейской киноведческой

теории. В последние несколько месяцев у меня были встречи с итальянскими, французскими, американскими теоретиками кино. Это мой первый опыт разговоров и контактов в таком диапазоне. В основе их принципов мышления лежат не философские конструкции и категории, а сугубо эстетические, очень часто жесткие и грубые категории. Они все идут от наших двадцатых годов, от Эйзенштейна, Пудовкина, Вертова, Медведкина. Киноведческая культура идет от отечественной практики 20-х годов.

СФ: В нашей стране нет и не было журнала по теории кино, подобного «Кайе дю синема». Как вы думаете, возможно ли такое издание у нас, существуют ли люди, которые могли бы работать в нем?

А. С.: Думаю, что издание такого журнала невозможно по двум причинам. Во-первых, по причине крайне ограниченной заинтересованности аудитории в таком журнале, несмотря на колоссальные масштабы страны. Во-вторых, этот журнал был бы унизительно тонким, потому что крайне мало авторов, способных говорить о теории на необходимом уровне мышления. Если бы такой журнал можно было бы издавать объединенными усилиями нескольких стран, то он мог бы получиться интересным.

Значительный вклад, наверное, внесли бы польские специалисты по теории и истории кино.

Структуральные проблемы в кино — главные проблемы, от решения которых зависит развитие кино как современного гуманитарного искусства.

СФ: Не могли бы вы назвать несколько конкретных имен?

А. С.: Прежде всего, конечно, Ямпольский. Он, кажется, единственный человек, который занимается структуральными проблемами. Андрей Плахов занимается в основном социально-политическими вопросами кинематографа, социально-политической практикой в кино. Наум Клейман — крупный архивариус, серьезный практик в области организации киноведения.

Других фамилий я не называю, возможно не потому, что их нет, а потому, что я их не знаю. Но в необходимом числе я таких людей не вижу. Не только людей, которые могли бы одолеть это; но и людей, которые смогли бы проявлять должную терпимость. Потому что, как только такой журнал появится, он сразу станет жестким конкурентом всей существующей издательской практике в стране. У нас этого не любят. Творческой высокопрофессиональной конкуренции наша интеллигенция не терпит. Представить себе судьбу этого журнала пока трудно.

СФ: Как вы относитесь к видеокино? Существует ли оно как искусство? И если

существует, то в чем отличие эстетики видео от эстетики кино?

А. С.: Мне кажется, что пока искусство видеокино не существует, и преградой тому является еще не преодоленный феномен физиологичности видеоизображения. В кино между зрителем и автором существует некая технологическая подушка, но в ней все же больше от автора, от человека, от его таланта. В кино больше от реального, одухотворенного процесса (творчества — СФ). Но, мне кажется, что главное не в этом, а в том, что внутри видеоизображения имеется очень большой объем совершенно чуждых человеку сил. Если найдется какой-то человек, а это всегда так было в искусстве, который «оседлает» электронную (а не техническую — А. С.) подушку между автором и зрителем, то, видимо, с этого момента видеокино начнет существовать как искусство. Искусство требует стабильности и некой традиционности, чтобы оно развивалось не вширь, потому что тогда это уже не искусство, а по-вертикали. Такие вот традиции и спокойствие в видеоизображении пока не сложились. Кроме того, видео растаскивается и эксплуатируется поп-рок-культурой, как консервирующее средство. Темпоритмика видео существенно отличается от темпоритмики кино. Монтировать и организовывать темпоритмику так, как это делается в видео, в кино невозможно. Не только по техническим причинам, но и по причинам психологии восприятия, в которой имеются значительные отличия. Имеет значение также то, что в кино масштаб изображения, его площадь по глубине вызываемых эмоций и воздействию имеют значительный приоритет перед видео.

Главное же отличие заключается в том, что в видеокино совершенно другая технологическая и психологическая природа темпоритмики. Кроме того, видеоизображение не терпит аскетизма, не терпит сдержанности тонов и красок, оно (видеоизображение) постоянно выдвигает какую-то одну эмоцию, которая заглушает все остальные.

Видеоизображение очень доступно. А как только какое-нибудь явление в культуре становится очень доступно, оно начинает заболеть сложными болезнями. В культуре обязательно должно быть табу. К некоторым обстоятельствам и поступкам следует подходить с большой осторожностью.

Видео демократично. Доступ к нему любого человека, девальвация изображения как такового, отстранение от человека, доступность работы с ним — все это рождает цинизм в самом широком смысле этого слова. Цинизм, который рождается уже не только и не столько у авторов, сколько у зрителей, которые понимают, что с изображением работать очень просто и не стоит никакого труда.

С видеоизображением оперировать очень легко. И только отсутствие у нас техники не привело еще к развитию видеодвижения, в то время как на западе оно имеет грандиозные размеры.

Однако, несмотря на огромное количество возможностей, Пазолини остается Пазолини. И все крупные явления пока еще открываются в кино.

СФ: Среди современных советских фильмов нет ни одного, кинематографическая реальность которого переходила бы в социальную среду, герой которого вызвал бы подражания. На Западе же таких картин много, например, «Рэмбо», «Фантомас», и т. д.

Как вы думаете, в чем причина?

А. С.: Я думаю, причина в совершенно другой структуре зрителя. При том, что, конечно, обыватель везде один и тот же: американский, французский, русский и т. д. Это некое психофизическое качество вне зависимости от строя и года рождения.

То, что у нас такого рода образцов нет, говорит, с одной стороны, о том, что еще не все потеряно с точки зрения государственной нравственности; с другой стороны, говорит о низком профессиональном уровне людей, которые делают кино. Если бы какая-то группа режиссеров смогла предоставить государству такого сверхгероя, его популярность была бы ничуть не меньше, чем Рембо. Вообще же появление такого персонажа в культурном контексте явление трагическое. Нужно сделать все воз-

можное, чтобы такие образцы не появлялись. Надо крайне индивидуализировать культуру, а не вводить ее в массовые образцы. Только индивидуализация может сохранить культурную среду. А чем больше таких образцов, тем меньше у творческих людей шансов не быть раздавленными собственным народом.

СФ: Возможен ли выход в прокат фильмов «параллельного» кино?

А. С.: Я думаю, что такое возможно и такое необходимо. Выход в прокат означает изготовление некоторого количества копий. К сожалению, ни с одной из тех (см. примечания) картин нельзя изготавливать копии. Надо с самого начала закладывать в них тиражные качества.

СФ: Что вы думаете об идейной и художественной стороне этих фильмов?

А. С.: На мой взгляд, изображение, которое выходит к зрителю, должно иметь какую-то качественную ценность, иначе зритель, лишенный этой качественной ценности, отвернется от этого кино. То, что мы видели — это очень тоталитарное кино. В некоторых своих обстоятельствах оно имеет корни в национальной культуре, а в некоторых, значительно более жестких, не имеет. Между тем, единственной и главной задачей любого обращения в мир, за пределы собственной души, должна быть все же культурная программа.

Сегодня просто взирать на общество, которое озверело так, как наше, невозможно. Иногда за пределы Москвы и Ле-

нинграда просто невозможно выезжать. При этом, что, конечно, тяга к культуре в стране колоссальная. Длительная идеологизация привела к отуплению.

СФ: Как вы думаете, какие потенции «параллельное» кино не использует?

А. С.: Для меня в так называемом «индивидуальном кино» (я бы предложил такой термин) наибольший интерес представляет фиксация жизни.

Мы живем во время, когда каждый прожитый день, тем более в условиях той ситуации, в которой государство пребывает, имеет колоссальную историческую ценность. Люди, садящиеся в трамвай, стоящие в магазинах, входящие и выходящие из электрички — целый цикл социальной жизни, который на следующий день становится предметом искусства. Потому что мы не знаем, что нам готовит день грядущий. То ли это будет нормальное развитие, то ли это будет гражданская война. Если бы я занимался индивидуальным кино, то я бы занимался фиксацией жизненного процесса. Никакой профессионал не сделает того, что может сделать человек с индивидуальной камерой фиксации жизни.

А игровые формы... Конечно, каждый имеет право на реализацию собственного эстетического мировоззрения, но это еще не культурная задача. Культурной задачей является фиксация жизни и затем попытка сложить из этого течения жизни нечто подобное тому, что сейчас ценится у Вер-

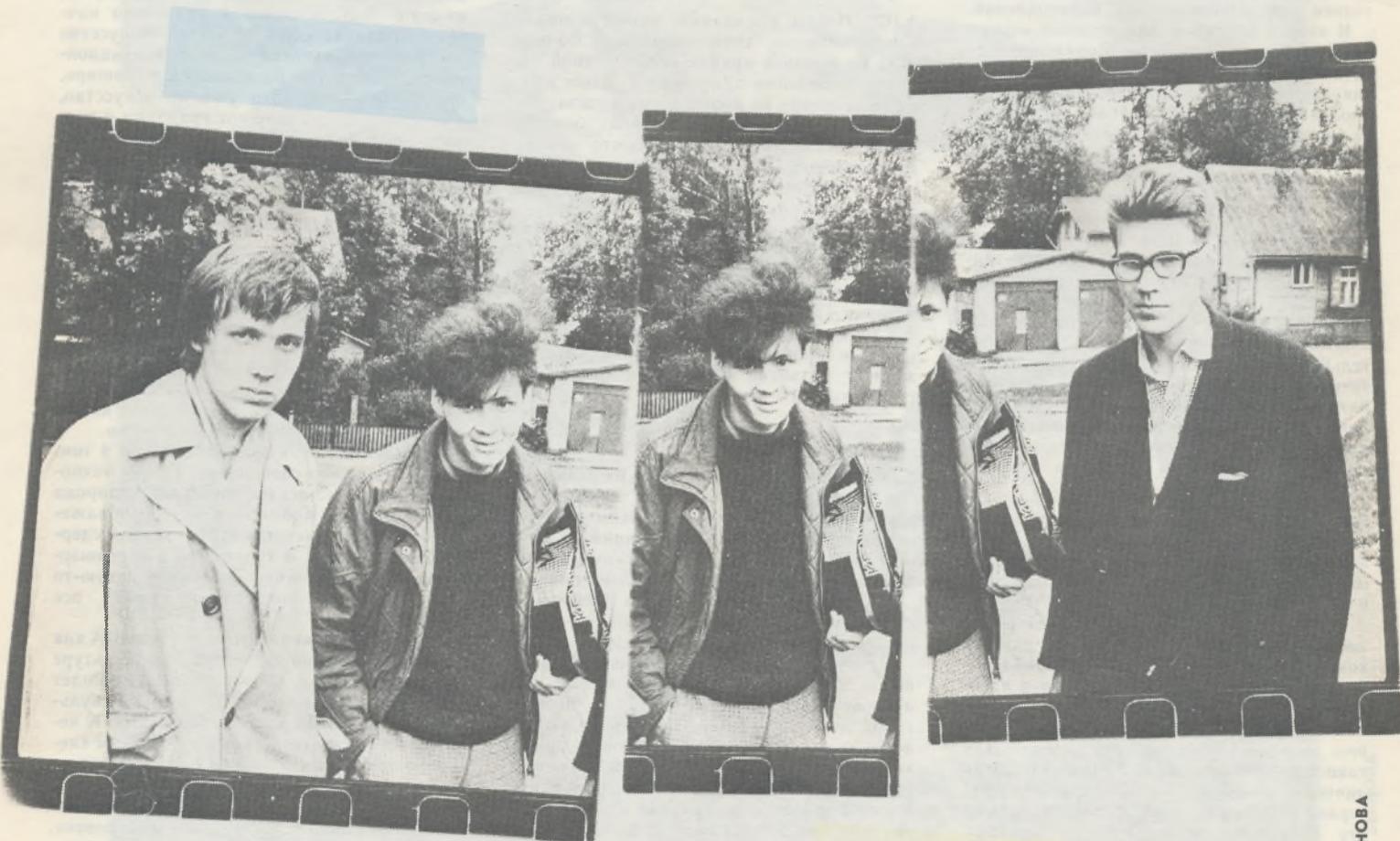


ФОТО ОЛЕГА ЗЕРНОВА

това — фиксация жизни. Никто не ожидал, что то, что показывал Вертов, можно показывать публично.

СФ: Каковы ваши вкусы в кинематографе? Ваши любимые фильмы?

А. С.: Самое серьезное впечатление на меня оказала «Стачка» Эйзенштейна. Более глубокого впечатления от изображения на экране я не испытывал. Это я говорю совершенно искренне. И картина Флаэрти «Человек из Арана». Это фантастическое зрелище. Я говорю это, учитывая те грандиозные сложности, которые существовали перед этими людьми, чтобы реализовать свой замысел и их колоссальную энергию. Результат ведь всегда вычисляется по формуле: замысел минус потери. Это степень величия авторов.

Из звукового кино мне трудно назвать кого-либо.

СФ: А из «нового» кино последнего десятилетия?

А. С.: На меня ничего не произвело глубокого впечатления.

СФ: А новая волна в Германии, во Франции?

А. С.: Нет.

СФ: А каково ваше отношение к фильму «Покаяние»? По-нашему мнению, он стал печальным феноменом советской культуры.

А. С.: Естественно. Я совершенно с вами согласен. В определенном смысле я с уважением отношусь к результату труда этих людей. Но здесь произошел самый классический, самый вульгарный исход, который заключается в том, что произошла подмена методов, подмена инструментов. Эта тема должна была быть реализована средствами документального кино. Потому что в конечном счете речь идет не о эстетике, а о правде. Вирус, который эта картина занесла, никакой эпидемии за собой не принес, «заражения» не произошло. Потому что тема, которая в фильме представлена, настолько глобальна, что говорить о ней на уровне чистой эстетики нельзя. Она глубоко трагична и глубоко эмоциональна. Эта картина не подготавливала, а отдала встречу зрителя с возможностью появления документальной картины по поводу событий в Советской России в 30-х гг.

«Покаяние», на мой взгляд, хорошо, профессионально сделана, и было бы странно от этого режиссера ждать другого результата.

СФ: Теперь мы хотели бы перейти к «Скорбному бесчувствию». Прежде всего, какова ваша концепция кинодокумента?

А. С.: А какие еще есть вопросы?

СФ: Почему вы используете непрофессиональных актеров? Как вы понимаете место сюжета в кинематографе? Ваше определение сюжета.

А. С.: Мне кажется, что это вопросы глобального плана и можно совершить ошибку, абсолютизируя точку зрения режиссера.

Построение этой картины не является декларацией, консервированием жесткого стиля. Мне бы не хотелось, чтобы это было так. Эта картина построена так не только

потому, что режиссер открыт в сторону разных жанров, в сторону разных исходных киноматериалов, а потому что именно ЭТА тема, ЭТА драматургия требовала ЭТОГО решения. Даже в скульптуре, пластике существуют определенные профессиональные тенденции. Есть скульптура «открытая», есть скульптура «закрытая». В области кино тоже есть «открытые» и «закрытые» структуры. Скажем, картины стиля соцреализма, картины вообще сугубо реалистические представляют собой закрытый стиль. А картины других направлений могут представлять из себя «открытые» структуры.

Практика использования непрофессиональных исполнителей в кино широко использовалась в отечественном кино 20-х гг., это вообще отечественная практика. Непрофессионалов использовали в итальянском неореалистическом кино. Это нормальная профессиональная практика. Другое дело, что на Западе непрофессионалов режиссеры используют в качестве кожаных мешков, наполняя их СВОИМ содержанием. Я думаю, что принцип «кожаного мешка» исчерпал себя. В отличие, скажем, от театральной практики, в кино должна быть Человеческая Natura как особое синтетическое, то есть не только энергетическое явление. В понятие природы входит и характер человека, характер персонажа, национальность, вероисповедание, политические принципы, партийность, физиологические комплексы, сексуальные установки, социальные переживания, гены и т. д. Характер является одним из компонентов человеческой природы. Поэтому в «Скорбном бесчувствии» возникла задача создания особой «компании» исполнителей, которые представляли бы собой неповторимые человеческие природы, а собранные вместе, посаженные за один стол, они должны представлять определенный портрет какого-то человеческого состояния. Речь идет об одном органичном явлении, но выражаемом через такую, казалось бы непростую сумму. Поэтому в картине появились непрофессиональные исполнители, которые, на мой взгляд, представляют интерес просто как люди.

Другое дело, что непрофессиональные актеры рождают, как правило, конфликт со зрителем, который привык, что драматургия и исполнители ролей обслуживают его. Зритель привык, что на экране есть какой-то характер, который развивается, есть драматургия развития; от плохого к хорошему, или наоборот, имеется некоторая структура, дерево, по которому зритель ползет в течении фильма к вершине и с вершины падает вниз. (Такая структура выражается посредством характеров).

Структура «Скорбного бесчувствия» намного сложнее и в то же время принципиально демократичнее. Как это ни парадоксально, но представляя зрителю наиболее демократичную форму, мы оказались в области «элитарного» кино. В картине используются также и профессиональные актеры. В громадном пространстве фильма они выполняют как бы роль маяков, помогая в самых различных ситуациях

непрофессионалам прийти в себя от шока, который они испытывают в любой серьезной постановке. Опытные актеры, продолжая работать в трудной ситуации, создают возможность для других работать. Это не система характеров, а система натур.

Что касается хроники, то она — критерий истины. Кино, как искусство еще не сформировавшееся, развивается по принципу живого человеческого организма, в котором есть парные органы: два глаза, два уха. То же и в кино. Существование игровой и документальной форм — как бы два глаза одного организма. Поэтому, если режиссер существует только в игровой или только в документальной форме, то он, по-моему, инвалид. Идеальным является случай, когда режиссер работает не только в кино, но и на телевидении.

Существование хроники в картине — это попытка создать некую синтетическую систему. Если бы в фильме не было войны, было бы что-то другое.

СФ: Какую цель вы преследовали, растягивая кадры хроники?

А. С.: Это возникло из необходимости создать определенное негативное восприятие войны. Потому что то, что касается изображения смертоубийства, фиксации смерти не может быть элементом эстетики. Есть вещи, к которым нужно относиться только по-христиански. Вся грязь войны, уничтожение человека, превращение его в животное, в небытие, вообще сам факт одевания погон и каски противоестествен.

СФ: Какова роль и концепция сюжета в «Скорбном бесчувствии»?

А. С.: Сюжет долгое время существовал как формообразующий элемент кино. Отход от сюжета в нашем кинематографе воспринимался как формализм и уступка буржуазной идеологии. Это было связано с трудностями истории; художники преследовались и лишались жизни по существу за эстетику, потому что практика подменяла вопросы эстетических вопросах политического порядка — одна из характерных черт взаимоотношений нашего государства с художниками. О произведениях оригинальных, эстетически своеобразных говорили как о несущих активную антисоветскую политическую программу. Так погибли многие художники, композиторы, режиссеры и писатели.

Что касается «Скорбного бесчувствия», то здесь есть попытка построить киноповествование по принципу, скажем, брехтовскому, т. е. здесь речь идет не о драматургии поступков или характеров, а о «драматургии мысли». Сюжет строится из авторской мысли, а не из действий героев в их (действий) последовательности.

СФ: Что вы думаете о культурной традиции в советском кино?

А. С.: Об этом часто забывают. Когда говорят о литературе: да, у нас за плечами Достоевский. Когда же речь идет о кино, то предпочитают говорить о народности. Кино — не народное искусство, оно глубоко индивидуально. К народу кино никакого отношения не имеет. Кино имеет отношение к человеку, к борьбе индивидуальности за искусство.

Примечание: Интервью взято в ленинградском клубе «Огонек» после просмотра программы фильмов братьев Алейниковых, Евгения Дэбила, Юфы, Константина Митенева.

Интервью подготовлено сотрудниками журнала: И. Алейниковым, Д. Кузьминым, И. Медведковым, С. Шмелевым-Агинским.

ИГОРЬ САВОСТИН

ШПАРГАЛКИ СУМАСШЕДШЕГО

(О БЛЕДНОЙ НЕМОЧИ И ЖИВОЙ ВОДЕ)



Холодным вечером три года назад, прощаясь с А. Кацем у выхода из Театра русской драмы после второго премьерного спектакля «У моря» («Кабанчик»), я, наконец, осмелился сказать ему, что воспринимаю его сценическую версию «Кабанчика» как зеркало своего поколения — тридцатилетних, которым под сорок (преьера октябрь '86). Фургон без лошади и погонщика, опрокидывающийся ездовых то вперед, то назад. Фургон, стоящий на месте, без движения, потому что ехать не знаешь куда. Дом остался позади, вокруг шум, впереди туман и колеи не видно.

В «Гамлете» Кац попытался доказать нам, что наш фургон приехал в Никуда (преьера ноябрь '88).

Режиссер Кац всегда был резок в своих социальных высказываниях и приговорах. Будто сводил счеты. Но это его проблемы. Нам не дано было этого понять, да мы этого и не хотели.

Но Кац никогда не щадил и не ласкал наше слабогрудое поколение. Он бил нам под ребра, под дых. И мы теряли сознание, твердя наизусть перед обмороком или очнувшись:

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Это было вроде нашей молитвы. Сладострастием повешенного, должным оправдать нас перед лицом, как мы полагали, вечной лжи и простить наше бессилие, наш конформизм и нашу духовную импотенцию.

Пусть это не звучит оправданием. Но мы, действительно, ничего этого не понимали. И предпочитали страдать, как романтики прежних времен. Нам даже очень нравилось изображать

... ржавые листья

На ржавых дубах.

Это был наш имидж. В стиле элегантно затрапезы, как говорил тогда наш любимый ироник Василий Аксенов.

Но Кац был беспощаден. Он внушал нам, что романтизм и идеализм исторически ограничены в местах «оттепели». А политический цинизм и тоталитаризм — безмержны во времени и пространстве и всегда одинаковы.

Когда Кац был последователен в реализации потаенного от нас замысла и бескомпромиссен в отношении к властям, он ставил крутые спектакли.

Когда он отдавал дань кремлевскому гуманизму или нашему идеализму, мы его ругали. Устно. Те спектакли казались нам

пологими, плоскими, как Красная площадь.

Но Малые земли нам малы были. И мы жаждали континентов, обратной стороны Луны, где скафандры со свежим кислородом, где оттолкнулся и полетел. В Космос. Поэтому мы предпочитали не выполнять своих служебных обязанностей в окрестностях и околотках Малой земли: мы ёрничили, спивались, скурвливались, уезжали за бугор или шли в чиновники, становились дворниками или самоубийцами после короткой встречи с вертикалью Высоцкого, Шпаликова, Бродского, Тарковского. Или еще кого. Их было много тогда — запретных вертикалей «оттепели».

Кац давал нам глоток целительной влаги. Но мы не хотели верить, что живая вода — это отрезвление от иллюзий нашего хлебного детства. Нам нужны были иллюзии. Мы хотели жить при «коммунизме».

А Кац знал цену издержкам слепой веры.

Нам нужен был герой — фанат и идеалист, агнец и идеал.

А Кац знал, как дорого он платит и как дешево ценится.

Как будто предвидел, что заморозки впереди.

Нам не повезло — у нас начался синдром девальвации.

Кацу повезло — он воспитал актера вне девальвации, свободно конвертируемого в любых системах тоталитаризма. Кац использовал его в самых зловещих своих предначертаниях, которые, по этикету, именовались спектаклями Каца 80-х годов. А нами — спектаклями Ильина.

Я говорю об актере Андрее Ильине, который не знал этикета и потому играл каждый спектакль в те годы «ржавых дубов» как самозаклание. Он не был романтичен и сентиментален, как мы — хрущевские идиоты. Но он был юн и нуждался в идеалах, которые в бытии и материи, их как таковых, отрицал его учитель Кац, неистово взывая к нашему прозрению. Поэтому каждый раз он напяливал на героев Ильина — очки. Вроде как символ.

А мы все были очкариками и нам было наплевать на символ, потому что через свои очки мы наводили фокус только на Ильина, который играл наш идеал, четвертый сон Веры Павловны, наутро воплощенный и реальный как личность. Ильин играл с такой свободой и легкостью, которая отвергала в спектаклях Каца по Розову, Гоголю, Чехову, опять Розову, Достоевскому всю силу обстоятельств, разрушающих его как личность. Ильин казался непоручаемым и беспорочным мифом, хоругвью и иконой нашего немощного поколения. Другим служил мишенью. Он был линия, стержень, прорыв и атака: «Не Москва ль за нами!»

Хотя тогда складывалось уже и другое, горькое:

Ни шагу! Не она ль за нами!
Наверное с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!
В мой страшный час,
хотя и бредовая,
моя поэзия меня не предавала,
не отреклась.
Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась
исповедь.

Все признаю.

Ильин тогда ничего не признавал, кроме своих героев и Каца. Но сила удара падения его жертвоприносимого Кацем юности, падения на брусчатку в районе храма Василия Блаженного транслировалась Кацем на нас. И мы видели, что пал он не на грудь, а на спину, в атаке. И прерывал связь времен... Поэтому Кацу все время приходилось выдумывать красивые символические финалы, чтобы оправдаться перед максимализмом юношеских книжных иллюзий, в которые с нездешней силой веровал этот иннок. Йорик — в глазах Каца. Спас — в наших.

До последнего спектакля Каца в Риге. До «Гамлета».

Тут они померялись силами. Режиссер и Актер. Актер и Режиссер.

Тут актер Ильин вышел из фокуса моих очков со сломанными дужками крестинского отечественного производства и глянул в мою душу через свои новые окуляры — рукою Гамлета заколпченные очки Кости Трелева. Они скрыли его глаза и отразили мое малодушное прошлое.

... И я увидел его в таких кровавых, таких смертельных язвах — нет спасенья. Иду на откровенную цитацию, переводя ее на себя. «Чайка» — мой незабвенный спектакль Андрея Ильина и Нины Незнамовой — Аркадина в «Чайке», Гертруда в «Гамлете» (премьера март '83). Поэтому цитирую по Чехову.

Далее Костя (из «Гамлета») Аркадиной: «И для чего ж ты поддалась пороку, любила искала в бездне преступленья!»

За эстрадой играют в рожок.
Господа, начало! Прошу внимания!
Пауза».

Прерву цитату на этой чеховской паузе. Тут нависает т о т а л ь н а я пауза в диалоге отцов и детей.

Аркадина молчит. Гертруда молчит. Кац молчит. Отцы и матери молчат. Они не знают, как ответить детям поколения Ильина.

Мы, кстати, и не спрашивали советов у своих отцов. Мы росли без них. Многие. И не потому, что отцы погибли. Просто их возраст остановился до войны. Метафору нашего диалога с отцами придумал Шпаликов. У него парень, которому в 60-е годы 20 лет, спрашивает во сне у погибшего на войне отца, как ему жить дальше.

— Сколько тебе лет! — спросил солдат.

— Двадцать три.

— А мне двадцать один. Как я могу тебе советовать.

Этого не мог придумать мой самый старший браток, король моего района, покровитель моего послевоенного детства, которого я чтил хотя бы за сопричастность к войне. Их сломали раньше, чем я успел поумнеть. Я тогда тоже ничего не понял, но мое поколение училось по ним — по их бравадам, амбициям, тоске по былым героическим временам, хотя они были горькими и для них, по их песням, обожженным ресницам — спички тогда у них были такие или курить не умели! Или слишком близко наклонялись к огню, чтобы скрыть слезы!

Тебя, Сергей, за Волгой схоронили,
Фанерную поставили звезду,
Мой старший брат погиб на Украине,
В сорок первом, сорок-горестном
году.

Потом все кончилось. И пришла пора моей первой юности, куда горечь не входит, не уместается.

И на смену тем горьким королям пришли другие старшие братки — вертикальных шестидесятых. «Шестидесятники». И мы потянулись к ним, горлопанам и весельчакам тогдашним. И мы уже не думали об отцах — с их пьяной полуправдой рассказов о себе. Мы безотчетно отдались этому новому влечению к старшим браткам шестидесятых.

У нас не было пауз. Мое поколение всегда имело старших братков. Мы им верили и любили самозабвенно. Не замечая наступающей их паузы. Но мы не думали об уходе братков. И проскочили эту паузу. Поколение Ильина — не проскочило.

И герои Ильина — не проскочили. Паузы между детьми-отцами и братками нависают у них колоссальные, отторгающие поколение детей от отцов и братков, от всех старших вкупе.

И тогда в этой паузе Костя Трелев начинает свой спектакль о мировой душе, как Гамлет — свою «Мышеловку». Первую фразу он произносит сам: «О вы, почтенные, старые тени, которые носите в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!»

... Почтенные старые тени.

Тень отца Хлестакова, который (по мысли Осипа, любившего себе самому читать нравоучения для своего барина) «не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался» [премьера «Ревизора» декабрь '81].

Тень отца Трелева, киевского мещанина, хотя тоже был известным актером. И Костя страдает от унижения в обществе

гостей матери, которые ее сын «терпят только потому, что он ее сын».

Тень отца Прова из «Гнезда глухаря», который в inferнальном финале обрывает сыновний порыв: «Извини, у меня дела» [премьера январь '79].

И тень отца в «Кабанчике», которая столь мучит Алексея, сыгранного Ильиным на грани психического срыва!

Тени забытых предков.

Насмешка дерзкая обманутого сына над промотавшимся отцом.

Незабвенный Михаил Юрьевич сочинил эту строку в 24 года, в том возрасте, когда Ильин уже сыграл Трелева, и промотавшиеся отцы отправляли его сверстников эшеломом на афганскую бойню в звании рядового.

Через четыре года Лермонтов погибнет на Кавказе, а Ильин начнет учить роль Гамлета — обманутого сына — в Риге.

От «Гамлета» Каца нити тянутся другие — к его «Чайке». Тонкие белые филологические нити, которые вспорол хитрец Шкловский: «Я говорил уже, Трелев из той же реки, на берегу которой жил и погиб Гамлет».

Кац знает про себя, что он блистательный имитатор. И в «Гамлете» он эпатирует еще имитирует «Чайку». Но никто, в конце концов, не ступает в одну реку дважды, трижды, четырежды...

Река Волга-Волга, как море полноводная, как Родина свободная, в которую с оптимизмом ступали веселые ребята, мочили ноги верные друзья в свои горячие денечки, которая течет долго, конца и края нет... Река времени. Экологически отравленная на моей памяти желчью, торжественными фекалиями возрождений, кровью, старческой мочой сидящих на прибрежных камнях временщиков.

Трелев Ильина в той реке и остался.

Гамлет Ильина, по дерзкому велению своего времени, в ту реку не вошел, попробовал ее очистить. Восстановить порвавшуюся связь времен этих мутных вод.

Кацу хотелось имитировать прежние финалы юношеских бунтов неперебесившихся мальчиков в маске актера Ильина. Развенчать героизм их гордости и смирились, примирить, убить — в конце концов — в наздание потомкам.

Иван Александрович Хлестаков возвращается в финальную немую сцену — с повинной, — таща на знаменитой веревочке Осипа дрожечки, которые сделал незаконный сын [sic!] Добчинского. Правда, в «Ревизоре» невинные дрожечки обретают по воле режиссера А. Каца и сценариста Т. Швец интуристовский образ «Руси-тройки», которая и ответ дает и замирает, не поражая божьим чудом созерцателя.

В финале «Чайки» Константин Гаврилович Трелев не «рвет в продолжении двух минут молча все свои рукописи и бросает их под стол, потом отпирает правую дверь и уходит» — по ремарке Чехова.

Кац не дает этой двухминутной паузы Трелеву. Тот быстро выхлоснит из-за кулис ружьишко и ложится в лодку, которая висит посредине голой сцены как символ. Звучит выстрел и в дырку свешивается рука Кости, естественно, в белой рубашке. И раскачивается в продолжение двух или более минут.

О том, что это вне этики Чехова, — и речи нет. Какая там этика, когда в эту же лодку на труп Трелева вываливают в финале спектакля прелые листья и мусор.

Кацу надо было всех своих героев-идеалистов развенчать прямо у нас на глазах. Ему нужен был мортисолог бунтарей и

идеалистов всех времен и народов. И чтобы гибли они, не прозревая, в режиме иллюзий.

Тело Гамлета тоже подвешивают на доску, которая раскачивается, как лодка, с телом Треплева.

Публичные заклания.

Я помню, как Ильин протестовал, как боролся с этой идеей фикс своего кумира, репетируя «Кабанчика». Он придумывал массу вариантов финального бунта для своего Алексея. Тихих, торжественных, благородных, ёрнических, террористических — но только не жертвенных. Он искал точку, финал, завершение, расплату. Я опаздывал на какой-то поезд, мы ехали на вокзал в такси и орали, как сумасшедшие, что Алексей сделает с отцовским пистолетом, спрятанным в сарае. Представляю состояние таксиста.

Потом уже, позже, я увидел финал спектакля «У моря». Это был второй спектакль, на поклон выходил сам Розов, зал аплодировал стоя, вызывали много раз на поклон, как Аркадину в Харькове. Финалом было это.

Но финала, которого искал Ильин, не было. Тогда, при Пуго, финалом была всеобщая эйфория, что такой спектакль пошел и пьесу Розова приняли и залитовали. Отцы договаривались с отцами. Мы вам — вы нам. Пусть называется не «Кабанчик», а «У моря». Пусть не будет финальной точки в судьбе сына. А будут аплодисменты сидящих в зале. Сидящим в тюрьме. Аплодисменты отцов.

В тот вечер я и сказал Кацу, что воспринимаю его вариант — из спектакля в спектакль повторяющийся образ телеги без лошади и погонщика — как отражение судьбы своего поколения.

Отчий дом бросили и поехали. Потом услышали шум, и погонщик пошел аплодировать. А ездоки остались. Раскланиваться.

«Актеры не могут упускать время. Они нуждаются в шедевре, чтобы позаимствовать частицу его долговечности», — говорил Жан Кокто. Он знал цену актерам и никогда не изменял идеалам, придуманным ради актеров. В послевоенной Европе в цене были мифы об Орфее и Антигоне. О памятливых.

Мое послевоенное Отечество ценило антимифы. Детей околвоенных победных

лет уже тошнило от воспоминаний и сомнительной символики побед. И тогда мои братки, младшие по сравнению с фиксами старших, и старшие по сравнению с моими выпадавшими молочными зубами, затаили свои гитарные антимифы. О разоренном доме и поруганной семье. Как братки распевались, и порог затоптали чужие шаги. Дедовья и отцы отреклись, а сестры и жены сидели.

Наш дом шатался от перепляса и слез. Двор гудел от гитар наших новых братков.

Стоп. Перечитываю написанное. Вывихнулось время. У Гоголя Поприщин завел дневник, прознав, что и собаки могут писать. Ему захотелось восстановить на бумаге свою разорванную на куски жизнь. И Гоголь назвал это «записками сумасшедшего». А у меня — какие-то шпаргалки сумасшедшего. Слово для экзамена по историческим паузам. Старым и новым. Вот и Цой поет: «Из сетки календаря выхвачен день». Какая-то русская болезнь на паузы, пустоты, годы безвременщины. И памятливым, по-прежнему, выписывают поприщинский аттестат за номером «Чи 34, сло МЦ гдао, Февраль 349».

Мудрый старик Арсений Тарковский учил:

Живите в доме —
и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
войду в него.

И дом построю в нем.

Андрей Тарковский не защитил своего аттестата, потому, что не смог обжить и населить паузы братками своими, и мы были для него, как струна в тумане: «с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой сиңеет вдали! Мать ли моя сидит перед окном!»

«Ностальгия», посвященная матери, и «Жертвоприношение», посвященное сыну, — попытка восстановить порванную связь времен через ржавую трещину. Белый-белый день. Белые снега. И колючую проволоку лагерей. Беспамятство. Когда один день Ивана Денисовича искупал все смерти Ивана Ильича. Когда из мифа об Орфее и Эвридике рождался антимиф о Мастере и Маргарите.

Страшно выжгло себя то поколение «златоустых блатарей» — с их отчаянием и одиночеством. Они выходили из наших

застолтий с застывшими зрачками, когда мы горланили их песни. А они выходили, неловко пятясь, как будто на минуту. и не возвращались.

Я вижу вас, я помню вас,
И эту улицу ночную,
Когда повсюду свет погас,
А я по городу кочую.
Прощай, Садовое кольцо,
Я опускаюсь, опускаюсь
И на высокое крыльцо
Чужого дома поднимаюсь.

Чужие люди отворят
Чужие двери с недоверьем,
А мы отрежем и отмерим
И каждый вздох, и чуждый взгляд.

Прощай, Садовое кольцо,
Товарища родные плечи,
Я вижу строгое лицо,
Я слышу правильные речи.

А мы ни в чем не виноваты,
Мы постучались ночью к вам,
Как все бездомные солдаты,
Что просят крова по дворам.

У каждого времени были свои бездомные солдаты. «Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения», — говорил Тынянов. Их называли по-разному. То лишние люди, то попутчики, то вейсманисты-морганисты, то безродные космополиты, то потерянное поколение, то шестидесятники, то андерграунд, то рокеры и т. д. и т. п. и прочая. Особенно в России изобретательны на «правильные речи». Одни варят кружовенное варенье, у других болит совесть. Чеховский Иванов говорит: «Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди... сам черт не резберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это — позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю...»

Какая уж тут живая вода, когда у Иванова постоянно такое чувство, как будто он мухомору объелся. Долго у нас тянется эта бледная немочь. Вроде как национальная традиция. Или исторический конфуз. Или психологический курьез — «Русский мухомор».



АРТЕМ ТРОИЦКИЙ ROCK IN THE USSR

(Продолжение. Начало см. в
№№ 5—12, 1988 г. и № 1, 1989 г.)

ГЛАВА 8

«Новая пресса
в истлевшем переплете.
Новая музыка, новые стили!
Идет волна —
Прислушайтесь к звуку
Пока не начался новый штиль...
Идет волна! Идет волна!»
(«Идет волна», группа «Алиса»)

Как всем известно, долгожданный новый курс был провозглашен М. С. Горбачевым на пленуме Коммунистической партии в апреле 1985 года. Вскоре после этого среди затравленной и озлобленной московской рок-публики пронесся трепетный слух, что в столице наконец-то организуют рок-клуб. Занимались этим сугубо солидные официальные организации: комсомол, Управление культуры, профсоюзы. Никто из рокеров не испытывал к этим товарищам доверия, не говоря о симпатии, однако жажда выступать и общаться была настолько сильна, что практически все московские группы, включая «диверсантов» из «Звуков Му», подали заявки на официальное прослушивание в надежде вступить в рок-клуб. Я не имел к этой акции никакого отношения и с легким сердцем уехал на Рижское взморье, как обычно делаю в апреле, — чтобы погулять по песчаному пляжу, пока его не заполнили орды курортников.

Вернувшись в Москву, прямо с вокзала, я поехал в Дом самодеятельного творчества, где началось прослушивание групп. У входа меня решительно остановил некий комсомольский босс: «А где ваше приглашение?» Я пожал плечами: «Моя фамилия Троицкий, меня здесь все знают...» Тот на всякий случай подозвал двух помощников и сказал: «Мы вас тоже хорошо знаем. Именно потому, что вы Троицкий, вы в этот зал не пройдете.» Я не смел апеллировать и ушел. Так обескураживающе началось для меня «новое время».

В мае я не поехал в Тарту — впервые за много лет. «Turist» уже распался — Харди Волмер занялся мультфильмами — и ничего нового и сенсационного организаторы не обещали.* Вместо этого мы с Сашей Липницким предприняли замечательное путешествие по северным русским рекам и слегка приобщились к «корням». Впрочем, рок дошел и до этих краев: в центре старинного города Вологда на танцплощадке местная группа «Календарь» к радости молодежи играла рок-шлягеры из репертуара «Машины времени» и «Альфы».

Прямо с севера, уже один, я направился в Вильнюс, столицу Литвы, куда был

приглашен на первый рок-фестиваль «Литуаника-85». Вильнюс, на мой вкус, — самая красивая и комфортабельная из прибалтийских столиц; этот город немного напоминает мне сладкий призрачный детство и юности — Прагу. Холмы, костелы, кафе. Идеальное место для художников и джазменов. И целина для рокеров. Единственной цветущей ветвью современной «электрической» музыки здесь были возвышенные синтезаторы группы, среди которых выделялись «ARGO» симфониста-отступника Гедрюса Купрявичуса. Фестиваль не развеял этого благородного образа: лучшей из местных групп был квартет клавишных с характерным названием «Катарсис»...

Любопытны были делегаты других рок-провинций. «Post Scriptum» из Тбилиси: рафинированные подростки, включая девушку-пианистку, стилем «Битлз», и очень обаятельные. «Олис» оказались первой армянской группой, проявившейся за пятнадцать лет; пели они по-русски, выглядели «новорожденными» и явно старательно слушали «Men a Work». Неужели новый рок-бум на Кавказе? К сожалению, из разговоров с группами выяснилось, что на «южном фронте» все по-прежнему слишком спокойно, и рокеры чувствуют себя одиноко.

Новое поколение белорусского рока было представлено группой «Метро» — техничной, но ужасно усредненной по стилю. Да и это название... Я уже давно заметил, что некоторые банальные слова привлекают музыкантов, но обремененных лишней фантазией особенно сильно. «Чемпионы» в этом разряде — «Зеркало», «Пилигрим» и «Метро»; ансамбли с такими названиями есть, кажется, почти в каждом городе. Также общепотребительны «Рондо», «Наутилиус», «Сталкер», «Орнамент». Навязчивое стремление групп именовать себя «международными» словами объясняется, надо полагать, затаенной надеждой на мировую славу.

Между тем, к Москве неотвратимо приближалось Крупное Событие: XII Международный фестиваль молодежи и студентов. Первые признаки реабилитации: меня пригласили в дирекцию культурной программы Фестиваля, сказали, что ценят, как специалиста, и попросили помочь в работе «Мастерской поп-музыки». Нетрудно было понять тревогу организаторов: с советской стороны в «Мастерской» были представлены, в основном, официальные пожилые композиторы, которые вряд ли смогли бы найти общий язык с западными панками или растафариями. С первого же дня работы «Мастерской» стало ясно, что это полная тоска и казенщина; «проблематичные» иностранцы там вообще не собирались показываться, и я с чистой совестью совершил побег из музыкального центра.

В городе было намного интереснее. Несмотря на титанические усилия по организации и координации, там творился настоящий бедлам. Десятки концертов каждый день, противоречивая информация... «Культурного шока», как в 1957-ом,

конечно, не произошло, — но все равно, было много нового и интересного. То, что мы знали, в лучшем случае, из видеозаписей, здесь предстало «живьем». Многие концерты были закрытыми*, и проходили в неполных залах, однако все главные рок-группы фестивалю дали, по крайней мере, по одному шоу под открытым небом для неогранизованной аудитории. К удивлению и неожиданной радости для иностранных комсомольцев, атмосфера повсюду была очень миролюбивой. Случился, кажется, единственный инцидент — когда во время выступления югославского «хэви метала» «Biclo Dugme» толпа в парке Горького снесла ограждение, и концерт был остановлен. В целом же, все проходило под знаком спокойного любопытства, некоторой официальности и оживленного обмена сувенирами.

«Mystery in Roots» оказались первым настоящим реггей-бэндом в Советском Союзе. Всамделишные растаманы с «косичками» и в вязанных шапочках, они совершили ритуальное раскуривание «трубки» на Красной площади и были очень горды этим. Все концерты «Mystery» заканчивались массовыми танцами, что совершенно не в традициях нашей заторможенной публики. Второй британский ансамбль, привезенный энергичным импресарио (а сейчас и «культурным» рок-певцом) Ником Хоббсом, «Everything but the girl» был по-английски стильным и скромным, не имел шумного успеха, но был оценен музыкантами. Бену и Грейм не повезло на их «открытом» концерте — после нескольких песен пошел дождь — зато их пару раз показали по первой программе, и «Мелодия» сразу же после фестиваля выпустила сингл... До сих пор непонятно — бутлег это или нет?

Самыми «горячими» точками фестиваля были кубинский и финский национальные клубы. У кубинцев ночи напролет шли танцы под аккомпанемент потрясающих оркестров «salsa». Финны не только скупили пиво в валютных магазинах по всей Москве**, но и привезли самую внушительную рок-делегацию из всех — порядка десяти групп всех направлений и даже женский феминистический квартет... Легендарным аттракционом, который здесь вспоминают по сей день, были «Sielun Veljet» — четверо абсолютно необузданных парней с торчащими вверх и убранными цветами косичками. Их музыка и шоу — являли собой смесь лунатизма, секса и брутальности. Они носились по сцене, как бешеные, не глядя, кидали инструменты (которые тут же ловили бдительные техники), раздевались и ныряли в публику, облизывали сверху доверху стойки микрофонов — и все это в мощном ритме. Многие гнусные трюки были за пределами того, что я видел на

* «Гран-при» в этом году получил «Kavalan» — легковесное коммерческое перевоплощение «Konkor». Петер Волконский представил комическую рок-оперу «Зеленое яйцо» с участием «всех звезд». Паап Кылар и трое коллег-ударников сыграли «индустриальную» программу в стиле «хэви-металлолом». Было довольно весело... Впрочем, все это я потом посмотрел в видеозаписи.

* То есть допускались только люди с пригласительными билетами или фестивальной аккредитацией.

** К тому времени в стране уже были введены ограничения на продажу алкоголя — и на фестивале практически действовал «сухой закон».

видеокассетах, а «живьем» это смотрелось просто ошеломляюще. Самым сюрреалистическим опытом фестиваля было выступление «Sielun Veljet» на сцене чопорного Государственного театра эстрады, с его красными атласными штормами и позолоченными виньетками. Самый шокирующим фактором, однако, было то, что эти ребята обладали такой энергией и раскрепощенностью, какая нашим музыкантам и не снилась. «У нас это просто невозможно», — сказал озадаченный Крис Кельми (экс — «Высокосное лето» и «Автограф», а в то время лидер «Рок-ателье», группы театра Ленкома) — и не потому даже, что «запрещено», а потому что мы так не сможем...» Н-да...

Другие факты настраивали на более оптимистический лад. Польская «группа № 1» «Lady Pank», незадолго до того заключившая контракт и выпустившая альбом на «МСА», оказалась претенциозной, но довольно слабой командой, на уровне наших средних профессионалов. Главная звезда фестиваля, Удо Линденберг из ФРГ, был о'кей, но я не сказал бы, что он заметно лучше своего похожего на него Гунара Грапса... Наш рок был представлен на фестивале спокойными «филармоническими» ансамблями («Автограф», «Машина времени» и т. д.), но даже они выдержали конкуренцию. Первая крупная «очная ставка» советского и мирового рока закончилась обнадеживающе... Не такие уж мы и отсталые и забытые, как сами часто про себя думаем.*

Фестиваль закончился фейерверком и факельным шествием, но жизнь продолжалась. Медленно, но верно раскручивалась пружина «перестройки». Самые заметные изменения происходили в экономике, сфере «public relations», в составе административного аппарата. В промышленности и сельском хозяйстве начались реформы и эксперименты; стало интереснее читать газеты, повсюду заговорили о «гласности»; сменилось множество министров и прочих руководителей высшего эшелона; стиль контактов администрации с людьми стал более открытым и демократичным.

Культурное руководство явно находилось в состоянии растерянности и оцепенения. Душить рок по-прежнему они уже никак не могли в силу четырех обстоятельств. Первое: в политических заявлениях партии постоянно говорилось о необходимости реалистичного и неформального подхода к молодежи, изучению ее вкусов и настоящих потребностей, поощрения инициатив — а рок здесь играл одну из первых ролей. Второе: ряд тем (коррупция, наркомания, фарцовка), бывших ранее табу и за освещение которых рокерам здорово доставалось, теперь оказались вынесенными на полосы центральных газет. Третье: в почете теперь была не только критика, но и возможные экономические рычаги, понятия прибыли и рентабельности — а в коммерческих преимуществах рока можно было не сомневаться. Четвертое: монументальная антиалкогольная кампания подразумевала

* Боб Дилан был «большой белой надеждой» фестиваля, но надежда не оправдалась. Он выступил только в одном большом официальном концерте, где спел две или три песни (включая «Blowing in the Wind»), и затем исчез в кругах культурной элиты. Кажется, он затем поехал в Грузию и Одессу... Его разыскивали, в надежде встретиться, «духовные дети» — Гребенщиков и Макаревич — но безуспешно. Дилан послужил кому-то другому.

создание альтернатив «молодежному» пьянству: клубов по интересам, дискотек, концертов и прочих форм «трезвых» развлечений — и опять рок был неизбежен.

Однако все прежние культур-чиновники находились еще на своих постах и не спешили действовать. Понятия «инициатива» и «предприимчивость» были для них равнозначны опасному авантюризму, и единственное, чему они были готовы подчиниться — это «приказу свыше». Пока из Центрального Комитета партии не поступало никаких указаний конкретно о рок-музыке, вся эта повязанная галстуками бюрократическая братия топталась на месте в тайной надежде, что все останется по-старому, и им удастся сохранить свои теплые кресла. Из-за этого в подвешенном состоянии находился и московский рок-клуб, который теперь получил официальное наименование «Рок-лаборатория». Ни одна из городских организаций — комсомол, профсоюзы, управленческие культуры — не решалась взять на себя всю ответственность, поэтому у «лаборатории» не было ни статуса, ни крыши над головой, ни даже руководства — только список из сорока групп, которые в ней как бы участвовали...

Тем не менее, атмосфера была уже не та, что год назад: в городе начались концерты и какие-то странные, но очень занятые мероприятия, где рокеры участвовали в «тусовке» (об этом слове — ниже) наряду с авангардными поэтами, художниками концептуалистами, брейк-дансерами и изобретателями новых философий. Представители «альтернативных искусств» демонстрировали невиданную доселе сплоченность и деловую активность. Все говорили о клубах и объединениях. Художники «дикого стиля» малевали декорации для рок-групп. Поэты «метафористы» выкрикивали свои строчки под стон саксофонов и кастриольный бой фри-джаза. В Москве — как много раньше в Ленинграде — начала складываться богемная община.

Мне кажется, что настроение каждого периода точно передают «ключевые» слова жаргона. Например, в беспечное время начала 80-х главным понятием было «кайф». То есть блаженство, радость. «Ребята ловят свой кайф» — так называлась знаменитая песня «Аквариума» и моя первая статья об этой группе (1981). Затем самым характерным и популярным термином стало словечко «облом»: нарушенный кайф, неприятность, неудача... «Везде крутой облом», — пел Майк в «Blues de Moscow». Что же до нынешнего переломного этапа, то королевой слэнга стала «тусовка». «Тусовка» — это значит «что-то происходит», это какая-то суэта и деятельность, может быть, совершенно бесполезная — но обязательно модная и интересная. Вопросы дня: «Где сегодня тусовка?» и «Что за тусовка?» (то есть, кто именно выступает, или представляет картины, или справляет свадьбу в «диком стиле» и т. п.)

Рок-тусовка дошла до апофеоза в начале января 1986 года, обернувшись первым фестивалем «Рок-лаборатории». В небольшом помпезном зале одного из Домов культуры собрались все лучшие московские любительские группы — и их оказалось не так уж мало. Даже ревнивые коллеги из ленинградского рок-клуба, которые специально приехали в количестве человек тридцати, были под впечатлением — несмотря на ужасную Р. А.

К счастью, все старые знакомые не толь-

ко выжили, но и остались вместе. Жанна Агузарова вернулась из тайги еще летом, поступила в музыкальное училище и продолжала теперь петь с «Браво». Их образ нисколько не изменился и обаяние новизны немного поблекло. Зато за спиной была правдивая легенда. Их новый хит начинался со слов: «Облейте мое сердце серной кислотой...». Жанна продолжала перетряхивать гардеробы всех своих знакомых в поисках костюмов для сцены. Я отдал ей свой детский карнавальный фрак, шитый золотым орнаментом, и старомодные лыжные брюки.

«Центр» сыграл последний концерт со своим прекрасным «гаражным» гитаристом Валерой Саркисяном. Василий Шумов выпроводил его из группы со словами: «К сожалению, ты стал слишком хорошо играть...» Их новую песню «Признаки жизни» я бы выбрал в качестве символа фестиваля и всей ситуации. Длинное тягостное повествование о тупом быте, нелепых мечтах и неврозах неожиданно перерастает в очень короткий, но очень страстный финал:

«Нервы как-то привыкли
К снотворному порошку.
Но — даже в клетке
Пантера готова к прыжку.
Ис-че-зает Венера!...
Появляются птицы! —
Признаки жизни!!
Да! Да!»

«Звуки Му» были вне конкуренции. Они стали лучше играть и не так злоупотреблять алкогольной тематикой. Это было одно из немногих выступлений, где они спели свою самую сильную и суггестивную песню — «Консервный нож»: о парне, которого не стало (самоубийство? пьяная драка?...) и от которого не осталось ничего, кроме имени «КОЛЯ», вырезанного на кухонном столе. Любимцем публики был «Серый голубь»:

«Я грязен, я тощ, моя шея тонка
Свернуть эту шею не дрогнет рука
у тебя-а-а...

Я самый плохой, я хуже тебя
Я самый ненужный, я гадость, я дрянь —
— ЗАТО Я УМЕЮ ЛЕТАТЬ !!!

— в этом патетическом месте Петр Мамонов делал неповторимые и неопируемые движения — что-то среднее между имитацией полета птицы и болтанием висельника в петле — и зал просто рыдал от восторга. Все эти антисоциальные уроды и таланты подполья со стоящими волосами и серьгами в ушах чувствовали себя «серыми голубями» — грязными, уязвимыми, но гораздо более «высокими», чем благополучные молодые люди...

На фестивале выступило и несколько новых групп, создавших себе некоторую репутацию летом и осенью. «Бригада» по коммерческому потенциалу уступала только «Браво»: четко играющая «новую волну» и буги группа с развязным и агрессивным шоуменом Игорем Сукачевым, чей «хамский» образ подчеркивается натурально бандитской физиономией. Они выступали последними и закончили фестиваль, распевая хором со всем залом навязчивый припев:

«Моя маленькая бэби, побудь со мной!
Моя маленькая бэби, я твой
плэйбой!»

Глупо, но весело.

Группа «Николай Коперник» обнаружила редчайшее сочетание безупречного грамотного «музыкантства» и свежих идей. Я давно с прискорбием отметил, что если у нас какой-нибудь рок-люби-

ВИЛНИС ЗАРИНЬШ

ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

Основоположником расизма нового времени был французский аристократ граф Жозеф Артюр де Гобино. В 1854 году вышла его книга «Эссе о неравенстве человеческих рас». Автор объявил все исторические события взаимоотношениями и борьбой рас, их неодинаковыми способностями к созданию культуры. Расовая теория Гобино широко использовалась правящими кругами европейских стран для оправдания колониальных захватов и порабощения других народов. Если сравнить эссе графа с розенберговским «Мифом», можно заметить известное сходство между ними в изложении материала, особенно в части, касающейся древней Персии, Греции и Рима, хотя это и не прямой плагиат.

По свидетельству Поля Валайе, опубликованному в Париже в 1935 году, Гитлер вряд ли дал себе труд прочесть книгу Гобино. Фюрер был поверхностным читателем, и трудно предположить, что он стал бы продираться через два толстенных тома, написанных к тому же тяжеловесным стилем и отнюдь не предназначенных для широкого читателя.

Основной тезис работы Гобино был, конечно же, совершенно абсурдным, в обоснование своих взглядов он часто ссылался на Библию и другие ненаучные источники (доказывая, например, что Адам был родоначальником белой расы), но граф, несомненно, был широко образованным человеком, к тому же чрезвычайно усидчивым, и проштудировал под углом зрения своей ошибочной концепции большую часть накопленной к середине XIX века литературы по антропологии, этнографии и языковедению. Образ мыслей и система аргументации немецких фашистов были совсем иные. Есть еще одно различие. Расизм Гобино в целом не носил антисемитского характера. Хотя семитов на своей шкале полноценности рас он помещал несколько ниже германцев, но все же причислял к белой, следовательно, высшей расе, в то время как финнов, например, ставил на гораздо более низкую ступень — относил к железной расе (см. парижское издание «Эссе» 1884 г., т. I, с. 150).

Гитлеровцам были не по вкусу и утверждения графа, что расовые свойства французов лучше, чем немцев (там же, с. 157), что помеси разных рас обычно отличаются большей одаренностью в искусстве, чем чистокровные в расовом

отношении люди (с. 218). Еще меньше вдохновлял фашистов восторг, с каким Гобино и его эпигоны писали о выдающихся качествах древних финикийцев и евреев, сумевших на скалистом побережье и в пустыне разбить цветущие сады и основать города, достигшие богатства и расцвета (в 1920 г. в Штутгарте вышла вторым изданием одна такая книга — «Учение Гобино о расах. Изложение Пауля Клейнеке»). Надо ли удивляться такому отношению, если ядром расизма в национал-социалистской идеологии был антисемитизм.

Родоначальником расизма национал-социалистского толка не без оснований считают онемеченного англичанина Хьюстона Стюарта Чемберлена. В «Моей борьбе» Гитлер с большим уважением отзывался (с. 296) о Чемберлене как теоретике. То был один из первых идеологов германского империализма. В своей книге «Воля к победе» (Мюнхен, 1918) он объяснял неудачи немцев в мировой войне тем, что нити политической жизни Германии находятся в руках биологически неполноценных и малосимпатичных людей.

Ни одна расовая теория, включая расово-антропологическую школу Гобино-Чемберлена и К°, не является научной (не путать с расоведением — разделом научной антропологии). История не раз доказывала, что представители любой расы, любого народа могут достичь вершин человеческой культуры и внести вклад в ее прогресс, и нужны для этого «всего лишь» благоприятные условия физического и умственного развития личности, причем с самого раннего детства. Это не отрицает, разумеется, большой роли наследственных факторов в жизни человека; в той или иной области человеческой деятельности вундеркинды часто, хотя и необязательно, рождаются у соответствующим образом одаренных родителей. Но и чрезвычайно одаренные, и малоспособные люди встречаются среди любой расы, среди любого народа.

В своих расовых теориях немецко-фашистские идеологи опирались на грубую фальсификацию фактов, как это имеет место и сегодня в правящих кругах ЮАР. Эти идеологи фальсифицировали саму исходную посылку расоведения, объявив человеческие расы отличными друг от

друга биологическими видами. Природа, писал Гитлер, стремится к чистым видам и расам и не терпит бастардов (здесь: детей от разнорасовых, разнорасовых браков). Бастарды, мол, по большей части погибают, вымирают или же не оставляют потомства («Моя борьба», с. 442).

Эти фальсификации легко опровергаются фактами. Самый смешанный в расовом отношении район земного шара — Латинская Америка. Разнорасовые, метисные браки тут будничное дело. Естественный прирост населения на 1000 жителей намного выше, чем в сравнительно расово-однородной Европе. Причина высокой рождаемости, конечно, социальная, а не биологическая, но этого никогда бы не было, будь прав Гитлер.

Нацисты подразделяли расы на высшие и низшие. При рождении большого числа бастардов от расово смешанных пар не исключено, по мнению Гитлера, появление новой расы, которая, однако, по уровню своего развития всегда будет стоять ниже, чем высший ее источник. Согласно концепции теоретика расизма Адольфа Гюнтера, опубликованной им в книге «Расовая идея в борьбе мировоззрений нашей эпохи» (Берлин, 1940), расы будто бы ведут непрерывную борьбу за самосохранение и возможность своего размножения. Все политические и идеологические схватки — это более или менее замаскированные проявления расовой борьбы. Соперничество рас может быть честным, если его признают и не утаивают, или грязным, когда его отрицают и пытаются перенести на какую-либо другую область, не имеющую, на первый взгляд, ничего общего с расовым вопросом или, скажем, стремятся завуалировать борьбу так называемым «мировоззрением» (с. 15). Естественно, утверждал Гитлер, правление сильного, а не смешение его со слабым («Моя борьба», с. 312).

Германские фашисты не предложили никаких объективных критериев разделения рас на высшие и низшие или более дробного. Оно и понятно: подобная классификация обнажила бы глиняные подпорки всей этой, с позволения сказать, теории, всех этих произвольных допущений, спекулятивных построений, которые были сформулированы ради достижения определенных политических

целей и никак не отражали объективные закономерности.

Как бы ни была удобна сия доктрина для оправдания и обоснования якобы с научной точки зрения аморальных действий, в практических делах она «не работала». Поэтому наряду с официальным идеологическим фасадом, перед которым всем работникам аппарата фашистской Германии надлежало изъяслять лицемерный восторг, словно придворным голого короля из андерсеновской сказки, существовали и чисто эмпирические методы решения практических проблем, и с официальной идеологией они считались лишь в той мере, в какой было нужно, чтобы избежать скандала. Эти методы зиждились на вековом произволе удельных князьков из числа чиновничества и высшего офицерства, на порожденных условиями традиций, кастовом духе и проч. Попытки составить официальную иерархическую таблицу расовой полноценности были бы чреватые для фашистской Германии бесконечными внешнеполитическими осложнениями. Ведь, соперничая с другими европейскими странами, например с Англией, жителей которой Гитлер причислял к полноценным в расовом плане людям, Германия заключила союз с Италией и Японией, чье население нацисты наделяли гораздо менее ценными в их понимании расовыми качествами.

Гитлеровцы сознавали, а может быть, чувствовали, что попытка вывести расистские тезисы путем научной индукции обречена на провал — мешают факты, и всякая теоретическая последовательность в этом вопросе или оборачивается абсурдом, или доставляет массу практических неудобств. Отсюда стремление изъять расовый вопрос из рациональной плоскости и перевести его в сферу инстинктов. Для этого понадобилась глубокомысленная словесная эквилибристика.

Уже упоминавшийся А. Гюнтер заявлял, что возможно мышление по поводу и о расе (*um und über die Rasse*), допускающее известное отвлечение от понятия расы и чисто теоретическую, а то и критическую установку в этом вопросе. Напротив, национал-социализм требует погруженного в расу мышления (*in der Rasse*), позволяющего постичь расу не разумом, а ощутить ее в крови, и становящегося непосредственным мотивом действий и поступков. Отсутствие этого мистического, неизъясимого чувства расы Гюнтер сравнивал со слепотой, невозможной никаким теоретическим образованием.

Единственной расой, способной к творению культуры, Гитлер считал арийцев. Фактически такой расы никогда и не существовало. Если ариец — это синоним европеоидного типа человека, как можно порой заключить из национал-социалистских трактатов, то этот тип, надо сказать, возник в результате смешения нескольких рас и в антропологическом смысле неоднороден.

Среди арийцев нацисты возносили на пьедестал северную, или нордическую, расу, но нередко употребляли термины «арийцы» и «северная раса» как синонимы. Гитлер обычно говорил об арийцах, Розенберг и Дарре — о северной расе. Высокие врожденные качества позволили, мол, этой расе стать творцом культуры всех эпох во всех частях света.

Вся мировая наука, искусство, техника и открытия, учили немецкие фашисты, —

продукт творчества немногих народов и, скорее всего, первоначально одной расы. От арийских народов зависит и существование этой культуры, и с их гибелью все прекрасное в мире уйдет в небытие.

Ариец, согласно воззрениям Гитлера, — это Прометей человечества, светлый ум которого во все времена высекал божественные искры гениальности, из коих постоянно возгоралась пламя, освещающая факелом истины безмолвную таинственную ночь и давая возможность людям стать выше других существ, сделаться их властителями («Моя борьба», с. 317). Прочие расы, японцы например, в лучшем случае могут перенять созданную арийцами культуру, без постоянного влияния арийских народов развитие Японии быстро заглохло бы (с. 318).

Арийцы, в представлении германских фашистов, стройные, сильные, хотя и не чрезмерно мускулистые, блондины с голубыми глазами. Впрочем, ведущие наци весьма в малой степени соответствовали этому расистскому идеалу: Гитлер был темноволос, Геринг — тучен, Геббельс — коротышка и хилек, а фамилию Розенберг носят многие евреи. Французские публицисты в тридцатые годы язвили по этому поводу, что если соединить блондинистость Гитлера, худощавость Геринга, физическую силу Геббельса и фамилию Розенберга, получится портрет идеального арийца.

Два слова о происхождении вождя немецкого народа. До прихода фашистов к власти мюнхенский специалист по расовой гигиене, тайный советник профессор Грубер обозвал Гитлера бастардом с плохими расовыми свойствами, и не где-нибудь, а печатно, в газете «Эссенская народная вахта» (9 ноября 1929 г.; этот факт приводится в книге Вернера Мазера «Ранняя история НСДАП»). Те, кто называл Гитлера бастардом, обычно указывали на то, что отец его Алоиз Шикльгрубер-Гитлер (1837—1903) был внебрачным ребенком Марии Шикльгрубер (1795—1847), прислуги в богатом еврейском доме Франкенбургеров в Граце; после рождения Алоиза она получала от Франкенбургеров алименты. В 1842 году Мария Шикльгрубер вышла замуж за пришлового мельника подручного Иоганна Георга Гидлера (*Hiedler*, 1792—1857), который все же упомянутого сына своей жены не узаконил, и та продолжала получать алименты от Франкенбургеров. В 1876 году 39-летний Алоиз Шикльгрубер, спустя 29 лет после смерти своей матери и 19 лет после кончины отчима, законным порядком записался сыном этого отчима благодаря свидетельству брата новообретенного отца Непомука Гидлера, подтвержденному тремя неграмотными крестьянами, которые вместо подписей поставили крестики. Католический священник Цанширм, оформивший эту легитимацию, вычеркнул в Алоизовом свидетельстве о рождении фамилию Шикльгрубер и вписал другую, но не Гидлер, а Гитлер (*Hitler*).

Вернемся, однако, к нашим арийцам. Великих достижений в культурной области они добились, используя покоренных людей низших рас а также одомашненных животных («Моя борьба», с. 322). Подчинение себе людей низших рас произошло, по Гитлеру, до одомашнивания скота. Именно там, где арийцы покорили низшие расы, превратив их в технический инструмент реализации своей во-

ли, и возникли первые очаги культуры.

Все эти тезисы свидетельствуют лишь о незнании или пренебрежении элементарными историческими фактами, так как в основном домашний скот был приручен задолго до появления классового общества, а рабовладельцы и рабы обычно принадлежали к одной и той же расе. Древние германцы, которых нацисты изображали солью рода человеческого, вступили в соприкосновение с культурой средиземноморских народов вначале как рабы, а затем как ее разрушители.

Покорение и порабощение других рас и народов изображалось непременной предпосылкой культурного развития отнюдь не случайно — это было связано с планами германского империализма по завоеванию или уничтожению других народов. Псевдонаучная расовая теория служила целям отвращения масс от реальных хозяйственно-политических проблем. Расизм был одним из средств, с помощью которого нацисты внедряли в массы психологию «грозящей опасности», «надвигающейся катастрофы». Они внушали народу, что «арийская раса», а значит вся человеческая культура, на краю пропасти, и только строжайшая дисциплина и ряд чрезвычайных мер могут спасти от гибели.

Арийцы, уверяли национал-социалисты, обладают прекрасным характером — не эгоисты и всегда готовы на жертвы во имя общих интересов, готовы личное (свою жизнь) подчинить общественному. Но тут-то и таится, мол, злая опасность. Чрезмерная терпимость к низшим расам и недостаточное отчуждение от них привели к тому, что арийская кровь осквернена, она смешалась с кровью низших рас («Моя борьба», с. 325). Печальный тому пример — Индия, где смешение ариев со смуглыми расами прекратило какое бы то ни было культурное творчество («Миф XX века», с. 30—31).

Оставшиеся в Европе арийцы, то есть представители северной расы, многое утратили из бывшей расовой полноценности, так как смешались с малоценными расами. Кто же сознательно и умышленно споспешествовал расовому упадку арийцев? Евреи. Это они распространяли в Европе идеи либерализма и боролись со здоровыми предрассудками насчет межрасовых браков.

Проследить, как немецкие фашисты использовали расизм для рапространения в обществе ощущения надвигающейся угрозы, можно на примере пессимистических высказываний А. Розенберга о будущем северной расы. Носители западной культуры, плакался Розенберг, должны смириться с ужасным выводом — они стоят перед последним и решающим выбором. Или им уготовано восхождение путем возрождения в новом качестве и облагораживания изначальной крови (*durch Neuerleben und Hochzucht des uralten Blutes*), роста воли к борьбе и самоочищению, или же последний оплот германско-западных ценностей, способных к порождению культуры и государственности, исчезнет в мутном людском море больших городов, коржась на раскаленном бесплодном асфальте звероподобной бесчеловечности, либо бактериями болезненного состояния рассеются (*versickern*) в бастардизированных переселенцах Южной Америки, Китая, Голландской Индии и Африки («Миф XX века», с. 82).

Пропагандированный нацистами расизм острием своим был направлен против евреев. И тут наци не было оригинальностью. Как и разжигание всякой национальной розни, антисемитские кампании травли и еврейские погромы не раз приходили на выручку реакционерам Европы, когда надо было отвлечь внимание масс от социальных болячек и революционной борьбы, направить их энергию по иному руслу.

Разжигание вражды к населению других стран было чревато внешнеполитическими осложнениями и потому брались на вооружение правящими кругами лишь в условиях роста международной напряженности, при подготовке к войне. А вот антиеврейские кампании постоянно были подручным средством для реакционеров всех мастей, которое использовалось правительствами и политическими группировками в периоды повышенной политической активности масс. Тут и дело Дрейфуса во Франции (облыжно обвинялся в шпионаже в пользу Германии), и дело Бейлиса в России (привлекался к суду по ложному обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика), и бесчисленные организованные погромы в разных странах.

В нашу задачу не входит рассмотрение еврейской истории и социальных либо психологических корней антисемитизма. Укажем только, что в Европе, как и во многих регионах мира, социальные различия в общественном разделении труда (особенно в средние века) часто переплетались с национальными или религиозными. Еврейские общины, существовавшие в целом ряде европейских городов с начала нашей эры, играли заметную роль во многих ремеслах, торговле, финансах и ростовщичестве. Многовековые традиции торговцев и ростовщиков, междугородные и международные связи, древняя культура, солидарность и суровая дисциплина внутри общины — всё это превратило евреев в существенный фактор хозяйственной жизни Европы, особенно в период первоначального накопления капитала.

Евреи не были единственным меньшинством, представители которого специализировались на посреднических сделках. В докапиталистических формациях и в раннем периоде капитализма концентрация торгово-финансовых операций в руках представителей одного или немногих народов — явление обычное. В бассейне Средиземного моря подобные посреднические функции выполняли также финикийцы, греки, позднее армяне и торговцы ряда городов Италии, в Индии — парсы (потомки выходцев из Ирана), в средневековых странах побережья Индийского океана — арабы. В нашем веке местная торговля в Западной Африке в большой мере сосредоточена в руках сирийцев, в Восточной Африке — индусов, в Индонезии — китайцев. На острове Реюньон, где большинство населения — метисы белой, желтой и черной рас, процветает торговля, которая находится почти целиком в ведении китайцев, а продажа тканей — в руках мусульман Индии, выходцев из западной части этого континента и с территории Пакистана. В отличие от представителей других профессий, указывает французский коммунист Пьер Дюран в статье «Когда боги живут семьей», пятой из серии статей «Юманите», 12 октября 1966 г.), посредники мало ассимилируются другими группами населения.

В отношениях этих посредников из числа наименьшинств с коренным населением соответствующих африканских, азиатских и ряда других стран мира много сходного с положением евреев в Европе прошлых веков. Представляя в концентрированной форме общественные силы, отчужденные от конкретного человека, действующие независимо от него и нередко вопреки его интересам, эти нацменьы неоднократно сталкивались с теми же проблемами, что и евреи Европы.

Надо заметить, что и немцы в некоторых странах, и прежде всего Восточной Европы, тоже были меньшинством, выполняющим специфические социальные функции, правда, иные, в иной плоскости общественного разделения труда, нежели евреи. И они тоже почти что не ассимилировались в ходе столетий, главным образом ввиду этих социальных различий.

Целый ряд объективных факторов способствовал распространению в общественных слоях различных европейских народов антисемитских настроений. В условиях первоначального накопления капитала посреднические функции тесно связаны с усилением феодальной и капиталистической эксплуатации и, естественно, народным массам несимпатичны. Положение осложнялось множеством приводящих и случайных обстоятельств — в периоды хозяйственного упадка социальная потребность в посредниках резко уменьшается, однако традиции еврейской общины препятствовали переквалификации ее членов. Свое значение имели и контакты еврейских богачей с правящими кругами. Весьма существенным фактором следует считать стремление молодой буржуазии европейских наций освободиться от конкурентов, тут уж все средства хороши, включая пропаганду антисемитских взглядов.

Антисемитизм и расизм имеют ряд чисто психологических корней, почти всегда это невежественность, впитанные с молоком матери предрассудки, различные психические травмы и психозы, обзор которых выходит за рамки данной статьи.

В Германии первой половины XIX века антисемитизм служил орудием реакции в ее борьбе с идеями демократии и либерализма, среди выразителей которых было много евреев. К концу столетия антисемитизм превратился в демагогическое средство натравливания масс на передовых рабочих, так как среди видных деятелей германского рабочего движения опять-таки было немало евреев (см. статью В. Хейзе «Антисемитизм и антикоммунизм в «Немецком философском журнале», 1961, № 12, с. 1424).

В идеологии и аргументацию антисемитизма гитлеровцы навряд ли внесли что-то новое. В этом аспекте для немецкого фашизма характерно другое — официальное благословение погромной пропаганды. Если прежде антисемитизм пропагандировали отдельные продажные публицисты или психически неуравновешенные люди, находя благодарную аудиторию главным образом среди подонков общества, то в фашистской Германии антисемитской травлей и устройством погромов занимались во всех слоях общества, начиная с самого Гитлера и членов его правительства и кончая люмпен-пролетариями и уголовниками. Это лиш-

нее подтверждение того, что обнаруженное К. Марксом в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» выдвигание люмпен-пролетариев на верхние этажи буржуазного общества в период правления Наполеона III отнюдь не было чисто французским явлением. Разумеется, немецким люмпенам после первой мировой войны были присущи несколько иные пороки, чем парижской «богеме» середины XIX века, в том числе антисемитизм.

Нацистский антисемитизм произрастал не только на германской почве. Заметная роль в разжигании погромных настроений, особенно в первые послевоенные годы, принадлежала эмигрантам из числа русских монархистов, чей традиционный антисемитизм отнюдь не уменьшился в результате проигранной белогвардейцами гражданской войны. Об этом хорошо сказано в труде Жана де Панжа «Германия со времен французской революции 1789—1945», вышедшем в Париже в 1947 году.

Трудно отыскать такой порок или дурную черту характера, которые бы нацисты не приписывали всякому без исключения еврею. Не вдаваясь в подробности, упомянем только наиболее типичные попреки. Во-первых, евреев награждали всеми теми пороками, которые в период первоначального накопления капитала были присущи многим европейским купцам и финансистам без различия национальности. Эти черты широко отражены в художественной литературе XVII—XIX веков. Гитлер в «Моей борьбе» именно евреев обвинял в эгоизме, неспособности к самопожертвованию, лживости, стремлении наживаться за чужой счет, жестокости, уклонении от трудностей и тягот физического труда и т. п. Во-вторых, еврейским проискам Гитлер и его единомышленники готовы были приписать все беды, которые когда-либо сваливались на немецкий народ в пору развития капитализма и эпоху империализма. Еврей, мол, организуют капиталистическое выжимание соков из рабочих, евреи разрушают истинно народное хозяйство и поощряют акционерные общества за счет индивидуальных собственников, что порождает отчужденность и классовую вражду между работодателем и наемным работником, евреи науськивают рабочих на существующий строй. До того как эти евреи проникли во все поры хозяйственной жизни Германии, в стране социального вопроса вообще не существовало, хозяева и работники жили дружно, делили одно дело и питались из общего котла. Для подрыва германского хозяйства и vitality немецкого народа евреи используют финансовые ресурсы всего мира, коррупцию, проституцию, порнографию и бульварную прессу.

В-третьих, евреи обвинялись в том, что они подрывают основы морали и культурной жизни немецкого народа. Кто протащил в придворный уклад германских курфюрстов мерзкие пороки, которые расплозились отсюда по телу всего общества? Евреи. А гуманизм, демократия и марксизм, масонство, язык эсперанто? Еврейские штучки. В искусстве евреи — презренные плагиаторы, которые уродуют естественное чувство красоты («Моя борьба», с. 332, 337, 340—341, 345, 350, 351, 358, 420).

Излюбленный прием всех погромщиков — переносить главную тяжесть обвинения из рациональной сферы в чувственную, подмешивая эротику, —

широко использовался и германскими фашистами.

Осквернение арийской крови, завляли нацисты, — вот чудовищное оружие в руках евреев, оружие, обращенное против всех народов Европы. Пропаганда идей либерализма и межрасовых браков — уловка, с помощью которой евреи тщатся бастардизировать население Европы, перемешать его с низшими расами, особенно с неграми. С целью осквернения арийской крови евреи нередко выдают замуж за арийцев своих дочерей, а также соблазняют арийских женщин и девушек, но при этом всегда блюдают чистоту мужской линии своей расы и почти никогда не женятся на христианах (там же, с. 346, 357, 704—705).

Для обоснования этих и тому подобных обвинений идеологи нацизма особо не напрягали ум. Они прибегали к извечному приему всех фальсификаторов — из одного или нескольких фактов делать далеко идущие выводы, а из сделанных произвольных умозаключений, в свою очередь, путем простой дедукции выводить другие, не менее произвольные заключения. Просто и не надо изощряться!

Самый тяжкий упрек евреям, выдвигавшийся национал-социалистами, — это обвинение в подготовке мирового заговора с целью порабощения других народов; в каждой стране евреи представляют собой государство в государстве и это еврейское государство не имеет границ. И тут умысел состоял опять же в том, чтобы породить в массах психоз грозившей опасности.

11 сентября 1936 года А. Розенберг писал в «Фелькишер Beobachter», что, подло пользуясь гостеприимством европейских народов, евреи — этот чуждый им народ-паразит — организуют мировую военно-политический заговор против арийцев и вовлекают в эту борьбу за свои корыстные интересы отчаявшихся людей, а также дегенератов.

Многие свои агрессивные внешнеполитические акции нацистская пропаганда изображала как меры защиты от мифического еврейского всемирного заговора. Еще один прием — приписывать евреям собственные планы и методы их достижения, особенно в разведывательной работе. Ближайшим сотрудником Гитлера иначе объяснял свою антисемитскую политику: в мире, говорил он Герману Раушнигу, не может быть двух избранных народов (Г. Раушниг. Гитлер мне говорил. Париж, 1939, с. 269). Для широкого круга предназначалось другое обоснование: «Сей мир движется навстречу великому перевороту, — растолковывал автор «Моей борьбы», — вопрос только в том, станет ли это благословением для арийского человечества, или же обернется выгодой для вечного жида» (с. 475).

В доказательство существования еврейского заговора с целью завоевания мирового господства национал-социалисты ссылались на известную фальшивку — Протоколы сионских мудрецов, составленные в недрах царской охранки. «Подлинность» протоколов Гитлер доказывал просто и без затей: газета «Франкфуртер цайтунг» писала, что протоколы поддельные, но этой газете нельзя верить, значит, они настоящие...

9 мая 1943 года Геббельс заявил, что вторая мировая война является войной рас, которую развязали евреи ради уничтожения немецкого народа.

В случае победы евреев, писал Гитлер

в «Моей борьбе» (с. 69—70), человечество начнет исполнять танец смерти, и наша планета снова, как миллионы лет назад, поплывет, безлюдная, в мировом эфире.

Расизм и антисемитизм вовсе не являются столь же обязательной чертой фашистских режимов, как, скажем, культ вождя или национализм. В Италии широкие слои еврейской буржуазии поддерживали фашистский строй, немало политиков еврейского происхождения входило в правительство, а многие радели режиму. Но в конкретных условиях Германии именно расизм оказался наиболее удобным рычагом и средством сплочения молодежи, деклассированных элементов и прочих контингентов общества под фашистским знаменем.

Недаром в узком кругу Гитлер признавался (Раушниг, с. 265), что евреи нужны национал-социалистам как конкретный враг, в борьбе с которым закаляется боевой дух, и что, если бы евреев не было, их следовало бы выдумать. Еврейский вопрос позволил нацистам объединить в одну категорию очень разных и даже совсем противоположных по своим убеждениям и общественному положению противников германского империализма, и это соответствовало установкам Гитлера, который считал, что гениальность вождя в том и состоит, чтобы разнородных противников изображать как о д н о г о врага, ибо, покажи народу нескольких врагов одновременно, и кое-кто усомнится в своих правах («Моя борьба», с. 129).

Воспользовавшись чрезвычайной непопулярностью в народе иностранных капиталистов и доморощенных биржевых спекулянтов, нацисты объявили их воплощением еврейского духа. Другими проявлениями «еврейскости» они провозгласили такие порождения капитализма, как бульварная пресса, проституция, демократическое и рабочее движение, — тут им помогло то, что в первой трети XX века в Германии не было, пожалуй, ни одной области общественной и культурной жизни, где не подвизались бы евреи. Немецкие фашисты сознательно закрывали глаза на важнейшее в этом вопросе обстоятельство, а именно, на то, что германские евреи вовсе не представляли собой к тому времени единую общину — объединявшие их в прошлом традиции старинны; религиозность и иные факторы все более слабели, и решающее значение приобретала принадлежность различных социальных слоев к враждебным по отношению друг к другу классам и враждующим между собой политическим партиям. Потуги нацистов выдвигать исходя из нескольких несущественных признаков понятие «еврейскости» и подвести под него как биржевые спекуляции, так и революционное движение были столь же неосновательны, как попытки изобразить преступления отдельных евреев не порочными наклонностями этих лиц, а зеркалом преступного характера всего народа. Необоснованность построений такого рода доказана еще К. Марксом в «Святом семействе», и здесь нет нужды на этом задерживаться.

Идеологи национал-социализма возводили в абсолют фиктивное противоречие между арийцами и евреями и с порога отвергали возможность любого компромисса. Само существование (Dasein) евреев, уверял Гитлер, есть воплощенный протест против эстетики Божественного подобия (Ebenbild), то есть того факта, что человек сотворен по образу и по-

добию Бога (см. «Моя борьба», с. 196).

В 1935 году законы Германии были изменены в соответствии с расовыми принципами. Пресловутые законы о гражданстве возвели непреодолимый барьер между немецким и еврейским населением страны. Циркулярами от 15 сентября и 14 ноября предписывалось, что евреи не могут быть гражданами Германии, а могут быть только ее подданными, не имеют ни политических, ни каких-либо иных прав (см. «Идея и порядок в империи», т. I. Гамбург, 1941, с. 16 и 17). Находясь у власти, нацисты постоянно и открыто, не таясь организовывали еврейские погромы, с 1938 года — с особым рвением.

В национал-социалистской идеологии нет рецепта положительного решения еврейского вопроса, если не считать фантастических предложений перемещения евреев из Европы на Мадагаскар или в Центральную Африку (о нем рассказывается в документальной книге «Tā rīkojās SS», выпущенной в Риге в 1961 г.) и т. п. На практике гитлеровцы решали этот вопрос одним способом — поголовным уничтожением евреев как в Германии, так и в оккупированных странах.

Политику геноцида в отношении евреев, а также ряда других народов нацистские идеологи оправдывали правом сильного и ссылками на исторические прецеденты. Полемицируя с буржуазными критиками нацизма, теоретик расизма Адольф Гюнтер утверждал, что возмущение противников расовой теории действиями национал-социалистов — чистой воды лицемерие, так как многие расы были уничтожены задолго до возникновения национал-социализма, под прикрытием цивилизаторских лозунгов и даже именем «христианства», причем не по праву сильного, а лучше вооруженного (цит. соч., с. 21).

Евреи были не единственным этносом, которому нацисты объявили войну под дымовой завесой расистских лозунгов. Население всех тех стран, которые были или могли стать в будущем препятствием для германской экспансии, зачислялось в разряд расово неполноценного. Произвольный, конъюнктурный характер этой расовой теории делается прозрачным, когда знакомимся с оценкой соседних с Германией народов, в антропологическом смысле ничем от немцев не отличающихся. Ведь все европейские нации выплывали в горниле разных народов и рас, и каждая из них антропологически представляет собой смешанную и весьма пеструю картину.

К расово неполноценным нацисты очень часто относили славянские народы, для характеристики которых был изобретен специальный термин — недочеловеки (см. «Миф XX века», с. 214). Обосновывался он сплошь измышлениями. Гитлер говорил, что славяне неспособны к созданию оригинальной культуры, не могут основать свои государства и управлять ими («Моя борьба», с. 742—743). Гиммлер публично заявлял, что славяне не в силах строить что бы то ни было и поддерживать порядок, а могут только спорить, разрушать и бунтовать (речь в Познани 4 октября 1943 г.). Русские, заносил на бумагу Розенберг, не способны рождать идеи, имеющие общечеловеческое значение; и... военную авиацию, как бы добавлял Гитлер, беседа с Раушнигом. Особое раздражение вызывал у фюрера тот факт, что славяне более плодотворны, чем немцы. Розенберг с большой тревогой от-

мечает, что после первой мировой войны в СССР ежегодно рождается почти втрое больше детей, чем в Германии, это, на его взгляд, может оказаться решающим фактором в будущих войнах против славян («Миф XX века», с. 594—595).

В начале второй мировой войны, когда правители фашистской Германии уже рвались в тогу победителей, рассуждения нацистских идеологов, равно как и практические действия в отношении народов оккупированных земель, приобрели совершенно бесчеловечный характер.

Между идеологами нацизма по славянскому вопросу было всего одно разночтение: уничтожить эти народы целиком или частично превратить в германских рабов? Большие славянские народы предлагалось расколоть на ряд мелких, делая упор на обособление областей. Некоторые нацистские теоретики планировали отнимать у родителей и передавать на воспитание немецким семьям в Германии светловолосых, голубоглазых и очень одаренных славянских детей. Ради того, чтобы изъять из славянской среды всех энергичных людей, которые были бы способны к организации сопротивления (согласно концепции национал-социалистов, число прирожденных вождей в каждом народе невелико). Онемечивание славянских детей «нордической внешности» теоретически обосновывалось тем, что в прошлые века многие немецкие колонисты селились на землях Восточной Европы. В плане языковом они ассимилировались, а полноценность своей крови сохранили, и теперь надо вернуть фатерланду эту полноценную кровь. 14 октября 1943 года, обращаясь в Бадшахене к руководителям СС, Гиммлер призвал либо отобрать у родителей и воспитать в Германии всех высокоодаренных детей славянского происхождения, либо убить их, чтобы впредь немцам не угрожали гениальные враги.

В жизнь, однако, планы онемечивания славян не проводились — из-за войны и, возможно, разногласий между фашистскими руководителями в этом вопросе. Правда, Гиммлер, по сведениям его биографов Роджера Манвелла и Генриха Френкеля, напечатавших в 1965 году в Нью-Йорке книгу «Гиммлер», единолично относил к нордической расе и передавал на воспитание в Германию многих захваченных светловолосых и голубоглазых детей белорусских партизан, за что подвергся яростным нападкам других нацистских бонз.

Осенью 1940 года оккупационные учреждения Чехии были поглощены планами ликвидации чешского народа. Как отмечается в книге «Третий рейх и его мыслители» (с. 492 и 493), 27 сентября 1940 года Гитлер порекомендовал Франку и другим руководителям оккупационных учреждений ассимилировать большинство чехов, а нежелательных в расовом отношении и враждебно настроенных к Германии людей — уничтожить. 15 октября в соответствии с этими рекомендациями была принята директива о рассеянии по всей Германии и трудоустройстве примерно половины чехов (тех, кто приемлем в расовом и прочих отношениях), остальных — изгнать или ликвидировать каким-либо иным способом, с тем чтобы нигде не было больше плотно заселенной чехами территории.

Большинство славян нацисты предполагали превратить в рабов германского государства, которые трудились бы в сельском хозяйстве и на стройках чер-

норабочими. Образование этих славянских детей следовало ограничить умением считать до 500 и ставить свою подпись. Читать — излишне!

Министерство оккупированных восточных областей во главе с А. Розенбергом, в ведении которого находились занятые фашистами территории СССР, следующим образом формулировало отношение к жителям оккупированных территорий: «Славяне должны работать на нас. Если они нам не нужны, они могут умереть...» Сотрудник рейхскомиссариата Украины Пауль Даргель в датированном 15 марта 1943 года письме к генеральному комиссару Мелитополя Гейнцу Хомейеру советовал обращаться со славянами так, как крестьянин обращается со скотом (см. «Третий рейх и его мыслители», с. 528).

Наряду с планами порабощения славянских народов нацистские лидеры разработали проекты физического уничтожения всех жителей оккупированных советских территорий или по крайней мере тех, кто не будет признан годным к онемечиванию. Об этом сообщается в книге «Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941—1944 гг.)», которая издана в Москве в 1963 году (с. 72). Г. Гиммлер в неоднократно цитировавшейся нами речи перед руководителями СС в Познани 3 октября 1943 года призвал сделать всё, чтобы советские народы истекли кровью, как свиньи. Уничтожение русского народа он провозгласил важнейшей общеевропейской задачей и потребовал убивать при отступлении всех тех жителей — русских, которых нельзя вывезти в Германию в качестве рабочей силы.

В отношении народов Прибалтики национал-социалисты собирались проводить примерно такую же политику, как и в отношении славян.

Нацисты весьма низко ставили и расовые свойства многих других народов Европы. Еще в «Моей борьбе» Гитлер писал о том, что французский народ в ближайшие три столетия превратится в нацию мулатов, населяющих просторы от Рейна до Конго (с. 730). После ухода гугенотов, заявлял Розенберг (цит. соч., с. 101), Франция потеряла лучшую кровь, а Пруссия и Голландия ее обрели.

А. Розенберг призывал к созданию коалиции стран Северной Европы, не допуская переселения на континент представителей других рас, которые ныне толпами дефилируют вдоль Собора Парижской Богоматери. Нагнетая и тут чувство страха, автор требовал выдворить из Европы людей иной расы, или, пользуясь его выражением, очистить Европу, особенно Францию, от болезненных зачатков африканского и сирийского происхождения (с. 103—104).

Германские фашисты провозгласили своей целью обеспечение господства белой расы на земле («Миф XX века», с. 675), но на практике стремились к утверждению владычества немецкого народа и никого более, а точнее, его правящих классов. Они заявляли, что борьба народов Африки за независимость в будущем поставит под угрозу существование белой расы и обращались к европейцам (а также к белому населению США) с призывом изгнать всех представителей иных рас, пока не поздно.

Неприятие семитских народов в трудах нацистских идеологов не знало ни

пространственных, ни временных границ. О разрушении Карфагена тот же Розенберг писал как о великом историческом событии, сожалел лишь о том, что подобная судьба не постигла и другие центры семитских обществ (с. 55). Зато в практической политике национал-социалисты нередко оказывали финансовую помощь арабам (семитский народ) в их борьбе с англичанами (народ германского происхождения).

Что касается желтой расы, то к ней Розенберг и некоторые другие видные нацисты рекомендовали, в порядке исключения, подходить осторожно, с учетом ее громадной потаенной силы. Иначе, мол, оправдывается предвидение Бисмарка, что люди желтой расы будут поить из Рейна своих верблюдов (с. 672—673).

Расовая теория, которую на все лады пропагандировали национал-социалисты, представляла собой угрозу не только для евреев и соседних с Германией народов, но и для значительной части... самих немцев. Как указывает А. Абуш в работе «Ложный путь одной нации» (Берлин, 1947, с. 5), немецкий народ в антропологическом отношении крайне неоднороден. В разные исторические периоды в Германии перебивало множество представителей почти всех европеийских и многих азиатских народов. Живя здесь длительное время или поселяясь навечно, они, разумеется, оставили многочисленное потомство. Вспомним хотя бы древнеримских легионеров, средневековых монахов и студентов, франкских королей, связи монархов из династии Штауфферов с Италией, попытки Габсбургов сблизиться с правящими кругами Италии и Испании, онемечивание западнославянских племен и пруссов, иммиграцию гугенотов и т. п. Не забудем, что в ходе неоднократных войн на территории Германии подолгу задерживались полчища гуннов, турок, венгров, хорватов, испанцев и т. д. и т. п. — представителей почти всех народов Европы.

Впрочем, и Вальтер Дарре писал о немцах как о неоднородном в расовом отношении образовании. Из этого факта он делал вывод, что необходимо усилить среди немцев расовый отбор. Это так же необходимо, как рубки ухода в лесном хозяйстве (см. «Новая знать по крови и земле», с. 180, 183, 184—186).

В конкретной внутри- и внешнеполитической обстановке нацисты не рисковали проводить столь далеко идущие мероприятия среди немецкого народа в масштабах всей страны — война, расовые законы против евреев и потомков от смешанных браков и так доставляли немало хлопот. Поэтому вопрос был отложен под тем предлогом, что всесторонняя оценка наследственных свойств очень трудна и требует много времени. Предварительно следует произвести биологическую инвентаризацию немецкого народа путем исследования качеств как живущих поколений, так и предков, поучал Дарре в 1943 году. (В животноводстве эта процедура носит название бонитировки стада.)

На будущее проектировалось переселение расово неполноценных немцев на территорию генерал-губернаторства (Польша), где бы их приравнивали в правовом отношении к славянам, так как эти немцы, конечно же, являются онемеченными сорбами и веждами. Единственные настоящие немцы те, настаивал Дарре, чьи предки были германцы. Полно-

ценными немцами стали только те переселенцы, которые были людьми чисто нордического типа или по крайней мере носителями крови, обусловленной германской сущностью (entweder rein nordischer Art oder doch Träger eines Blutes, welches vom germanischen Wesen bedingt war). Людьми такого типа, указывал Розенберг, были гугеноты и французские аристократы конца XVIII века. Утверждение столь же туманное, сколь исторически бездоказательное.

Принадлежность к высшей расе, заявляли национал-социалисты, накладывает и большую ответственность. Эта концепция изложена в книге Л. Полякова и Й. Вульфа «Третий рейх и его мыслители» (Берлин, 1959, с. 488—490). Человек высшей расы обязан быть пламенным немецким националистом. Тягчайшим преступлением является, в частности, желание некоторых породнившихся с поляками немцев Польши считать себя поляками и воспитывать своих детей в польском духе. Первейшая задача людей высшей расы — иметь многочисленное расово полноценное потомство. Любое ограничение либо регулирование рождаемости в расово полноценных семьях, изрек Гитлер, заслуживает осуждения («Вторая книга Гитлера. Документ 1928 года». Штутгарт, 1961, с. 51). Эсэсовцы, указывал Гиммлер, — вот источник кадров руководителей во всех областях хозяйственно-политической жизни Германии, в каждой такой семье должно к тому же подрастать еще двое-трое сыновей для ратного дела. Вместе с тем Гитлер одобрял законы древней Спарты, по которым младенцев, не выглядевших крепкими и здоровыми от рождения, убивали (там же, с. 56). Тот, кто не соответствовал национал-социалистскому расовому идеалу, должен был пройти стерилизацию, особенно если это был человек иной расы или рожденный в смешанном браке. Стерилизация стала в гитлеровской Германии орудием террора, геноцида и политических расправ.

А. Розенберг писал, что для улучшения человеческого рода необходимо создать новую аристократию. Немцы причислялись бы к ней на основании расовых признаков и личных заслуг («Миф XX века», с. 596). «Улучшатель человечества» Гитлер вешал со страниц «Моей борьбы» о том, что надобно заботиться не только о совершенствовании пород собак, лошадей и кошек, но и людей тоже (с. 449). Он хотел бы, чтобы размножению наиболее полноценных в расовом отношении людей уделялось самое пристальное внимание (там же, с. 448). Но, поскольку никаких объективных критериев определения «расовой полноценности» не было и быть не может, подобные бредовые требования лишь усугубляли и без того чудовищный произвол, царивший в фашистской Германии.

Национал-социалистское учение о расах, под знаменем которого нацисты делали всё возможное для уничтожения соседних с Германией народов, не выдерживает научной критики. Оно находится в полном противоречии с данными биологической науки, а также с историческим опытом человечества. Оно не может быть признано сколько-нибудь стройной и последовательной теорией. На практике это учение служило гитлеровцам главным аргументом, с помощью которого они пытались обосновать свое требование об изменении существующих границ, подвести фундамент под агрессию.

ПЕТЕРИС УДРИС

КОДЕКС — ЯЗЫКОВОЙ ИЛИ МОРАЛЬНЫЙ?



Как бы тщательно ни подготавливался закон о языке, наивно думать, что он обретет реальную силу на другой день после принятия. За несколько месяцев нельзя, а может быть, и вообще невозможно спланировать конкретные, четкие меры по воплощению в жизнь прав одного языка и регламентации употребления прочих. За пару лет нелегко решить проблему овладения национальным языком в школе и в обществе в целом. Даже если будут приняты прецедентные постановления и самым прогрессивным образом определен политико-правовой статус Латвии. Оно и понятно: ведь ни одна из адских машин демагогии сталинского или фашистского толка ни одну другую европейскую культуру не подавляла так долго, что довела язык до состояния, при котором для обеспечения его фактического бытования и существования горящей на нем нации необходим кодекс о языке.

Язык должен жить, дышать — должен звучать. А не только сохраняться. «Сохранен» у нас сегодня, и притом в условиях подлинного и реального двуязычия, ливский язык, и, по-видимому, неплохо, но почему-то ни ливы, ни латыши, ни эстонцы не выказывают по этому поводу особой

радости. Теперь многие думают, что надо бы и латышский язык сохранить. Для языка нации этого мало.

Где же выход? Он очевиден — говорить и писать по-латышски. И закон должен гарантировать, что в Латвии это нигде и никогда не будет сочтено, не может быть сочтено национализмом и далее антисоветским и антигосударственным деянием, в конце концов, — предательством Родины. Невоспитанностью и недоразвитостью — тоже.

Ясно, что, если человек подчеркнuto говорит и пишет по-латышски, кое-кто может воспринять это как «антирусский вызов», впрочем, в ряде случаев так оно и будет. Но случаи эти совершенно разные, и надо четко различать, когда означенное действие направлено 1) против конкретного гражданина или жителя Латвии славянской либо иной нелатышской национальности, или 2) против туриста или гостя Латвии, а когда 3) относится к тем, кто требует для себя привилегий и — под маркой интернационализма (даже дружбы народов), русского языка как средства международного общения (а то и просто «всем понятного»), более прогрессивной культуры или под какой-либо другой столь же

солидной, а в сущности идеалистической вывеской — дискриминирует всё латышское.

В первом случае складывающиеся отношения — это отношения между согражданами, тем самым создаются предпосылки к тому, чтобы любой гражданин или житель Латвии знал государственный язык. В результате у латышей не будет никаких прямых или косвенных языковых преимуществ (латыши, в первую очередь писатели, общественные деятели и наиболее передовые лингвисты, позаботятся естественным развитием латышского литературного языка, а любой другой родной язык проживающих в Латвии людей должен бытовать в школах, национально-культурных обществах и в печати). Заслуживают ныне похвалы те из латышей, кто неспешно, доброжелательно и с учетом конкретной ситуации помогает людям других национальностей освоить латышский язык. Еще лучше, если бы в трудовых коллективах и организациях в ответственных случаях, коль скоро нет синхронного перевода, находились добровольные переводчики — хотя бы кратко пояснить непонимающим суть сказанного по-латышски.

Подчеркнутое употребление латышского языка в общении с туристами или гостями можно истолковать, по меньшей мере, как нежелание оскорбленного народа вообще впредь поддерживать отношения с восточными соседями. Но это вряд ли было бы конструктивно и возвышало честь и достоинство нации, тем более что латышей издавна отличает владение несколькими языками. Надо, однако, учесть вот что: какой жалкий вид имеют латышские туристы и, не хотелось бы употреблять это слово, «мешочники» в Литве и Эстонии, не имеющие в запасе хотя бы дежурных фраз вежливости на языках этих стран! Не помешало бы и в московские путеводители по Прибалтике включать несколько фраз на языках прибалтийских народов. А если Российская Федерация желает широко развивать туризм в Латвию, и Латвии эта индустрия выгодна, то, может быть, обеим республикам стоит вместе подумать об издании и распространении в России простенького русско-латышского разговорника. Это же элементарное дело, такие словари выходят на всем белом свете, это нормальная вещь.

С другой стороны, латыши и впредь не смогут избавиться от ощущения известной несправедливости и неравенства, если им придется, не будучи от этого в особом выигрыше, говорить с каждым приезжим из России только по-русски — практически, на его родном языке; это может породить неприязнь и даже недоброжелательство, и этого следует избегать. А если учесть, как обстоит дело в Советском Союзе, и в России прежде всего, со знанием, вернее с незнанием, языков, то нам, возможно, следует гораздо серьезнее подумать об английском. Когда положение изменится (если...) и в России, и у нас проблема языков будет хоть как-то решена, не останется, надо думать, особых препятствий к широкому использованию в индивидуальном общении, в области туризма английского языка — достаточно распространенный в стра-

нах Северной Европы, он заметно рассеял бы взаимопонимание и в Прибалтике. И латышам осталось бы испытывать неприязнь разве что к заносчивым янки. Туризм же для стран со скудными природными ресурсами или отсталым производством — золотой дождь.

Эта идея не затрагивает употребление русского языка в федеральных отношениях внутри СССР — традиционно выступая в этом качестве, он и в ближайшее время будет незаменим в политических, хозяйственных и культурных контактах республик между собой.

Грешно, однако, забывать, какое место отводилось английскому в школах Латвии в конце 30-х годов и объяснять это только пресловутой буржуазной ориентацией. Нет, причина, в основном, была совсем другая: наши деятели культуры и просвещения той поры отчетливо понимали, что английский язык начинает играть ведущую роль в мире. Многим латвийским беженцам он безусловно помог впоследствии быстро занять прочные позиции в странах обитания. И он же в условиях нормального торгового и культурного обмена определенно помог бы нам сегодня привести в порядок народное хозяйство. Ни к чему оставлять во власти стихии те процессы духовной жизни, которые поддаются разумному управлению. Может быть, стоит в наших сквозных школьных программах перейти на английский как на главный (в средней школе — обязательный) иностранный язык (с дифференцированными программами), а нашим преподавателям немецкого предоставить поле деятельности на гуманитарной ниве и в области специального образования.

В третьем случае труднее всего — права латышского языка и право на самоопределение нации приходится доказывать адептам имперского мышления и космополитизма, и тут внутренней, искренней убежденности мало, чтобы опровергнуть крикливую демагогию, которая достаточно долго царилла вокруг и пользовалась всяческими привилегиями. Теперь эти демагоги ощутили себя ущемленными в правах, которые, по европейским меркам, незаконны, и оскорбленными в своих лучших чувствах, которые, в сущности, донельзя лицемерны, так как, за редким исключением, Латвия для этих людей не единственное место, где могут быть реализованы их права — на труд, советское гражданство и распределение продуктов. Во многих случаях эти люди заслуживают не того, чтобы с ними говорили по-латышски, а чтобы в республике существовал общественно-экономический механизм, благодаря которому они могли бы как можно быстрее и эффективнее осуществить свое право на возвращение в любую союзную республику.

Очевидно, следует пресекать попытки чиновничьего ограничения прав латвийских граждан любой национальности на свободное функционирование своего языка в школах, обществах и в печати, так как здесь речь идет о правах человека, и виновные должны подвергаться крупному денежному штрафу. Это, пожалуй, единственно возможный путь оздоровления ситуации (или один из немногих). Когда люди привыкнут к функционированию в Латвии нескольких языков, как и к разномыслию, они поймут, что разумный национализм в своей родной стране не причиняет зла ни гостям, ни приезжим, ни другим республикам, и в конце концов окажется, что убежденных великорусских шовинистов не так уж

и много, просто благодаря политике прежних лет они очутились на постах, откуда им доступны пропагандистская машина, руководство идейной жизнью и надзор (подавление) за общественным порядком.

Следует заметить, что школа — это только одно из средств идеологической работы, притом весьма косное. Ныне людей куда лучше образовывают общественная жизнь и средства массовой информации. Они-то и заставляют человека изучать языки — если есть желание понять что-то, узнать новое, то и возможности найдутся, и наоборот. Необходимы, разумеется, языковые курсы по ТВ, субтитры, но собственного желания овладеть языком ничто не заменит. Латвийское региональное, оно же национальное, телевидение развивалось, понятно, слабо, но это не означает, что оно не может быть улучшено и усовершенствовано в идейном плане, и события последнего года тому свидетельство. Географическое положение Латвии препятствует приему зарубежных телепрограмм, а значит, восприятию чужой речи. В Южной Литве, например, можно смотреть Польское ТВ, в Таллине — уже 8 программ на 4 языках (не считая недублированных фильмов), и это при том, что Эстонское ТВ транслирует только 3. В этой ситуации в Латвии не мешало бы подумать об улучшении политики в области телевидения, например о ретрансляции передач Шведского ТВ. Обе так называемые всесоюзные программы носят чрезмерно централизованный характер, сомнительно поэтому, нужны ли нам и первая, и вторая. Зато было бы к месту несколько часов в день передавать с рижской телебашни программу Литовского ТВ, чтобы хоть в какой-то степени исправить ненормальное положение, когда по причине языка приходится ехать из Риги в Каунас через Москву и в результате пребывать в неведении, что на самом деле происходит у наших соседей-братьев. А ведь в течение столетий латыши могли общаться с литвинами без посредников, и даже десятилетия назад Райнису ничто не мешало писать стихи по-литовски, в то время как нынче вышколенные и безмерно услужливые латыши, еще издали завидев литовца или эстонца, тотчас переходят на русский. Самое мудрое решение, конечно, — найти способ к тому, чтобы Прибалтика не оставалась белым пятном спутникового Евровидения и, по крайней мере, в смысле духовной культуры не отстала навеки. Нереально, фантастично? Но только так и надо сегодня мыслить и действовать.

Ненормальная ситуация с языком сложилась отнюдь не потому, что лучшие лингвисты были депортированы или уехали (а часть сотрудников института Академии наук и два-три вузовских языковеда, перегруженные преподавательской работой, были бакулуши), а потому, что чиновники от идеологии как правило не понимали, «для чего всё это надо», и их аргументация (как посмотрит Москва, реакционность буржуазной науки, подрывная империалистическая пропаганда, межнациональное значение русского языка, единый советский народ и др.) брала верх. Отсюда и положение, при котором языковеды вынуждены годами ломать копыта по поводу рода отдельных существительных, количества источников латышского литературного языка, орфоэпических символов и т. п. Большинство лингвистов убеждено в необходимости гораздо более

активной пропаганды положений своей науки, широкого выпуска учебников грамматики и словарей латышского языка, упорядочения правописания, а фактически и в принципиально новой языковой политике. Но, если не считать идей и постановлений, на других уровнях воз ни с места.

Ныне великий исторический момент — народ протирает глаза, и мы наконец понимаем, что язык — это все же общенародное дело, особенно если мы хотим снова быть нацией со своей территорией, хозяйством, культурой и правом. Нам необходимо, чтобы латышский язык снова был официальным языком, однако возвращение статуса — пока еще не выходит за рамки эмоций, это дело чести, не более того. Пусть о языке позаботятся языковеды — такой аполитичный взгляд хорошо укладывался в прокрустово ложе застоя, но сегодня делать ставку на нечто подобное — это безумие. Пока латышская лексикография в пленках, надо создавать свою лексику, свои средства выражения в каждой профессии, специальности, на каждом рабочем месте. Называть вещи простыми и естественными именами, читать Кронвалдса, Алуанса, Райниса и проникаться их мыслями.

Девальвацию языка определяют не одни только неблагоприятные внешние факторы. Человек не умеет пользоваться языковым материалом — такое тоже часто встречается, и от этого не отмахнуться. Поправить дело можно не только хозяйственными, но и — главным образом все же — гуманитарными мерами. Культурной, грамотной речи надо учиться, шаг за шагом. Так следует понимать подлинную культуру языка, а увлечение его нормированием завело отдельных латышских советских языковедов так далеко, что они больше не могут плавко и связно выражать свои мысли из опасения где-нибудь ошибиться, ибо настороже коллеги, которые долгие годы только и делали (другого позволить себе не могли), что выискивали блох и публично насмехались над языковыми ошибками, неизбежно возникавшими в совершенно понятных обстоятельствах. И тут всевозможные мероприятия, посвященные культуре устной и письменной речи, выливаются в коллективный мазохистский восторг — ох, как засорен, как запущен латышский язык... И радость эта что ни год, то больше. Статус «государственного» языка фактически звучит печально-гротескным финальным аккордом застоя (хотя чрезмерная торопливость создает впечатление, что продолжение еще вполне возможно).

Конструктивная языковая политика сегодня не преувеличивает роли проскальзывающих там и сям ошибок и безотлагательности разработки кодекса, а в поте лица возводит фундамент — возрождает правовое латвийское государство и самостоятельную политику, где языку и прочим духовным ценностям должно быть отведено весьма заметное место.

Любой язык — в его «литературной», или общенародной, форме, которую непременно употребляет всякий образованный человек, если он хочет, чтобы его понимали, — представляет собой определенную систему, а не только набор приемов, усвоенных чисто эмпирически. И эта система действует эффективно, когда ее совершенствуют, шлифуют, отлаживают и смазывают. Тогда могущество ее велико. Значит, и на родной язык, унаследованный от отцов и матерей, надлежит

смотреть как на любой другой язык и учиться ему, родному, непрерывно, особенно в условиях постоянных языковых контактов. Часто люди думают, что знают свой язык достаточно хорошо и, как правило, ошибаются — не хватает слов, бедны средства выражения, нескладно формулируются мысли, и слабохарактерный человек начинает засорять свою речь и письмо далеко не лучшими заимствованиями из чужой речи, звучащей вокруг.

С конца прошлого столетия латышский является национальным литературным языком, а не только, как раньше, языком людей латышской национальности. Значит, совершенно нормально, когда этот язык знают и связанные с Латвией представители других народов. Следует понять одну простую вещь — национальный язык не является собственностью лишь одного данного народа, латышский язык — это не какая-то прихоть латышей, которая бог весть зачем нужна им в дополнение к тому, что они советские люди. Точно так же образованному человеку нечего, например, считать, что ему незачем хорошо владеть русским языком, если уж сами русские так часто говорят на диалекте, в смысле неграмотности и бедности, языке. Это признак провинциализма. Но, с точки зрения государственной политики в Латвии, литературный русский язык должен бы занять весьма значительное место. И отнюдь не только ради жителей Латвии — русских по национальности или, что еще абсурдней, нелатышей. Это в интересах всех народов Латвии. Столь же ошибочным было бы решение запретить в Латвии — дабы блюсти девственную чистоту латышского народа — передачи Центрального телевидения. Но здесь надо исходить из того, насколько ЦТ реально необходимо в Латвии, и не продолжают ли диктовать нам, когда и что смотреть, как это было, скажем, с включенной в армейский распорядок дня программой «Время».

В свободном Латвийском государстве, наряду с государственным латышским местными языками считались немецкий и русский, их обязан был знать каждый государственный служащий. Но это не было удовлетворением интересов немцев или русских (так, интересы поляков или евреев аналогичным образом не удовлетворялись): такова была судьба этих языков в нашем крае и их политическая необходимость. Свое место занимал и французский, позднее — английский, свое — классические языки. Те годы, очевидно, отличались языковой терпимостью, а не буржуазным национализмом — как известно, в 1930 году только пятая часть русских в Латвии хорошо знала латышский язык, который тогда еще не был объявлен государственным. В целом, латышским в то время не владело около 160 000 русских, 40 000 евреев, 20 000 немцев, — быть может, четверть миллиона, или половина всех инородцев. Если теперь, спустя более чем полвека, латышский не знают в Латвии три четверти нелатышей — почти миллион — то как, позволить спросить, выглядит в этом свете господствующая политика в интересах всех народов СССР? Странная это политика, если не сказать — империалистско-колониальная; если она обосновывается экономической необходимостью, то хотелось бы знать — какой именно? И если в Латвии, в настоящее время латышский язык знает в лучшем случае 1,3 миллиона латышей и, может быть, 300 тысяч представителей других национальностей, а русский — по меньшей

мере 2 миллиона человек, то важно уяснить: при помощи подобной политики КПСС не пыталась уничтожить латышский народ или по наивности создать новую общность — «советский народ», а просто-напросто породила ситуацию, когда из единого центра военно-административными методами удобно командовать всей республикой и держать ее под постоянным контролем.

Наряду с количественными показателями есть и целый ряд других соображений, заставляющих без предвзятости и догматизма взглянуть на русский язык не как на язык людей русской национальности, а как на средство общения с более широкими функциями. Василь Быков как-то заметил: что для Киргизии благо, то для Эстонии может быть сомнительным, поскольку предусматривает такое усвоение русского языка, которое становится помехой нормальному функционированию национального языка. Действительно, если сбросить шоры централизма, унификации, станет ясно видно, как это неразумно уподоблять прибалтийские страны тем республикам, которые свои границы, а с ними и наименование получили (причем не всегда в этнографически территориальных пределах) в годы советской власти наравне с нынешней, основанной на русском алфавите, письменностью. Однако в Латвии русский язык служит отнюдь не языком общения и контактов между республиками, а для того, чтобы изъясняться с массами привезенных сюда людей, которые никоим образом не представляют у нас свою родную республику или место своего предыдущего пребывания. И русский язык, которым владеет большинство латышей, в сущности совсем не тот могучий, богатый и выразительный русский язык, который известен миру, а нечто довольно жалкое, какая-то смесь, отчасти даже жаргон — *lingua franca*. Для латышей русский никоим образом не является и тем языком великих русских писателей, без которых нет целостной картины мировой литературы, так как произведения этих авторов латыши обычно читают в переводе. А переведенные на русский язык книги зарубежных авторов — большой дефицит даже в русскоязычной среде. Сегодня трудно назвать русский и тем языком науки, который был бы значительным источником для латышских ученых, ибо советская наука, будучи заидеологизированной, самозолировалась, а на первый план вышел английский язык, и, даже для латвийских ученых, все более существенной становится информация, которая не прошла через фильтр русского языка и идеологии.

По этим причинам хочется думать, что потребность знать русский язык в Латвии сегодня полностью удовлетворена, и такое положение в дальнейшем будет «подпитываться» значительным числом проживающих здесь граждан русской национальности. Поэтому у нас нет ни малейшей необходимости особо подчеркивать в законодательстве о языке место и роль русского языка в Латвии, как-то выделять его среди прочих языков и превращать в обязательный школьный предмет. Было бы правильнее, по-видимому, уделить особое внимание английскому языку, назначить надбавку к зарплате за знание мировых языков.

Так представляются нам в языковой сфере идейные установки морального кодекса борцов за суверенитет Латвии.

Перевод ЛЕОНИДА ГУРЕВИЧА

ЕЩЕ ОДНО «ПОЧЕМУ?»

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Когда, после двух суток поездки, мы достигли пункта назначения, на мне были драпый пиджак на голое тело, домашние тапочки — которыми снабдила меня в дороге мать — тоже на босу ногу, ну и штаны, конечно, да только не мои, а окончательно изодравшиеся и, по крайней мере, пятьдесят второго размера. В руках — пакет с провизией. Приблизительно так же выглядели и остальные рижане. Комичнее всего Виктор: довольно неплохой плащ, голубые кальсоны, сандалии на босу ногу.

Введенные через железные ворота, мы оказались в широком, обнесенном колючей проволокой дворе. Вскоре оказались в помещении средних размеров, на дверях которого я успел прочесть слово «уголок». Кроме толпы оборванцев, в помещении оказался и часовой со штыком в ножнах на поясе. Сообщая ему, что хочу в туалет, и он, подождя, пока таких, как я, наберется с полдюжины, отводит нас в нужник.

На обратном пути (уже смеркалось) меня, ухватив за руку, тащит в сторону какой-то тип с этаким полубезумным блеском в глазах и хриплым голосом шепчет: «Масло и мясо есть?». Вынужден своего нового знакомого огорчить, ответив, что у меня «есть только курица и неди (peģi — миноги)». Он, очень взволновано, объясняет, что «куру едо, едо кура, пачему говориш — не еди?» Потом объясняет из какого окна «красного уголка» ему передать куру. Сделал все так, как того желал новый знакомый. Вместе с курой передаю и миног. Их завидев, он от отвращения передернулся и сказал, что вот уж змей тут не едят. Вскоре возле окна собирается уже целая толпа. Передаем в протянутые руки сохранившееся у нас съестное. Филантропическую акцию, однако, до конца провести не удается, поскольку чей-то грубоватый голос разгоняет толпу голодающих с помощью уже слышанных иной раз и в Риге ругательств. Обладатель этого же самого голоса заходит к нам и сообщает, что сейчас нас поведут на ужин, потом — в баню, и что за ужином нам надо прикончить всю оставшуюся у нас провизию, поскольку тут питаться принято только в столовой.

Столовая встретила нас коктейлем запахов, неизяснимого происхождения и тридцатью небранными столами. Два стола накрыты: на каждом по десять жестяных мисок и кружек, в центре каждого большая миска с кашей и меньшая с кусочками рыбы, чайник. Рассаживаемся, выгружаем на стол оставшийся провиант (осталось все-таки довольно много — пирожки со шпеком, жареные куры, копченая колбаса). Аппетита не было ни у кого. Лица мрачные, стараемся не дышать через нос (одним из составляющих коктейля запахов неизяснимого происхождения был аромат стоящей на столе рыбы), сидим молча. Замечаю, что между колонн столовского помещения околачиваются около дюжины молодых ребят

в невообразимо засаленном обмундировании. Владелец голоса, разогнавшего из-под окон «красного уголка» местных голодающих, приказывает нам встать и «шагом марш в баню».

Мы еще не достигли дверей пищеблока, как за спиной возник невообразимый шум. Оглянувшись, увидели, что молодые люди в засаленной одежде, один другого отталкивая, набросились на наши оставленные припасы. Съестное захихивалось за грязные гимнастерки, кто-то торопливо поедая куриную ногу, другой, очевидно припозднившийся, совал себе за пазуху вонючую рыбу. В момент, когда на шум оглянулся наш сопровождающий, на столах оставались лишь вышеупомянутые котлы с кашей. По полу еще катились жестяные миски и кружки, а молодые люди уже исчезли.

Плетемся в баню. Из ее трубы валит черный дым и, поскольку в кинотеатрах того времени в целях военно-патриотического воспитания часто демонстрировались фильмы о минувшей войне, то и дым, и колючая проволока, и оголованные молодые люди вызывают в нас по-человечески понятные ассоциации.

В бане было сообщено, что нашу одежду, если мы сложим ее в тканевые мешки и напишем на них адреса, отошлют нашим близким. Несмотря на угнетенное состояние духа, все же выпрашиваем разрешение этого не делать, поскольку понимаем, что наши отцы, матери, сестры, братья и жены, получив посылки с одеждой подобного сорта, могут подумать, что по дороге на нас напала местная банда, которая, выпытав у своих жертв точные адреса их близких, подобными посланиями имеет целью сообщить, что и последних ожидает схожая участь.

Кидаем свои отрепья в один мешок. Я, в своей стыдливости, еще колеблюсь снять нейлоновые плавки, пока ко мне не обращается парень, одетый в белый халат: «Отдай трусики мне. Они тебе больше не понадобятся». Так я расстаюсь с последней вещью, оставшейся у меня от предыдущей жизни...

Здесь следует огорчить ту часть читателей, которая в писаниях разнообразного толка выискивает острые ощущения, и которая, прочтя мое вступление, ожидает от дальнейшего криминальных происшествий. Таким для автора этих строк и еще двух десятков латышских ребят оказался день 5 ноября 1964 года — первый день исполнения ими своего гражданского долга в рядах Советской Армии. Следует еще только реабилитировать наших частью уже умерших, частью — еще живых родителей, сказав, что они, отправляя нас в дорогу, экипировали нас вполне пристойно. Я, например, поехал в той одежде, в которой в доармейские месяцы работал грузчиком на базе «Латгалантерея». К Бресту же ближе в столь бедственное зрелище мы превратились потому, что, как

только поезд въехал в Белоруссию, на каждой станции, где была остановка, возле нашего вагона возникала менная торговля — мужчины в ватниках и женщины в платках торопливо старались обменять на наши невзрачные одежки самогон, брагу и пиво; мы же, особо сознательными не будучи, охотно соглашались на сделку.

Итак, 5 ноября 1964 года, и через два дня праздновалась 47 годовщина Великой Октябрьской революции. Восемнадцать с половиной лет после окончания Великой Отечественной войны. Незадолго до этого генеральным секретарем ЦК КПСС стал Леонид Брежнев, а газеты осеннего, призывного времени были заполнены фотографиями улыбающихся парней, рвущихся на защиту родины. В космосе летали космонавты и искусственные спутники; клеймились империалистические поджигатели войны; а в рижских магазинах можно было купить миноги за три рубля пятьдесят копеек килограмм, алкоголь продавали до одиннадцати вечера, а у самого автора этих строк 25 августа того же года в газете «Padomju Jaunatne» были впервые опубликованы стихи.

Жизнь казалась прекрасной, далее Таллина я не выезжал и, разумеется, первый день в качестве защитника Родины мой оптимизм несколько поколебал.

Здесь, истины ради, следует добавить, что питание в армии уже тогда было вполне калорийным, с голоду никто не умирал и, сравнивая последние доармейские и первые армейские фотографии, вижу, что щеки мои изрядно округлились. Есть все же хотелось. Постоянно хотелось есть. Время исчислялось от еды до еды, и не один я выделялся подобной ненасытностью.

Нет, чувство голода не самое страшное, что я помню из трех армейских лет. Трагичнее был голод духовный, который, однако, со временем я научился утолять. Здесь мне следует пояснить (надеюсь, не раскрывая тем самым военной тайны), что вряд ли даже один процент из военнослужащих Вооруженных Сил СССР служит в столь комфортабельных физических и комфортных в духовном смысле условиях, в каких служили ребята нашего батальона. Когда я вернулся, отслужив, мне было двадцать два года. Из них двадцать шесть месяцев (десятью часть жизни!) я провел в поездках и на вокзалах. Моя служба была связана с постоянными командировками по всему Советскому Союзу. Туда — в телячьих вагонах с чугунной печкой, обратно — в пассажирских поездах, в плацкартных вагонах. Командировочные 1.05 руб. в сутки. Если командировки я вспоминаю как нечто романтическое (это ничего, что иногда буханка хлеба на четверых казалась богатством, ничего, что приходилось иной раз стоять три часа в карауле в сорокоградусный мороз на открытой платформе идущего поезда), то

жизнь в расположении воинской части до сих пор кажется кошмарным сном.

Там, по хорошо разработанной методике, делалось все, чтобы вытравить из солдат малейшие ростки индивидуальности, самостоятельного образа мысли, самостоятельных суждений.

Армейский устав, который человек с обычной памятью в состоянии затвердить за пару месяцев, зачитывался и опрашивался дважды в день (так это происходило с теми, кто по различным причинам не попадал в командировки). Раз в неделю каждый копал окопы трех типов, чтобы продемонстрировать свою ямку офицеру, тут же ее зарывать обратно. Сей род учебы назывался словом не простым — инженерная подготовка. Все эти дурацкие манипуляции, кои мы осуществляли, дабы выжить в условиях вероятного атомного нападения, даже вспоминать не охота (год назад случайно увидел, как обучаются ГО уважаемые сотрудники некоего научного института — они делали то же самое, что и мы за четверть века до них!). Но присутствовали в этом учебном процессе и творческие моменты. На занятиях по политической подготовке самого себя и остальных латышей я развлекал тем, что при ответах неустанно цитировал Леонида Ильича Брежнева. Сначала эти цитаты я сочинял сам, а после принялся обогащать нашего генсека строчками из Шопенгауэра, Гегеля, а один раз — даже из Ницше (надеюсь, что великие мыслители уже простили мне эту вольность, но Леонид Ильич, будь он в состоянии ознакомиться со «своими» мыслями, скорее всего удивился бы факту изречения им столь философских соображений!). Замполит политотдела (в звании майора!) моей политической подготовленностью был вполне удовлетворен и часто выносил мне благодарность перед строем, на что я громко и отдал: «Служу Советскому Союзу!»

Дважды в год нашу боевую готовность приезжало проверять высокое начальство из округа, и тогда меня, благодаря дурацкой старательности, в командировки не отпускали. Из-за такой проверки я однажды не попал во Владивосток и, внутренне протестуя, одно из брежневских высказываний приписал покойному Джону Кеннеди, а в уста генсека вложил сентенцию Авраама Линкольна. Высокое начальство осталось довольным, меня опять торжественно поставили перед строем, и я проревел: «Служу Советскому Союзу!»

По тогдашним и теперешним армейским правилам солдату полагается свободное время два часа в сутки (полчаса после обеда, полтора после ужина). За это время надо пришить свежий подворотничок, привести в порядок обмундирование, побриться. Воскресенье считается свободным, но и тогда выдумываются различные мероприятия (спортивные соревнования, просмотр старых, многократно виденных фильмов, разучивание строевых песен). Конечно, мы как-то умудрялись выкроить себе время и из не-свободного, но были и такие части, где распорядок и в самом деле соблюдался очень строго.

В «Литературной газете» читал, что у ребят, которые служат в группах войск в соцстранах, нет даже и этих двух часов.

Я не знаю, как теперь обстоят дела в соцстранах, но четверть века назад

в сержантской школе под Минском (где учились шесть месяцев, и где распорядок соблюдался неукоснительно) в каждом цикле для одного или двух курсантов «учеб-ка» заканчивалась трагедией. В основном, это были ребята со средним образованием, эмоционально чуткие. Никто, разумеется, не изучал причины подобных самоубийств (комплексов, с точки зрения социологии), но мне кажется, что в большинстве случаев причиной был дефицит духовности в Вооруженных Силах СССР.

Юноша восемнадцати лет потенциально готов к скачку в своем духовном развитии. Он как взведенная пружина, как спортсмен перед выстрелом стартера.

Для меня, слава богу, этот «стартовый выстрел» уже прозвучал. Повезло с учительницей истории Луцией Строда. Она разбудила интерес к литературе, культуре. Посчастливилось, что на какой-то вечеринке я познакомился с девушкой из «розентальцев» и, чтобы в ее обществе не выглядеть полным «олухом», вечерами просиживал в Госбиблиотеке (в те времена такая возможность предоставлялась даже школьникам) и тщательно конспектировал историю импрессионизма и постимпрессионизма.

Да, мне повезло, но сколько их, ребят, которые в свои «лучшие годы» были искусственно оторваны от культуры, от самообразования? И от своей национальной среды, языка? Оторваны в момент, когда возникли все предпосылки к тому, чтобы культура вошла в человека, человек вошел в культуру.

Что вместо этого дает армия? Безусловно, физическую подготовку. Считаю, что только благодаря службе и тому, что уже в школьные годы занимался спортом, я в сорок лет еще серьезно не болел. Многие в армейские годы овладевают профессией. Это, главным образом, юноши, которые свою дальнейшую жизнь желают связать с техническими профессиями. В то же время люди, избравшие гуманитарные области, практически теряют два года. Два года теряет оторванный от учеников учитель, два года теряет актер, не игравший на сцене. О будущих музыкантах и говорить не буду, поскольку вряд ли потенциальному виртуозу-скрипачу участие в каком-нибудь эстрадном ансамбле или работа барабанщиком в духовом оркестре компенсируют отсутствие каждодневных упражнений.

В армии юноша овладевает русским языком. Могу даже сказать, что именно там я научился одинаково быстро читать на обоих языках. В это время он частично либо полностью оторван от национальной литературы, от национального языка, от национальной культуры.

Не у каждого есть родители (как у меня), которые выпишут на адрес части латышские газеты и журналы, которые будут присылать латышские книги.

У нас в части была довольно хорошая библиотека — Собрания сочинений Маяковского, Блока, Бунина, Стефана Цвейга. Томас Манн, даже Хемингуэй. В библиотеке по рабочим дням скучала жена командира роты, которая была рада каждому посетителю, поскольку число читателей едва перевалило за полсотни. За три года я ни разу не видел в библиотеке офицера. Может быть, у них хорошие библиотеки дома?

Но латышских книг в библиотеке не было. Как уже сказал, их мне присылали из дома. Для хранения вещей каждому отводился половина тумбочки.

Однажды, вернувшись из командировки, обнаружил свою полку пустой. Ротный старшина отправил книги на растопку. Будучи спрошен, почему он так поступил, старшина (ходили слухи, что у него четыре класса образования), ответил, что книги следует читать только на русском, «а не на каком-то империалистическом языке», и назначил мне наряд вне очереди за нарушение субординации.

Не буду все же и далее утруждать уважаемого читателя рассказами о моих служебных невзгодах, хотя и — теперь вспоминая — кажется, что все это происходило не со мной, но с бравым солдатом Швейком. Нет, вот о Швейке рассказать надо. Когда в библиотеке я попросил знаменитую книгу Гашека, скучающая жена комроты любезно сообщила мне, что до шестидесятих годов роман «изымался» из всех библиотек Вооруженных Сил. Несколькими годами назад эту книгу она хотела заказать, но командир части, просматривавший список заказываемых книг, именно похождения бравого солдата вычеркнул, поучающе добавив, что советскому солдату не следует читать книг, в которых порочат армию как социальный институт.

Возможно, что Гашек и ставил себе целью именно опорочить армию в качестве общественного института, но я, занимаясь этими размышлениями, подобной цели себе в самом деле не ставлю. Цель этой статьи в том, чтобы хоть в малой степени побудить людей, ответственных за духовность наших Вооруженных Сил, подумать, каким образом возможно гуманизировать воинскую службу, не нанося при этом ущерба ни могуществу, ни боеготовности Советской Армии. Гуманизацию я понимаю в том смысле, что находящемуся на действительной службе человеку не будет закрыта возможность самообразования, не будет пресекаться возможность связи со своей национальной культурой, со своим языком.

Думаю — каждый, пусть даже сторонник самых драконовских мер, защитников армейской дисциплины согласится, что будущее общество нашей страны поведет вперед люди высокоинтеллектуальные, культурные. То есть, воспитывать таких, культурных людей тоже входит в задачи армии.

Может ли кто-нибудь сегодня сказать, что в армии делается для воспитания культуры взаимного общения между военнослужащими? В Союзной прессе относительно часто (правда, лишь в последние два года) пишется о ненормальных отношениях, существующих между военнослужащими первого и второго годов службы. Общество в шоке, но еще ни разу не читал, что эти, иной раз граничащие с садизмом, отношения были осуждены или прокомментированы кем-либо из представителей Вооруженных Сил.

А как по части экологической культуры? Интересно было бы провести опрос среди комсостава хотя бы одной армейской части — как офицеры и сверхсрочники понимают термин «экология»? И существует ли учреждение (независимая комиссия, например как в недавно созданном комитете по охране окружающей среды?), которая контролировала бы ущерб, нанесенный армией окружающей среде? Или вот теперь, когда мы возвращаемся к лозунгу «Вся власть Советам!», местные власти вправе защищать свою территорию от армейского вторжения? Вправе ли они контролировать использование соответствующей территории в соответствии с за-

конодательством? Нигде в прессе не читал о том, каким образом заводы, подчиненные Министерству Обороны (так называемые номерные заводы, «почтовые ящики») утилизируют свои отходы, оснащены ли они очистными сооружениями. Не читал и теперь — в нынешнее время гласности.

Еще одно отступление. Сразу после окончания средней школы, я вместе со своими одноклассниками проработал месяц на подобном заводе разнорабочим. При устройстве на работу нам пришлось расписаться в том, что никогда и ни при каких обстоятельствах мы не разгласим сведения о производимой этим заводом продукции. Поскольку не называю ни номера завода, ни его местонахождения, рискну нарушить данное двадцать четыре года назад и заверенное моей подписью обязательство — мое послешкольное место работы производило полевые кухни, жестяные миски, кружки и ложки для нужд армии! Те самые жестяные миски, кружки и ложки, которые я увидел в свой первый день службы в СА в ситуации, столь похожей на взятую из детектива.

Не знаю, требуют ли и по сей день с работников этого завода расписки о неразглашении военной (или государственной?) тайны, но мне кажется, что культ секретности выгоден именно армейским бюрократам, армейским стагнастам — никакого вмешательства в наши внутренние дела! Все — секретно! Все — только ДСП!

Если я, патриот своего города, захотел бы публично, в прессе доказать, что подобный завод по производству армейских мисок загрязняет городские воздух и воду, то у меня, очевидно, ничего бы не вышло: назвать место его расположения и производимую им продукцию не позволят инструкции, спущенные в Главлит армейскими чиновниками.

Удивительным кажется и то, что ни разу в прессе я не встретил сообщения о том, что Бюро ЦК Компартии Латвии обсуждало какие-либо вопросы армейской жизни. Ну хотя бы вопрос идеологического воспитания в армии. Или о том, как армия способствует нормализации экологической ситуации в стране, в республике. Возможно, что идеологическое воспитание (и межнациональное в том числе) в Вооруженных Силах осуществляется на высоком уровне, возможно, что расположение воинских частей на берегах, допустим, Байкала, Даугавы или Лиелупе только способствует сохранению экологического равновесия. Так почему бы не поделиться опытом со всем народом? Может статься, опыт ВС в деле защиты природы следует перенять руководству, скажем, Слокского ЦБК?

У народа же есть право знать хоть что-то об армии, которая его охраняет. Делегатами на XIX Всесоюзную партконференцию от ЛатвССР были избраны несколько представителей Вооруженных Сил. Я регулярно читаю как союзную, так и республиканскую прессу, но большинство имен встретил впервые. Ну ладно, я — рядовой журналист. Но разве многим более знали об этих товарищах голосовавшие за них члены ЦК КП Латвии?

Да, о наших теперешних командующих Вооруженными Силами (даже ПрибВО) мы ничего не знаем. Так же, как и не знаем о моральном климате в армии (разве что по рассказам отслуживших ребят).

И внезапно на Красной площади приземляется западногерманский молокосос (эпитет, запущенный в обращение союзной прессой) Маттеус Руст. Случайность или закономерность для наших ПВО? Был смещен Министр Обороны, под суд пошла целая группа высокопоставленных армейских чинов, но разве кто-либо из представителей Вооруженных Сил объяснил нам, гражданскому населению, как все это могло произойти? Мы же содержим армию своим трудом! То есть — мы вправе получать и отчеты, вправе требовать гарантий безопасности нас и наших детей.

Весьма возможно, что в момент, когда Маттеус Руст приземлялся на Красной площади, где-нибудь в стране происходили учения по ГО, эвакуировались города и даже районы, тысячи людей, как сорок три года назад, заклеивали окна крест-накрест полосками бумаги и спускались в убежища. Со всей серьезностью людям пытаются внушить, что подобные мероприятия спасут их в случае атомного нападения.

А в тысячах школ миллионы не только мальчиков, но и девочек ходят строевым шагом, и никто не может объяснить, зачем будущим мамам следует уметь ходить, высоко поднимая ноги. Или опять на случай войны, дабы строевым шагом направиться в убежище?

В последнее время и в прессе распространяется идея об организации территориальных формирований в отдельных регионах нашей страны. Мне представляется это единственной возможностью не отрывать восемнадцатилетних ребят от культуры своего народа. И от культуры своей среды. Здесь может возникнуть вопрос о том, что в нашей стране есть регионы с минимальной плотностью населения, но в которых необходимы военные базы, военные заводы. При отправке на службу в эти регионы, равно как и в страны Варшавского пакта, следует соблюдать принцип добровольности. Само собой разумеется, что служащим вне своей родной территории следует назначить соответствующее денежное содержание.

При существующей ныне структуре армии окончивший действительную службу оказывается иной раз в гораздо более плачевном положении, нежели человек, вышедший из мест заключения. У очень многих ребят нет родителей, многие выросли в многодетных семьях, в семьях, где средний доход на человека близок к границе бедности. Если у отбывших наказание, тех, кто хорошо работал в заключении, скопились средства, достаточные для начала новой жизни, то у демобилизованного срочной службы, если только он служил не в стройбате, только и имеется, что армейская форма да пара белья.

Это положение вещей способствует осужденной в последнее время миграции. Вокруг воинских частей в периоды демобилизации вьются так называемые вербовщики. Они сулят демобилизующимся всяческие блага, даже известные денежные суммы на обустройство жизни, с условием заключить договор на работу на одной из новостроек. Для многих ребят это единственная возможность начать более-менее нормальную жизнь. И уж не романтических скитаний ради демобилизованные не возвращаются в свои родные города и поселки, где их рабочие руки нужны не менее, чем на какой-нибудь из гигантских новостроек.

Под давлением обстоятельств, связанных с воинской повинностью, человек теряет связи с родным краем, его культурой, а часто — и с родным языком.

Еще в 60-е годы у деревенских жителей многих районов РСФСР, Белоруссии и Украины не было паспортов. То есть они как бы и были, но хранились в сельсовете. Этим антиконституционным актом ставилась преграда оттоку рабочей силы из деревни. Для находящегося в этом, почти крепостном положении человека армия была одной из возможных вырваться из унижительной зависимости. Отслужи свои три года и свободен как птица. И эта птичья свобода и создала большую часть эмигрантов, которых не заботят ни состояние природы их региона, ни его культура. К тому же время, проведенное в армии, никоим образом не способствовало и, убежден, не способствует и по сей день уважению и пониманию в отношениях с жителями соответствующего региона, с его коренным населением. Все на личное усмотрение — если у тебя есть время и желание, то интересуйся историей региона, в котором служишь, его народом. Хочешь — учи местный язык. А для зубрежки уставов и хождения строевым шагом подобные пустяки вовсе не существенны. И так многие молодые люди именно за годы службы привыкают к тому, что вполне неплохо можно просуществовать где угодно, в другой республике или области, ничего о ней не зная, не интересуясь ни обычаями местного населения, ни его культурой, ни языком. И это не только служащие срочной службы. К подобному отношению привыкают и офицеры, и члены их семей.

Не удивляет поэтому, что для части проходящих службу в Балтийских республиках (и для офицеров) местные жители — «немцы». В Белоруссии — «бульбаши», на Украине — «бандеровцы», а население всех южных республик — «черномазье». Подобное положение вещей явно не способствует межнациональным отношениям. И разве армия не является местом, где в первую очередь следует ввести учебный предмет, который мог бы называться «Культура национальных отношений»?

Определение места службы по территориальному принципу разрешило бы многие проблемы — ощутило сократив приток мигрантов в национальные республики. Кстати, интересовался ли кто-нибудь тем, как именно происходит вербовка демобилизованных на работу в нашу республику? И выплывает ли при подобной вербовке предприятия соответствующую сумму в городской бюджет? Чиновники Министерства Обороны СССР вынуждены бы были эластичнее распределять войска в соответствующих регионах, учитывая потенциальное число новобранцев. Со временем в национальных республиках все больше число юношей изъявило бы желание стать офицерами, либо остаться на сверхсрочную службу.

Думаю, что возросла бы и боеготовность армии, уменьшилась бы и преступность внутри нее, поскольку есть все же разница — служишь ли, представляешь ли ты армию вообще, или — свою республику, свою область. Латышский народ знает прецеденты подобного рода — батальоны стрелков в первую мировую и во время революции, Латышская Гвардейская дивизия времен Великой Отечественной войны.

Организация территориальных корпусов в Советских Вооруженных Силах

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАЗМЫШЛЕНИЯХ

процесс сложный и трудоемкий. Неудобный и опасный для армейских бюрократов. Опасный в том смысле, что, невзирая на положение о беспрекословном подчинении приказу, солдаты и офицеры соответствующего региона могут начать протестовать против экологически опасного строительства военных баз. Неудобный потому, что придется провести реформу Вооруженных Сил и, возможно, даже сокращение штатов. Этого большая часть командного состава армии боится прежде всего, поскольку, сколь это ни парадоксально, многие из оставивших военную службу офицеров к частной жизни и труду как бы и не пригодны. Особенно теперь, когда происходит демократизация. Привыкшие к беспрекословному подчинению, к неосуждаемости своих приказов, армейский порядок они часто пытаются установить и в частной жизни. Наверное, излишне объяснять, насколько это невозможно теперь.

Представляется симптоматичным, что именно армейские газеты сешно перепечатали печально известную статью Андреевой из газеты «Советская Россия», направленную фактически против демократизации нашего общества.

Последнее сокращение штатов в армии произошло в 1960 году, когда Вооруженные Силы были сокращены на один миллион двести тысяч человек. По инициативе Никиты Хрущева это решение принял Верховный Совет СССР. Нигде в официальных документах я не нашел, чтобы наряду с другими грехами тогдашнему Первому секретарю ЦК КПСС инкриминировалось бы ослабление боеспособности Вооруженных Сил. На той же сессии Верховного Совета Никита Хрущев не побоялся назвать точное число военнослужащих после сокращения штатов — два миллиона четыреста тридцать три тысячи солдат и офицеров. Какова численность наших армии и флота теперь? Если примем, что по соотношению сил мы равны США, то и по числу задействованных в армии лиц должно существовать примерное равенство.

Я говорил, что процесс перестройки в армии не будет быстрым и беспрепятственным, не обойдется без конфликтов. У него достаточно много противников. И пока перестройка не завершена, обществу следует выступать за гуманизацию армии, за полное обеспечение конституционных прав военнослужащих действительной службы. В том числе — права на образование и права на вознаграждение за труд.

Рассказ этот я начал с описания своего первого дня в армии. Закончу днем, отделенным от первого тремя годами.

Первые дни ноября 1967 года, и страна готовится с большой помпой отметить 50-летие Октябрьской революции. На утренней проверке вдоль нашего строя в сопровождении командира идет женщина лет шестидесяти и внимательно всматривается в каждого. После узнали, что ночью какой-то солдат ее изнасиловал и отнял пару рублей. Вскоре стали известны имя и фамилия преступника. Парнишка был из нашего батальона. Приказ о демобилизации его призыва уже был издан. Позже узнал, что его поймали где-то возле Урала. Судмедэкспертиза признала его совершенно нормальным психически...

Почему он совершил это преступление? Три года парень служил без нарушений дисциплины... Так почему?

Отрадно, что в последнее время в республике заметно повышается внимание к военно-патриотическому воспитанию. Об этом свидетельствует обсуждение этого вопроса в партийных и советских органах. ЦК Коммунистической партии Латвии и Политуправление Краснознаменного Прибалтийского военного округа провели совещание актива секции военно-патриотического воспитания общества «Знание». Вопросы военно-патриотического воспитания стали чаще обсуждаться в печати. Обратила на себя внимание опубликованная в журнале «Родник» (1988 г., № 7) статья А. Осина «Можно ли добиться мира оружием? Размышления над статьей А. Нуйкина «Мы все за мир!».

Нельзя не поддержать мысль автора о необходимости всеобщего разоружения, о тяжелом бремени, вызываемом непрекращающейся гонкой вооружений.

Можно согласиться с рядом критических замечаний относительно недостатков, которые еще имеются в армии, о необходимости искоренения «дедовщины», о вреде формализма и бюрократизма, о недопустимости чрезмерного использования воинских частей на хозяйственных работах и т. д.

Вместе с тем значительная часть положений статьи, особенно теоретических, военно-философских требует уточнения, а в ряде случаев вообще ошибочна, неприемлема.

Прежде всего надо отметить, что, взявшись «пролить свет» на оценку военной подготовки, ее состояние и перспективы, автор обнаруживает непонимание исходных положений, характеризующих войну, защиту Отечества. Чего стоит, например, его заявление, что «вооруженная защита Родины вполне естественна, и не следует ее путать с классовыми битвами. Это далеко не одно и то же» (с. 52).

Как видим, автор не видит связи между защитой Родины и классовыми битвами, утверждает, что это «не одно и то же». Но связь все же есть. И довольно существенная, фундаментальная. Ее видели многие домарксистские мыслители. Такие, как Белинский, Добролюбов, Чернышевский. (Я вынужден обращаться к их мыслям, поскольку А. Осин ссылается на рассуждения авторитетов прошлого, тем самым как бы претендуя на обобщение накопленного исторического опыта). Вот что пишет Белинский, характеризуя взгляд представителей буржуазии на любую войну: «Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов — далее они ничего не видят» (Белинский В. Г. Письма. Т. III, с. 329).

Вообще война — с точки зрения ее причины — не может не носить классового характера, ибо она является продолжением политики определенных классов. Любая! (В данном случае, разумеется, речь идет не о характере (т. е. средстве, цели) войн, а об их источниках, причинах.

Что касается характера ракетно-ядерной войны, то, как известно, она не может быть ни средством, ни целью политики, а, следовательно, в этом смысле и не может быть продолжением политики другими, насильственными средствами). Особенно та, в которой армия защищает социалистическое Отечество. Ленин, раскрывая назначение новой, социалистической армии, писал, что эта армия призвана оберегать завоевания революции, нашу народную власть от всех врагов (см.: Поли. собр. соч., т. 35, с. 216).

Доказательством верности приведенных положений является Великая Отечественная война. В ней защищались не только независимость наших народов от иноземного порабощения, но и наш социалистический строй, дружба народов, союз рабочего класса и крестьянства и другие ценности, носящие классовый характер.

Кроме того, есть и были навязываемые передовому классу гражданские войны, представляющие собой высшее выражение классовой борьбы. Таким образом, совершенно не соответствует действительности утверждение автора, разрывающего связь между защитой Родины и классовым характером войны.

Вызывает также возражение авторское понимание сущности военно-патриотического воспитания. «Интересно, — пишет он, — кто изобрел этот искусственный термин!» (с. 52). И отвечает: «Может быть, те, кто изгнал Наполеона, или победил на поле Куликовом! Вряд ли — раньше он не встречался» (с. 52).

Что можно сказать по этому поводу! Прежде всего то, что напрасно автор сокрушается об искусственности данного термина. Ведь любое слово (термин), обозначающее предмет или явление, в определенной степени искусственно. Именно в том смысле, что оно не существует независимо от человека, поскольку создается человеком для обозначения понятия, которое является результатом — и процессом! — отражения предметов и явлений материального мира. Поэтому всякое понятие представляет собой субъективный образ объективного мира.

Это в полной мере относится и к понятию военно-патриотического воспитания. В нем выражены объективные потребности общества по обеспечению своей независимости путем подготовки людей, способных защитить Родину. Данная подготовка включает как военное обучение, так и воинское, военно-патриотическое воспитание.

Значит, понятие военно-патриотического воспитания возникло не по прихоти какого-либо влиятельного лица, а является следствием, отражением определенных потребностей общественного развития. Понятно, что оно появилось не случайно, а закономерно, как была закономерна война в антагонистическом об-

честве. (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 41).

Поэтому истоки военно-патриотического воспитания следует искать не во времена наполеоновских войн или Куликовской битвы, а значительно раньше. Надо обратиться к периоду возникновения классового общества, первых войн.

Действительно, в работах мыслителей всех веков мы находим суждения о том, что мы называем военно-патриотическим воспитанием. Можно было бы напомнить высказывания древнегреческого мыслителя Платона (см.: Асмус В. Платон.— Мысль, 1969), английского материалиста Нового Времени Ф. Бэкона (см.: Бэкон Ф. Соч., т. 2, с. 417, 423, 437 и др.), французского материалиста XVIII в. Гольбаха П. (см.: Избранные произведения, т. 2, с. 251), представителя немецкой классической философии Гегеля Г. В. Ф. (см.: Соч., т. VIII, с. 255) и других.

Проблемой воинского воспитания занимались и классики марксизма. Так, Ф. Энгельс писал о «необходимости перенесения центра тяжести в военном обучении на воспитание молодежи» [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 396].

Заметим, что давнее существование понятия военно-патриотического воспитания вынужден фактически признать и сам А. Осин. Так, он пишет, что «явление военного патриотизма возникло не вчера, разумеется» (с. 53). Ну, а коль есть военный патриотизм, т. е. определенное морально-боевое качество, то требуется и его воспитание. Как же согласовать это верное положение с ранее высказанным о том, что этот термин раньше не встречался!

Однако здесь же, после признания, что это понятие существует давно, автор добавляет: «... То, что оно неожиданно всплыло сейчас — страшно...» (с. 53).

В связи с приведенной фразой хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, проблема военно-патриотического воспитания в нашей социалистической стране всплыла не сейчас, а сразу же после победы Октябрьской революции. Кому не известны ленинские слова о том, что мы стали оборонцами, что защита Отечества требует длительной, систематической работы по воспитанию и обучению защитников молодого государства. «... Наши шаги к миру,— говорил Ленин в докладе на IX съезде РКП(б),— мы должны сопровождать напряжением всей нашей военной готовности...» (Полн. собр. соч., т. 40, с. 248).

И ныне партия ставит задачу совершенствовать воспитательную работу по формированию у воинов армии и флота таких морально-боевых качеств, как бдительность, дисциплинированность (см.: Материалы XXVII съезда КПСС.— М.: Политиздат, 1986, с. 161).

Следовательно, во-вторых, призыв к совершенствованию готовности людей к защите Родины, воспитание такой готовности не только не страшны, но как раз избавляют людей от страха развязывания империалистами агрессивной войны, вселяют уверенность в успешном отражении посягательств агрессора.

Классики марксизма критиковали тех людей, которые пренебрегли воспитанием высоких морально-боевых качеств у воинов и населения в мирное время. «Как много твердят о решающем значении моральных факторов во время войны! — писал Энгельс.— А чем занимаются в мирное время, как не тем, что почти сис-

тематически уничтожают эти факторы» [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 411]. Как разительно отличается мысль Энгельса от сетований нашего автора, сокрушающегося, что в настоящее время «постоянно и настойчиво любовь к Родине связывают с военной подготовкой и даже с военным воспитанием [тоже интересное понятие]» (с. 52).

Из этих «теоретических» оснований делаются и практические рекомендации, наставления, подвергаются критике соображения тех, кто настаивает на нравственной подготовке воинов, на необходимости определенного отношения к потенциальному противнику.

Так, после прочтения в «Аргументах и фактах» заявления молодого офицера о важности воспитания ненависти к потенциальному противнику наш автор восклицает: «Да ведь мы, народ советский, тем гордимся всегда, что на нас надо напасть, попать нашу землю, убить кого-то, чтобы мы стали воевать и убивать!» (с. 53).

Правильно, что ни нападать ни на кого, ни тем более убивать кого-либо первыми мы не собираемся. И действительно гордимся этим. Но разве это означает безразличие к тем, кто прямо называет нашу страну врагом № 1, «империей зла» [верно, автор этого высказывания изменил свое мнение, но немало влиятельных лиц откровенно и на весь мир заявляют, что они совершенствуют современнейшее оружие для возможного применения против нас]. А сколько фильмов выпущено с изображением наших воинов как агрессоров! Мишени на стрельбищах также с изображением советского солдата. Оба нынешних претендента на президентское кресло в США также повторяют мысль о политике с позиции силы в отношении именно Советского Союза.

Хорошо известно, что Ленин неоднократно предупреждал: чтобы победить врага, надо его ненавидеть. Но эта ненависть мгновенно не приходит. Она воспитывается. «Воспитание,— писал он,— это длинное и трудное дело» (Полн. собр. соч., т. 40, с. 267). Понятно, что когда речь идет о враге, то не имеется в виду народ той или иной страны, а подразумеваются силы, которые готовят войну против СССР. На XIX Всесоюзной партийной конференции отмечалось, что «мы не забываем об угрозе миру со стороны империалистического милитаризма...» [Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС.— М.: Политиздат, 1988, с. 33].

Трактуемое А. Осиним отношение к воспитанию готовности к защите Родины, думается, проистекает в определенной степени из его неверного понимания сути любви к ней. Он утверждает, что Родину любят «вообще не за что-то, а просто потому, что это — моя Родина. Так я считал и считал...» (с. 2).

То, что А. Осин так считал и считает, спорить не приходится, ибо это его право, его мнение. Но на каком основании базируется его безапелляционное утверждение, что и все так Родину любят, что эта любовь какая-то иррациональная. Причем автор рассматривает эту точку зрения как аксиому, как положение, не требующее доказательства.

Но ведь это утверждение нуждается в обосновании. Хотя бы потому, что с ним, этим утверждением, не согласны довольно авторитетные люди.

Вот что, например, пишет Ленин в статье

«О национальной гордости великороссов»: «Мы любим свой язык и свою родину... Мы гордимся тем, что... эта среда [среда великороссов — Н. И.] выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика» [Полн. собр. соч., т. 26, с. 107]. Наглядно видно, за что революционер любит свою страну.

Основания любви к Родине не раз выражались и в поэтической форме. Как тут не вспомнить замечательные стихи А. Лочмелиса:

Синее море,
Синие горы,
Синие реки,
Просинь-озера...
К морю янтарному
Берег прилег,
Латвия наша —
Синь-василек

[Современная латышская поэзия. В двух т.т. — Рига, «Лиесма», 1984, т. II, с. 257].

Довольно наивными выглядят рассуждения А. Осина о пацифизме. Он возмущается, что против пацифизма выступают военные теоретики генерал-полковники М. Гареев и Д. Волкогонов. Но «их,— считает автор,— можно понять... «Бой пацифизму, лицемерному другу мира» призывал дать литератор А. Пикач» (с. 53).

В первую очередь нельзя не отметить достаточно прозрачного и необоснованного обвинения военных людей, выступающих против пацифизма. Причем очень тяжелого обвинения. Ведь по сути дела автор утверждает, что борьба военных людей против пацифизма продиктована их личными интересами: боязнь остаться без «дела». И их поэтому «можно понять». Но нельзя понять литератора А. Пикача, поскольку он человек не военный. Вдвойне, следовательно, не заинтересован. Странная, однако, логика упрекать в нелогичности А. Пикача!

На самом деле интересы А. Пикача и военных общие. Конечно, и он, и военные считают войну мерзким делом, которое надо не допускать. Здесь проявляется совпадение со взглядами пацифистов. Но можно ли словами убедить агрессора? История человечества, особенно последнего времени, говорит — нет! Даже умиротворение не только не снимает захватнических устремлений агрессора, а разжигает их. Доказательство тому — нозор Мюнхена.

Именно поэтому, оценивая пацифизм, Ленин писал, что «отказ от военной службы... есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией...» (Полн. собр. соч., т. 26, с. 41).

Из факта выступлений наших военных против пацифизма, а также в связи с другими обстоятельствами в статье делается неправомерный вывод: «весьма похоже, что у нас в стране существует и действует ВИК [военно-идеологический комплекс — Н. И.], он же ВБК [военно-бюрократический комплекс — Н. И.]» (с. 55).

Причем автор «видит» аналогию между военно-промышленным комплексом США и нашим, отечественным: «Уже напрашивается параллель — некий военный комплекс!» (с. 53). А в чем эта параллель, какие основания для подобного

отождествления — автор не показывает. Это и понятно: ведь доказать, обосновать мысль, не отражающую действительность, не только трудно, но, как правило, невозможно.

Кто же может противодействовать интересам изобретенного А. Осиним «военно-бюрократического комплекса»? Такой силы в нашей современной стране автор не обнаруживает. А потому «ударяется» в историю, сочиняет байки о гуманности, человеколюбии Николая II. «Недаром еще в 1897 году, — узнаем мы, — был поднят вопрос о всеобщем и полном разоружении, и именно Россия, несмотря на многих врагов и конкурентов на Западе и Востоке, его выдвинула. Неужели сейчас меньше оружия, или мы стали менее гуманны, чем Николай II» (с. 55).

Характерно то, что гуманность Николая II не ставится под сомнение. Неопределенность автор обнаруживает в уровне нашей гуманности. Приходится удивляться представлению А. Осина о невежестве и доверчивости читателя, которому достаточно назвать Николая «кровавого» ангелом и он станет его обожествлять. Заметим, что сейчас не только наш автор расцвечивает святым ореолом последнего русского царя. Неслучайно журнал «Молодой коммунист» поместил статью, в которой подробно рассказывается об отношении царя к своим подданным. Вот слова из письма Николая II своей «мама» в связи с событиями в годы первой русской революции: «В Прибалтийских губерниях Орлов, Рихтер и барон Ферзен действуют великолепно — замещение уже близко... В Сибири того лучше, но еще не кончена чистка от всей дряни... Витте после московских событий резко изменился. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Горячо тебя любящий Ника» [цит. по: «Молодой коммунист», 1988, № 8, с. 69]. А кому неизвестно благословение царем гвардии на бойню 9 января 1905 года! И такого человека именовать гуманистом, миротворцем!?

Автор вспомнил о «миротворческом» жесте царизма в 1897 г., но почему для него как бы и не существовали многочисленные мирные инициативы нашей страны до и после второй мировой войны, особенно в последнее время. А ведь были не только призывы, но и практические действия. Напомним хотя бы длительный мораторий на испытание ядерного оружия.

Несмотря на то, что эти события и недавние, но их заплематовал А. Осин, продолжая петь дифирамбы царю, оправдывать его несбывшиеся желания освободить мир от войн и оружия, выискивая причины неосуществления благородных устремлений российского владыки. Оказывается, главная причина была в том, что «бюрократия могла тормозить выполненные решения царя...» (с. 55).

Вспомнил, точнее придумал это «некрошумное» для царя препятствие А. Осин, видимо, не случайно. Это потребовалось, чтобы еще раз бросить камень в сторону наших «кровожадных» военных: «Здесь есть, — заключает по этому поводу свою мысль наш автор, — о чем задуматься» (с. 55).

Заслуживает внимания оценка в статье места и роли армии, прежде всего нашей, советской. Причем здесь автор все же снисходит к авторитету классиков марксизма. В частности, приводит цитату

Маркса о том, что «армия — паразит общества». Для А. Осина совершенно не имеет значения, о какой армии ведет речь основоположник научного коммунизма. Однако Маркс говорит об армии антагонистического общества, т. е. армии, важнейшей функцией которой является подавление сопротивления трудящихся, защита интересов господствующего меньшинства. Разве правомерно распространять эту оценку на социалистическую армию! Армию, стоящую на страже интересов народа! Нет, конечно.

Вне поля зрения А. Осина осталось и то известное положение, что классики марксизма, исходя из возможности победы социалистической революции во всех или большинстве наиболее сильных капиталистических стран, не разрабатывали детально особенности социалистической армии.

Тем не менее в первые годы существования социализма, по их мнению, потребуются на какое-то время армия, коренным образом отличающаяся от армий антагонистических формаций назначением, функциями, морально-боевыми качествами (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 2, с. 539).

Всестороннее раскрытие сущности социалистической армии осуществил Ленин. Характеризуя ее назначение — а в связи с этим и отношение к ней народа — Ленин писал: «... В народных массах поднимается другой голос; они говорят себе: не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает интересы трудящихся и будет беспощаден в подавлении эксплуататоров» (Полн. собр. соч., т. 35, с. 269).

Автор статьи, опираясь на единичные факты, делает ошибочные выводы об отношении советского народа, особенно молодых людей, к нашей армии. Так, с нескрываемым восторгом цитирует он слова одного допризывника, опубликованные в «Учительской газете»: «Ребята мечутся по стране, не зная, в какой институт сунуться, лишь бы не в армию» (с. 53).

Да, к сожалению, есть и такие. Преимущественно те, кто ценности свои жизненные формирует, опираясь на статьи, подобные рассматриваемой. И тем не менее, разве они характеризуют отношение к защите Родины всей нашей молодежи! Разве не о противоположном говорят многочисленные заявления допризывников идти служить туда, где наиболее трудно, ответственно, где наиболее полно раскрываются и развиваются морально-боевые качества — в воздушно-десантные войска, в морскую пехоту и т. д.

Несмотря на эти очевидные факты, а, пожалуй, в связи с ними, А. Осин возмущен повторением генерал-полковником Гареевым партийной оценки наших Вооруженных Сил как школы политического, боевого и нравственного воспитания. По мнению А. Осина, такая оценка противоречит подлинному назначению армии: «... Армия вместо вынужденного средства защиты стала без малого источником всех материальных благ и духовных ценностей, здоровья и нравственности» (с. 52). Автор недвусмысленно приписывает своим оппонентам никогда ими не выраженную мысль, что армия — единственное средство воспитания, что она заменяет школу, семью и т. д., что «есть прекрасный костыль — армия» (с. 58).

По А. Осину, широко распространенное понимание роли нашей армии как школы

воспитания — это выдумка заинтересованных лиц военно-бюрократического комплекса. Причем выдумка, возникшая только в последнее время. И только в нашей стране. Потому что, как говорится в статье, «никогда раньше самый отъявленный милитарист не доказывал, что армия — источник духовности» (с. 52). Более того, по А. Осину, армия вызывает «угасание творческих способностей» (с. 56).

И эти тезисы, совершенно не подкрепленные аргументами, «висят в воздухе». А ведь рождение духовности и в армейской среде подтверждают многие факты... Где начали свою творческую, литературную деятельность великие русские мастера слова Л. Толстой и М. Лермонтов! Будучи в армии. Об огромном воздействии армейских условий на формирование передовой морали немало написано Симоновым, Твардовским и другими известными советскими писателями.

Сказанным я вовсе не пытаюсь доказать, что воспитательные потенции любой армии одинаковы. Отнюдь нет. Они могут быть противоположны, т. е. армия, реализующая ныне реакционные цели, зачастую становится источником самых отрицательных качеств людей (см.: Джонс Д. Отсюда и в вечность. — М., 1969).

Социалистическая армия изначально призвана быть и школой развития человека. Так, Красная Армия с первых дней своего существования стала источником культуры советского народа, очагом грамотности. Через ее ряды с 1918 года прошли миллионы крестьян, обогатившиеся культурными навыками (см.: «Литературная газета», 1988, 13.07).

И сейчас армия продолжает оставаться местом всестороннего развития личности, о чем хорошо известно. Немало юношей, уходящих служить маленькими сынками, возвращаются трезво мыслящими, самостоятельными мужчинами (см.: «Молодой коммунист», 1988, № 8, с. 12).

Поэтому-то на XXVII съезде партии поставлена вполне обоснованная задача — добиваться, чтобы и впредь «наша армия была школой воспитания гражданской ответственности, мужества и патриотизма» (Материалы XXVII съезда КПСС, с. 62).

Основная масса армейских руководителей, политработников, партийных и комсомольских организаций стремится сделать все от них зависящее, чтобы эти возможности армии реализовались. Особое внимание уделяется укреплению дружбы и взаимопомощи между представителями различных наций и народностей.

Поэтому далеким от подлинного положения дел является ничем не обоснованное утверждение А. Осина о том, что командиры самоустранились и доверили «воспитание» «дедам», что этот порядок командиры изменить не заинтересованы, поскольку считают его вполне естественным и удобным (см. с. 56). Да это же самая беспардонная клевета! Если и есть отдельные командиры, у которых влиятельны «деды» [что очень сомнительно!], то на этом исключительном факте нельзя строить вывод, что это везде так, что командиры не только безразличны к «дедовщине», но и заинтересованы в ней.

Как могут быть заинтересованы командиры в том, что является наиболее важным показателем их плохой работы! Ведь наличие господства «дедов» — самая отрицательная характеристика деятельно-

сти командира, любого военного руководителя, показатель несостоятельности его! А по А. Осину получается, что командиры нашей армии только тем и занимаются, что награждают данные о своей неспособности быть тем, чем и кем они являются. Странное представление!

Читаешь статью А. Осина и «видишь», что наши современные армейские руководители не только устранились от воспитания, но и не занимаются серьезно и обучением солдат военному делу. В самом деле, что же это за обучение, если оно такое, каким его — вновь бездоказательно — обрисовал автор: «Эффективность обучения! Через год не всякий помнит, с какой стороны заряжается автомат» (с. 56). Неужели автор надеется, что читатели поверят этому нелепому утверждению!

И уж вовсе нетерпим А. Осин к постановке военной подготовки в вузах. Исходя из оценки, данной в статье, другого там и ожидать не следует, ибо руководители военной подготовки студентов наделены такими качествами, что по ним давным-давно тюрьма «плачет». Вот как описывается в статье нравственный уровень работников военных кафедр: «В ряде институтов они ставят зачеты чехом, мне самому не раз приходилось получать их таким образом. У кого не получается — известна четкая такса, причем почти во всех вузах она одинакова. Принимают подношения многие (что интересно — коньяком! Последнее время все чаще соглашаются и на водку)» (с. 56).

Никак не удержаться от нескольких вопросов автору: как же сами-то вы шли на подобное беззаконие, соглашаясь таким путем принимать от себя зачеты! Почему не поставили вопрос там, где следует! Почему мирились с подношениями! Тем более спиртными напитками!

И еще хочется спросить: для чего же потребовалось оскорблять целые коллективы людей! Некоторые свои цели А. Осин не скрывает. Так, он прямо заявляет о бесполезности военной подготовки лю-

дей, поскольку это ничего не дает, ибо военная подготовка «на передний план выходит лишь в предвоенные годы, когда война уже, по выражению поэта, «висит в воздухе» (с. 52).

И снова невольно встает вопрос: это утверждение — детская наивность или злостный умысел недоброжелательного человека! В самом деле, какой в современных условиях «рентген» способен зафиксировать миг «висяния войны в воздухе»? Как можно в столь сжатые сроки подготовить человека к такой опасной, ответственной и сложной деятельности! Да еще при наличии современной техники! Поэтому-то Ленин в другое время, не столь насыщенное современным оружием, характеризует подготовку к защите Родины, писал: «Советская власть изо всех сил убеждает население учиться военному делу... Усиленная подготовка для серьезной войны не порыва, не клича, не боевого лозунга, а длительной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной работы в массовом масштабе» [Полн. собр. соч., т. 36, с. 325].

И в этом деле велико значение военной подготовки в вузах, школах. Особенно результативна патристическая деятельность молодых людей, отслуживших срочную службу, прежде всего, прошедших суровую боевую школу в Афганистане. Казалось бы, это — уж безусловно очевидное. Но оно-то как раз и вызывает возмущение нашего автора, очень сокрушающегося, что «неформалы» в лице «морпехов» и «афганцев» включились в работу по становлению мужественных защитников Родины (см. с. 54).

Почему же так опасается А. Осин влияния патристически настроенных, прошедших интернациональную школу людей на подрастающее поколение! Это, пожалуй, можно предположить, оценивая реплику, которая буквально вырывается у нашего автора после ознакомления с сообщением А. Нуйкина о том, что «не все сегодня молодые люди, в отличие от своих сверст-

ников 30-х и 40-х годов, хотя драть за нашу идею — коммунизм». Это известие А. Осин воспринимает с нескрываемым вздохом облегчения и удовлетворения: «Слава богу, что не все!» Да, да, с восклицательным знаком написана эта фраза.

Впрочем, по вопросу о сроках военной подготовки молодежи статья не свободна от противоречий: то автор настаивает, что можно в короткий срок, после того «как потянет порохом» подготовить защитников, то объявляет, что требуется основательная и длительная подготовка, которая доступна только профессионалам.

Статья насыщена и другими противоречиями. В одном месте говорится, что в армии не может быть действительного воспитания, а в другом — высказываются достаточно рациональные предложения о путях совершенствования воспитания в армии.

В заключение нельзя не сказать об авторитетах, на мысли которых опирается автор статьи. В их числе мы видим и Бисмарка, заgrimированного под миротворца, хотя его захватническая политика широко раскрыта, в частности, классиками марксизма-ленинизма, показавшими его стремление милитаризовать не только экономическую и политическую жизнь страны, но и процесс воспитания молодого поколения. Как известно, в этом отношении он обращал особое внимание на школьного учителя как проводника великопрусского шовинизма.

Однако в статье не найдешь мыслей подлинного военного авторитета, высоко ценимого Марксом и Лениным — Энгельса. Не обнаружишь в статье и ленинских оценок военных проблем. А ведь именно ему принадлежит глубокая оценка причин, сущности, характера, роли войн эпохи империализма, особенностей современных армий, закономерностей защиты социалистического Отечества.

К отчизне пылкая ЛЮБОВЬ

Уничтожить память народа можно, только уничтожив сам народ. Из памяти могут выветриться одни имена, возродиться в ней другие, и даже не совсем по заслугам, но она никогда не ошибается в главном, глобальном, и воскресший интерес к событиям лета 1939/40 года в Латвии тому, пожалуй, яркое свидетельство.

Полстолетия имя Карлиса Улманиса являло собой символ латвийского времени, Латвийского государства.* С 1918 г. по 1934 г. Карлис Улманис неоднократно возглавлял правительство, исполнял обязанности министра социального обеспечения, земледелия, иностранных дел. С 15 мая 1934 г. — К. Улманис — премьер-министр. 1936—1940 гг. — премьер-министр и президент. Видимо, никто уже не спорит о том, что личность эта уникальная. Однако — чем же объяснить феномен Улманиса? Почему он не исчез из народной памяти? Может, ничего лучше «улманисовских времен» в Латвии никогда не было? А быть может, последующий период послужил своего рода выгодным фоном и поводом для идеализации «мирного времени»?

Чрезвычайно недоумие живущих рядом с латышами представителей других народов, отчего это латыши так «прикипели душой» к тем двадцати годам (1920—1940). Следует ясно и недвусмысленно ответить — эти годы суть единственная пора собственной государственности, то есть высшего проявления воли нации, в истории латышского народа. Эти годы дороги и тем, кто их не видел, потому что родился на свет много позже, дороги сознанием горечи невозвратимой утраты.

За двадцать лет существования Латвийской Республики выросло целое поколение. Что мы знаем о его идеалах, мечтах, целях? Одно несомненно: именно этому единственному в нашей истории «поколению независимости» пришлось расплачиваться по самой высокой ставке. Его эмоциональный опыт — в наших генах.

Примечание: в текст вкраплены цитаты из сборника речей и статей К. Улманиса «Горение». Советские историки считают, что «у него не без влияния сельскохозяйственного образования сложился свой стиль — окрашенных в патриархально-отеческие тона кратких наставлений и поучений». В какой-то степени с этим можно согласиться, но только частично, так как мы не располагаем объективной информацией о психологии крестьянства в Латвии 30-х годов и приведенная выше оценка отражает современную точку зрения.

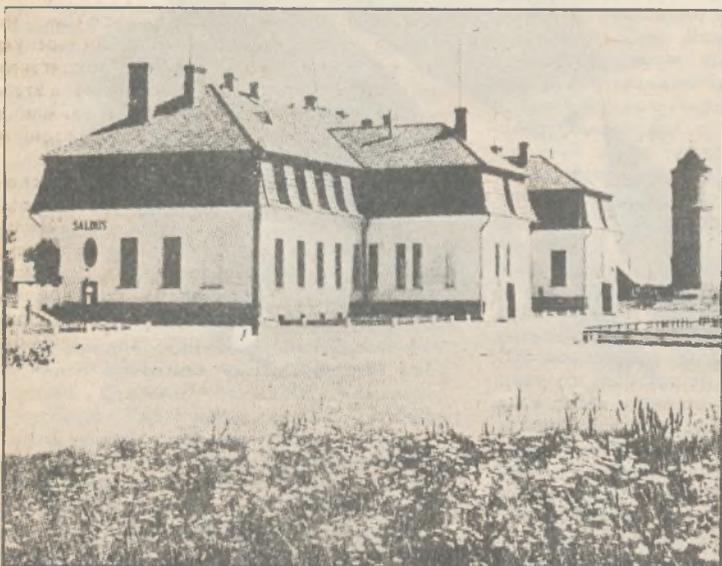
АЛЕКСАНДРС МЕЛЛЕНС родился в 1920 году в Армавире Краснодарского края (его отец уехал туда после событий 1905 года, спасаясь от преследований как «бунтовщик». В Армавире он женился на эмигрантке латышке. Занимался сельским хозяйством и торговлей. В 1924 году семья вернулась на родину). Во время тотальной мобилизации 1944 года был призван в немецкую армию. В 1945—1947 годах находился в так называемом фильтрационном заключении на Дальнем Востоке. В 1948—1955 годах — заключенный лагеря трудового перевоспитания Вятлага (Кировская область). С 1956 года — колхозник.

— Вы принадлежите к тому «поколению времен независимости». Как бы Вы могли охарактеризовать Карлиса Улманиса?

— Я не знаю никого в истории свободной Латвии, кто был бы так тесно связан с этим, ныне уже ставшим мифом, государством. Все еще надеюсь, что кто-нибудь из молодого поколения скажет правду и высветит образ человека, чьи заслуги и вклад в создание и укрепление

авторитета Латвийского государства можно сравнить с усилиями Райниса и Кронвалдса, раскрывших и приумноживших духовные сокровища латышского народа. В обоснование теорий философов и идеологов Улманис создал материальную политико-правовую базу, то, что включает в себе понятие свободного и независимого Латвийского государства. Не могу представить, чтобы человек совершил нечто подобное, обуреваемый эгоизмом

или жаждой власти. Был ли он диктатором? Не знаю. Я заинтересовался этим только после того, как ему стали «приписывать» диктаторство. Моей воли или свободы его деятельность никогда не подавляла. Как раз наоборот, хозяйственная и идеологическая политика Улманиса раскрепостила мои силы, сделала мое человеческое «Я» гармоничным и всесторонне развитым. Ремесло хлебороба всегда уходило корнями в патриархальную организацию общества,



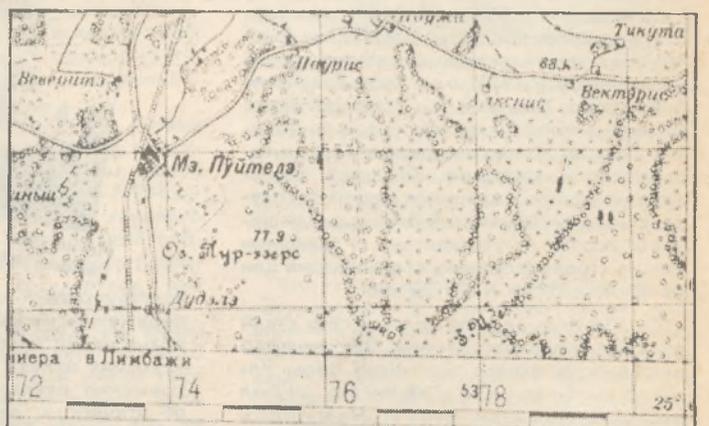
Одно из вокзальных строений (г. Салдус)



Усадьба молодохозяина «Лачплеши»
Фоторепродукция АТИСА ПРАУЛИНЬША

Эта карта Генштаба Красной Армии была совсем недавно найдена в куче макулатуры. Внимание привлекали даты: Первое издание 1938 г., составлена в 1936 г.

Известно ли что-либо по этому поводу историкам, которые занимаются отношениями между СССР и Прибалтийскими государствами в 30-е гг.?



Выпуск 2 (2) зак. 1874 III 42 Сад
Составляла в 1936г. техник-картограф Канцгева
Чертили герт-картографы: Ботик и Малкова М.

Фото ГВИДО КАЙОНСА

поэтому функция Улманиса-хозяина казалась мне само собой разумеющимся делом. Меня несколько не интересовало, как он стал хозяином. Все представлялось до того естественным, будто сам Господь предназначил ему это место с сотворения мира. Что ж, память о нем у народа в душе и на устах. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь произносил словосочетание «улманисовские времена» с той же отрицательной и осуждающей интонацией, как «сталинские времена». Улманис стоял у колыбели и над гробом свободной Латвии и погиб едва ли не одновременно со своим детищем.

— Советские историки однозначно трактуют фигуру К. Улманиса как сторонника авторитарной власти и весьма негативно оценивают переворот 15 мая 1934 года. Что на деле (реально) изменила эта дата в жизни Латвии? Как понимать слова Улманиса: «Май в нашей стране — месяц единения». «Вы требовали твердой руки в государстве. Теперь вы ее получили, и она будет достаточно тверда». «Единство в стране, единство среди сограждан и в народе, и пусть это единство ширится и крепнет, захватывая самые широкие слои населения». «С 15 мая нашей задачей стали концентрация и объединение сил во всех областях жизни нашего государства и народа».

— Той самой весной я окончил начальную школу. Карлис Улманис был для меня в то время лишь одним из целого ряда основателей Латвийского государства, перечисленных в обязательном курсе истории. После переворота 15 мая я не заметил ни восторгов, ни сомнений, и в школе, и в жизни нашей волости все шло по прежнему руслу. В памяти остались высказывания взрослых: «Это уже не было похоже на правительство». «Какой-то порядок ведь нужен». Видимо, эти и им подобные фразы относились к деятельности Сейма, многопартийная система все никак не могла обеспечить оперативную организацию хозяйственной жизни. Меня, подростка, все это не интересовало, переворот ничего не изменил в моем понимании действительности. Да и после окончания школы, когда я работал в отцовском хозяйстве, новые веяния мало меня касались. Радио тогда было у немногих, а в газетах я проглатывал романы Вилиса Лациса, печатавшиеся с продолжениями, и фельетоны. Однако, необходимость разумно вести хозяйство заставляла быть в курсе правительственных рекомендаций и пособий. До 1934 года наше хозяйство было скорее бедным, чем средним. Даже машин на конной тяге мы не имели. Помню, отец одобрительно высказывался о хозяйственной реформе Улманиса, переводе долгов из волостных банков в Государственный Земельный банк с уменьшением выплат по процентам, о снижении цен на стройматериалы, стабилизации цен на мясо, молоко и так далее.

С 1936 года на селе повсеместно стали появляться радиоприемники. Это средство информации играло огромную роль. Улманис выступал часто и эффективно, он был неплохим оратором, умел угождать самому требовательному вкусу и природной деловитости крестьянина. На меня, правда, большее впечатление производили стиль и образность его речей, патриотизм, гуманизм. Даже самый заскорузлый, замшелый консерватор был вынужден слушать их, чтобы плыть, так сказать, в фарватере аграрной политики Улманиса. Деловой,

Д-р Карлис Улманис, президент Государства и Кабинета министров.



Dr. KĀRLIS ULMANIS
Valsts un Ministru prezidents



Илукстская государственная гимназия и начальная школа.



Народный дом в Валке.

конструктивный элемент его речей всегда перемежался идеологическими вставками, пламенными призывами. Его выступления «сухими» нельзя было назвать. Он одновременно руководил страной, заботился об этическом, духовном облике народа.

Дух его речей неизбежно и поднимал самосознание народа. И дух этот был исполнен гуманности и доброты. В его речах никогда не звучали идеи насилия или революции. Все выдающиеся вожди лепят народ «по своему образу и подобию». Поэтому и заключены в словосочетаниях «улманисов-

ские времена» и «сталинские времена» понятия совершенно противоположные, несовместимые. Сталин провозглашал насильственное перераспределение продуктов труда, Улманис — учение об их производстве.

Что я знаю о Карлисе Улманисе? Из каких источников черпаю информацию, на чем основаны мои представления и убеждение в несомненном величии этого человека? Могут ли вообще мои суждения быть хоть сколько-нибудь объективными? Теоретически у меня не может быть представлений о подлинной свободе и демо-

кратии, так как начало моей сознательной жизни как гражданина совпадает с 1934 годом, то есть с установлением диктатуры (?). Я крестьянин, следовательно принадлежу к привилегированному (?) классу, лидером которого был Улманис. У меня в то время не было возможности — ни легальной, ни нелегальной — познакомиться с навязанными (?) нам впоследствии глобальными и космическими классовыми учениями Ленина, Маркса, Сталина. Будь я возбужден оглушающим боевым кличем пролетариата, возможно, и мне казалось бы, что мое призвание — разрушать до основания, отвергать основные этические и эстетические принципы человечества. Следует ли мне быть благодарным деятельности Улманиса, в результате которой я остался в путях «мелкотравчатого шовинизма» «маленького народца»? Что если судьба свела бы меня с каким-нибудь профессиональным подпольщиком — может, и я встал бы на «правильный» путь? И не строил бы десять лучших лет своей жизни коммунизм под злобное рычание псов и сверкание штыков вертухаев?

От чего зависит политическая ориентация индивида? Воспитание? Среда? Случайность? Может, это животный инстинкт, тот самый, что удерживает перелетных птиц на трассе, а червя под землей? Существует ли осознанная возможность выбора? Многие неизвестные в этом уравнении наводят на мысль, что индивид способен объективно оценивать ситуацию, осознанно направлять, формировать свою судьбу. Фатализм? С этими вопросами приходится сталкиваться вплотную, когда общество накладывает на индивида ответственность за его судьбу, преследует поверженных, инакомыслящих. Вправе ли общество нивелировать индивидуальность своих вождей, порицая их или удостоивая награды? Известная часть общества восхваляет Сталина, осуждает Улманиса, и наоборот. Где, в каких инстанциях обжаловать приговор забытым богам и свергнутым властителям? Вождизм, власть, управление людьми в любом случае связаны с насилием. Значит, любое сосредоточение власти в одних руках по принципу вождизма и в лице вождя отрицают справедливость и прогресс. Исключений нет. С этих позиций оценка Улманиса выходит однозначно негативной. Но чем же объяснить миф о «добром царе»? Может быть, личность вождя является все же определяющим фактором в общественно-политической ориентации и деятельности индивида? И если это так, то вождь и ответствен за индивида? Где, в самом деле, кончается ответственность вождя и начинается — ведомого? Ведь существует же в человеческом обществе ответственность индивида.

Как оценить переворот 15 мая? С точки зрения интересов Латвийского государства и латышского народа — позитивно. С точки зрения умозрительной, теоретической демократии — негативно. Вопрос тогда стоял так — хотим ли мы сохранить Латвию как свободное государство или готовы утратить ее, во что бы то ни стало реализуя демократические принципы? Диктатура для Улманиса не была самоцелью. Он ведь основывал в свое время Латвийское государство на демократических принципах и придерживался их в дальнейшем, этого нельзя забывать! Позднее, общаясь с близко стоявшими к правительству людьми, я получил информацию, которая укрепила во мне убеждение, что, не будь 15 мая, латыши очутились бы под

властью Сталина лет на пять раньше, как раз в самый разгар кровавых репрессий. Ни Сталин, ни Гитлер никогда не упускали из виду Прибалтийский регион, слишком велико было его стратегическое значение. Благодаря существованию в странах Прибалтики демократических устоев обе державы сравнительно легко наводняли их своими агентами, которые действовали довольно эффективно. Вполне возможно, что улманисовский переворот опередил коммунистическое подполье — не Компартия Латвии, а коминтерновское — не более, чем на полгода. В 1934-м планы передела Европы еще только бродили в головах обоих диктаторов, окончательно секретное соглашение было достигнуто примерно в 1936—37 году. Не случись улманисовского переворота, Прибалтика была бы включена в империю Сталина без разрешения Гитлера, со всеми прожитыми здесь остзейскими баронами.

Даже если мы и отбросим этот вариант за недоказанностью, все же нельзя отрицать положительного результата переворота 15 мая в области экономики и культуры. Уникален сам по себе тот факт, что переворот был совершен без особого насилия и, насколько известно, без кровопролития. Сам Улманис время своего правления считал временным положением. Конституция не была отменена. Может статься, со временем и режим Улманиса переродился бы в культ личности. По крайней мере так утверждают историки и социологи. Но за шесть лет успели проявиться одни только позитивные аспекты авторитарного единоличного правления. Именно в улманисовское время Латвия зарекомендовала себя в мировом сообществе как экономически стабильное государство с высокоразвитой культурой и вышла в авангард малых стран Европы. Это доказано документально. Общий расцвет государства не мог не сказаться на всех слоях населения. Осмелюсь поэтому утверждать, что политику Улманиса поддерживало большинство народа. Конечно, были и недовольные, особенно среди интеллигенции. Им казалось, что материальный рост еще не оправдание для узурпации власти и попрания демократических принципов. Известные трудности приходилось испытывать и профессиональным революционерам-подпольщикам. Меня же больше всего огорчало все воздававшее прославление Вождя нации. Подхалимы усердствовали в открытую. Импонировало ли это Вождю? Во всяком случае он не пытался приглушить потоки лести. И это угнетало и повергало в недоумение.

О молодежи:

«Коль скоро мы хотим, чтобы Латвия не осталась преходящим явлением, следует возвращать в молодежь идеалы, мысли и нравы героического поколения» (1933 г.).

«Нигде не увидишь такого горячего стремления к свободе, такой пылкой любви к отечеству, такого настойчивого требования национального государства, как среди нашей молодежи» (1933 г.).

«Устрой свою жизнь и труд так, чтобы ты ежедневно мог проводить какое-то время с человеком, который умнее тебя и знает больше, чем ты. С живым, если тебе посчастливится найти такого, или же с человеком ушедшего поколения путем чтения хороших книг. Человек способен к духовному росту. Но только в том случае, если укрепляет и возвышает свое духовное начало. Не общайся все свое время с такими людьми, которые знают ровно столько же, сколько и ты, или даже меньше тебя! Дай возможность какому-нибудь

человеку большого и зрелого ума и духа тебя вдохновлять и тебя воспитывать!» (1921 г.).

«Задача школы — заботиться о том, чтобы вырастала молодежь, которая станет достойной сменой старшего поколения и сможет продолжить и поднять на новую ступень его дело; молодежь, готовая и дальше развивать культуру; молодежь, сознающая свой долг по отношению к себе самой, к обществу, народу и государству; молодежь, воспитанная и подготовленная к служению народу и государству; молодежь, полностью отдающая себе отчет в ценности и значении государства, своего государства; молодежь, которая сможет уважать и любить, а если понадобится, то и защитить государство в борьбе с трудностями, идя ради этого на жертвы.

Латвия всецело завладеет умами такой молодежи, они пронесут ее в своих сердцах, в своих горячих сердцах» (1936 г.).

— Что об этом патристическом поколении неустанно думали и заботились, свидетельствуют стройные школьные здания, возведенные в годы независимости. Любовь, основательность, тщательность, выверенность — вот что выражают эти здания, по-видимому, люди смело смотрели в будущее. Дает ли независимость людям веру, надежду, смысл жизни?

— Улманису принадлежит «Дружеский призыв» не забывать свою первую школу, жертвовать ей книги и другие культурные ценности, крепить тесную связь крестьянства и сельской интеллигенции, развивать всячески сотрудничество между ними, направленное против классового расслоения народа. По его инициативе проводились «Дни леса», они помогли осмыслить, что такое сельский ландшафт и как его беречь и лелеять. Многие люди моего поколения могут сегодня отдохнуть в тени деревьев, посаженных когда-то их собственными руками по обочинам латвийских белеющих большаков. В годы правления Улманиса новая школа или другое культурное заведение на селе были само собой разумеющимся явлением. Общий хозяйственный и культурный расцвет государства — аргумент, который невозможно сбросить со счетов при оценке личности Улманиса. Я убежден, что свидетельства той поры расцвета можно найти и в документах, в статистике. Надо документально подтвердить способность латышского народа культурно и зажиточно существовать за счет ресурсов своей страны, собственную трудя! Пора развеять нигилизм скептиков — мол, нас чересчур мало, земля наша бедна, и нам ли мечтать о свободном, независимом Латвийском государстве! Я всегда чувствовал себя неделимой частью этой свободной Латвии, эта Латвия была и, я уверен, когда-нибудь будет снова. Никакие теории не убедят меня в обратном.

Что такое свобода в масштабах нации, государства? Это понятие имеет странное научное определение и не вызывает кривотолков. Но как член общества, нации, словом, гражданин чувствует эту свободу или ее отсутствие? Тут уж ровно столько вариаций, сколько людей на свете, однозначного объяснения дать невозможно. В одних и тех же условиях один человек будет ощущать себя рабом, другой — свободным гражданином. Нельзя отрицать, что ощущение свободы (иллюзия, согласно философу Виллиусу Зариншу) развязывает творческие силы человека, обеспечивает положительный ре-

зультат его деятельности (материальные или духовные ценности), душевную гармонию (человек в ладу с самим собой) и комфорт. Ощущение свободы порождается в нас убеждением, что ближние не мешают нам проявлять себя. А поскольку одним из самых распространенных видов самоуверждения является стремление человека подчинить ближнего своей воле, то приходится констатировать, что природа человека исключает абсолютную свободу вообще (одиночество тоже не гарантирует чувства свободы, так как отсутствует угроза ее лишиться). Сегодня, когда перестройка и гласность освободили разум от оков, к вопросу о сущности и чувстве свободы приковано внимание многих мыслителей. Вот и в октябрьской тетради «Автоса» за 1988 год два философа, В. Зариньш и М. Гринблатс, открыто и честно, хотя и в различной трактовке пытаются объяснить читателю, в чем состоят зримые в социальных процессах черты стремления к свободе. На мой взгляд, все мы столь же далеки от истины, как обитатели пещеры Платона. Я счел бы большой удачей, если бы смог внятно рассказать о своем собственном ощущении свободы в государстве.

В формировании моего патриотического чувства личность Улманиса имела второстепенное значение. По-моему, сознание своей национальной принадлежности приходит к человеку через посредство языка. Не умеющий читать тоже патриот, к какому бы классу он ни принадлежал, каково бы ни было его социальное положение в обществе. Язык и территория — вот два главных фактора, формирующих чувство национальной принадлежности. Они дают человеку от рождения, для их обретения усилила не нужны. Традиции, образование, стихийная информация могут либо ослабить, либо укрепить патриотические чувства. Выдвижение на передний план вождя-оратора обычно сводит патриотизм к шовинизму.

Вторжение русских в Латвию я переживал очень тяжело. Совершенно отчетливо помню, как я сник, упал духом, прослушав по радио правительственное сообщение о том, что русские танки вошли в Ригу. Пронзительное, жгучее ощущение утраты, страшные предчувствия охватили меня. Я долго бродил по комнатам, по двору, без всякой цели, словно в тумане. Только к полднику опять принялся за работу, надо было возить удобрения на паровое поле. Я был рад, что меня никто не видит и можно выплакаться — горько и безутешно, как в раннем детстве. Я утирал пот и слезы, а они все текли, и на губах был соленый привкус крови. Никогда больше я не испытывал такой острой и неподдельной боли. Я предчувствовал, что захватчики доберутся однажды и до моего родного дома, возжелают плодов полноты моим потом земли. Я знал, что буду сопротивляться, хоть и не ведал, где и когда, но догадывался, что это неизбежно. Мой народ, моя Родина были унижены, растоптаны, беспомощно и немо окаменели во власти грубой силы. «В сетях рабства народ очутился...», но «...шли на погибель герои» — вот этого продолжения и не последовало. Неужто у латышей перевелись герои? Герои были, но их сразили без борьбы. И принятия этого рокового решения Улманису простить нельзя. Народ был готов отстаивать свою свободу. Вождь не поднял его на борьбу. Почему? Ведь финны продемонстрировали всему миру урок героизма! Трусливая сдача на ми-

лость врагу не спасла нас от поражений (и гибели!). Тогда это было чувство неведения и стыда, теперь оно осознано, оно неопровержимо, это закономерная плата за малодушие. Борьбе наш Вождь предпочел для себя и своего народа путь на Голгофу. Он надеялся на человечность, но сжег свой народ на жертвеннике гуманизма. Нельзя обречь на жертву целый народ! Борьбаться — человечно, отринуть же человечность, лишая возможности защищать себя по справедливости, — нельзя! Божественные законы писаны не для людей. «Оставайтесь на своих местах, я останусь на своем!» Наивный! Как он не мог понять, что место всем уготовано одно — в братской могиле, в одних тенетах!

Мне могут возразить, что сопротивление было бы кратковременным ввиду превосходящих сил противника. Латвия так или иначе была бы оккупирована по взаимному соглашению Сталина и Гитлера. Но можно оккупировать территорию, победить армию — это так, и все же сознание единства народа, ненависть к захватчикам уберегли бы нацию от ассимиляции. И при установлении послевоенных границ сам факт вооруженного сопротивления прибалтийских стран был бы весомым аргументом в пользу восстановления их суверенитета. Даже не вернув себе государства, мы потеряли бы только свободу, но сохранили веру в себя и право на жизнь нации.

С того рокового дня я никогда больше не чувствовал себя свободным. Всем своим существом, всей кожей непрерывно ощущал присутствие этой чуждой мне и враждебной моему народу власти. Иногда я спрашивал у молодых ребят — скажите, вы чувствуете себя свободными? Да, удивленно отвечали они. Того повода, к которому они привязаны с рождения, для них как бы и не существует. Может, они и счастливы — нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было. Видимо, все на свете относительно, в том числе и осмысление свободы. Но я бесконечно благодарен судьбе за то, что изведать чувство свободного человека в свободном государстве своего народа. Боль, испытываемая на протяжении всей жизни, — приемлемая цена за мелькнувший в истории моего народа и в моей судьбе луч света. Так я ощущаю и понимаю свободу.

«Поразительно, как стойко трудится человек, чей дух свободен, и как невыносим в труде тот, чей дух угнетен плотью» (1915 г.).

«Гордись не числом этажей в твоём доме, а духом, в нём обитающим!» (1918 г.).

«Село все-таки было и остается основой всей нашей жизни. Село — это скала, на которой высятся города, и таким оно и должно быть. Село — это первоначало нашей жизни, ее сила и мощь» (1934 г.).

«Крестьянин — это производитель продовольствия для всего народа, к тому же он дает еще и большие ценности для экспорта. Крестьянский хутор — это источник жизненной силы народа, даже непосредственно в количественном отношении залог и оплот бытия и самостояния народа. Крестьянский хутор еще недавно был, а в большой мере остается и сегодня, единственным хранителем древних нравственных принципов и культуры народа. Если латышский народ жив, если у нас есть национальное самосознание и национализм, то самая большая заслуга в этом крестьянских дворов, крестьянских усадеб» (1934 г.).

— Большинство наших соседей было зажиточнее нас. Это объясняется тем, что наша семья смогла вернуться из России домой, в Латвию, только в 1924 году, притом взять с собой только то, что было на нас надето, так как на русской границе у нас «экспроприровали» все материальные ценности, включая все лучшее из одежды. Пришлось начинать на голом месте, на запущенном в годы войны участке земли, в постройках с прохуdivшимися крышами. Заложив земельное владение, получили средства на приобретение инвентаря и скота, пришлось платить довольно высокие проценты (6%). Так перебивались лет десять, однако сумели более или менее возделывать поля и развести поголовье продуктивного скота. Работая от зари до зари, отец подорвал свое здоровье, и вышло так, что с четырнадцати лет вся мужская работа в хозяйстве легла на меня. Не стану утверждать, что я чувствовал призвание к труду земледельца, просто не было другого выхода, да я и не искал. Материальное неравенство крестьянских дворов меня отнюдь не смущало, хотя я и принадлежал к низшему слою. Ни на минуту не сомневался, что все зависит от собственного прилежания и удачи. Мне и в голову не приходило, что государство может политическими средствами несправедливо перераспределять плоды моего труда. В природе повсеместно царит неравенство и соперничество, подмечал я, и побеждает самый сильный, активный, сообразительный, предприимчивый. Я не мог себе представить, что род человеческий живет по иным законам, не тем, что даны от Бога. Другого средства, чем труд, для подъема собственного благосостояния я не знал. Трудом была заполнена вся моя жизнь, и я верил, что на этом пути добьюсь желанного благополучия, и за пять лет при улманисовском режиме моя мечта осуществилась.

Благодаря аграрной политике Улманиса и собственным усилиям, за пять лет, практически только от продажи сельхозпродукции, мы купили все необходимые машины на конной тяге, построили сарай, погреб, амбар, частично приобрели материалы для возведения жилого дома. Все это давалось тяжелейшим трудом, образ жизни мы вели самый что ни на есть скромный, но все это было возможно. Рабочей силы не нанимали (не считая строителей). На наше владение — 22 гектара земли, в том числе 12 гектаров пахотной — приходилось пять коров, ремонтный молодой, две лошади, несколько овец и около десяти свиней. Все это стадо содержалось, повторяю, на 22 гектарах тощей земли на Видземской возвышенности. Удоя были низкие, примерно 4—5 тысяч килограммов от коровы. Прикупали только жмых в небольшом количестве. Единственными «лишними» доходами были деньги, вырученные за проданный лес, ими погашался долг в 500 латов.

Не хотелось бы описывать сам процесс труда, будни земледельца, специфику органичной связи человека с землей. Тут нужен отдельный рассказ. Хочу только подтвердить, что человек, который верит в справедливость общественного устройства, в то, что мир устроен правильно, а его право на плоды своего труда бесспорны, способен трудиться с невероятной интенсивностью и производительностью. Для достижения примерно равного уровня материальной независимости (зажиточности) во времена Улманиса требовалось четыре года, в советское время на это ухо-

дило двадцать лет. Таков мой личный опыт.

Осенью 1938 года мы впервые свезли весь урожай в новые постройки (строительные работы велись строительными подрядчиками с пятью рабочими). Сарай под самый гребень крыши был полон клевера и соломы. Погреб — картофеля и других овощей. В хлебном амбаре, в закромах ароматно пахло урожаем полей, в кладовой свисали с балок копченые окорока, а в мучном ларе белела мука всяких сортов. Животные содержались отменно, кормов было запасено вдоволь. Вся наша семья чувствовала полное физическое истощение, но зато душа радовалась: смогли, сумели, выстояли, добились — и это все наше. Нам и в голову не приходило, что наш труд успешен потому, что в результате правительственной политики происходит эксплуатация наших сограждан. Мы скорее чувствовали, чем понимали, что государство и общество устроены правильно, разумно. Государство — Латвия, правитель — Улманис. К кому же еще обращать нашу благодарность? В тот год 18 ноября, в день основания Латвийской республики, в нашем дворе впервые взвился государственный флаг. На других хуторах, хотя и не на всех, он развеивался в этот день уже с 1934 года. Я поднял флаг на свежесбеленной махте, и он затрепетал над белеными новыми крышами, как и положено флагу. Усевшись у радиоприемника, мы слушали обращение Вождя к народу, и когда прозвучал гимн «Боже, благослови Латвию», все встали, настроенные было праздничные, нас переполняла гордость за то, что мы свободные граждане свободной страны.

В последние годы я иногда бываю в этих местах. От всех построек остался только сарай — теперь под шиферной крышей. Фундаменты остальных строений заросли сорняками. Посаженные мною деревья пережили худшие времена, буйно растут и сирень, и жасмин, источая отчаянно дурманящий аромат. Я располагаюсь под дубом, который когда-то был посажен моими руками. Сижу и думаю — дома ли я? Четыре поколения моих предков обрываются на мне. Крестьянский род подрублен под корень. Вырытые мною канавы, вспаханные мною поля заглохли, поросли ивняком и ольхою. Разве что несколько гектаров включены в массив мелиорированных земель и обрабатываются. Поднимаюсь, ухожу прочь. Нет здесь для меня ни крова, ни покоя, нет и никогда больше не будет, ничего...

Я и сегодня живу в собственном доме, который построил сам. Снова обустроился и достаток приличный. Но былого удовлетворения, прежней радости нет. По государственным праздникам мне официально напоминают, чтобы не забыл вывесить флаг на доме. И ухом не веду.

У себя на родине, в своем доме я все же в изгнании. Связь с тем уголком земли, где в детстве я бегал босиком по росе, неразрывна. Она оборвется только с моей смертью. В надежде, что в годину взаимного противоборства двух могучих держав удастся вернуть утраченное, я уходил из отчего дома воевать за свободу Латвии. И делал это не за страх, а за совесть. Я еще не вернулся, я жив, Латвия несвободна.

«Отечество, народ: его будущее, его благосостояние, сила и могущество и расцвет — самое высокое, ради чего мы должны трудиться, самая прекрасная цель, которую мы можем поставить перед собой» (1936 г.).

— 18 ноября 1938 или 1939 года я участвовал в вечере в Скуенском народном доме. Я уже тогда принимал участие в общественной жизни нашей волости, пел в мужском ансамбле. Отметить день основания государства собралось около полутора сотен жителей волости. Особой программы не было. К собравшимся должен был обратиться волостной староста — коренастый, тихого нрава мужик, крестьянин до мозга костей. И он произнес самую короткую речь, которую я когда-либо слышал. Взойдя на трибуну, он молчал смущенно и долго, пока наконец не выдал из себя: «Милостивые государи!» Пауза. Он опять повторил: «Милостивые государи!» Утер пот со лба большим клетчатым носовым платком и, словно решившись, проговорил ясно и четко: «Сегодня восемнадцатое ноября». И снова умолк. Не найдя больше слов, сложил руки, как в молитве: «Боже, благослови Латвию!» Все встали и с большим подъемом спели государственный гимн. Никто не усмехался и никому не казалось, что произошло нечто неподобающее. Мы, мужчины, спели еще несколько патриотических и народных песен, и торжественный акт был завершен. Силой никого в зал не сгоняли. Улманиса никто не упомянул, всем и так было ясно — он неотъемлемая частица этого мгновения, этого события.

«Наши красно-бело-красные цвета! Что выражают они для того, кто горячо любит отечество свое? Белый — в защиту правды и справедливости, чести и достоинства свободных граждан. А красный напоминает нам о той крови, что была пролита недавно, что проливалась во все времена и которую мы готовы пролить за свободу и независимость, за народ и отечество. И там, где сливаются красный с белым, там начертана вечная преданность, преданность одной только Латвии до гробовой доски и на том свете одной только Латвии, нашей Латвии!» (1923 г.).

— Я лишь однажды видел Улманиса лицом к лицу, было это, кажется, летом 1939 года. На Площади победы устраивался смотр всех латвийских айзсаргов или нечто подобное. Готовясь к этому смотру, мы, несколько юношей из нашей волости, вступили в яунсарги, недавно основанную молодёжную организацию при айзсаргах. Никакого политического представления о ней у нас не было, и мы бы крайне удивились, вздумай кто-нибудь тогда просвещать нас на сей счет. Просто вступили и вся недолга. Купили форму, что давало возможность принять участие в интересном мероприятии.

Праздник проходил с размахом. Несколько дней длились репетиции. Меня поставили знаменосцем. Помню — адская жара, стою в тенечке за трибунами в ожидании своего выхода, пот катится градом, нескольких городских хиляков уже подобрали дежурные медики. В день праздника на площади море людских голов, стоят колоннами, зрительские трибуны переполнены. Уже с самого утра парит, надвигается гроза. Мы, знаменосцы, — в задних рядах. Я стоял во втором ряду, и кое-что из происходящего на площади мне было видно. Напротив трибун, по центру, — несколько сот гимнастов. Остальное пространство занято различными воензированными формированиями айзсаргов. Улманис обходит строй, здоровается. Вот он на расстоянии нескольких метров от меня. Тучный, высокого роста, короткая седая стрижка, бледное одуловатое лицо. «Свейки, яунсарги!» — произносит он то-

неньким дребезжащим голоском. «Эс-свейкс!» — волим мы в ответ. И он уходит. Только и всего! Я ждал от этого мига чего-то большего.

Гроза, назревавшая с восходом солнца, неотвратимо приближается. Свинцовые тучи нависают над трибунами, закрывают небосвод. Быстро темнеет, и вот уже на небе змеятся молнии. Буря обрушивается внезапно, без предупреждения. Деревья с левой стороны площади клонятся почти до самой земли. Трещат и обламываются высокие флаштки. Мы не можем удерживать знамен, стою по стойке смирно, и командир наш приказывает занять стойку «ноги врозь», но знамен не опускать долу. Улманис всходит на трибуну и начинает речь. И тут разражается ливень, шквал дождя обрушивается на нас. Микрофоны умолкают, и проходит какое-то время, прежде чем возобновляется трансляция. Буря успокоилась так же внезапно, как и налетела. Вождь обращался к промокшей насквозь толпе на фоне поломанного убранства. Громкоговорители работали из рук вон плохо, расположены были редко, и ничего путного я не услышал. Я обрадовался, когда дали команду на проходные маршем перед трибунами, — можно хоть ноги размять. Влажная одежда дымилась и, когда мы печатали по лужам шаг, нас обдавало водой. Я шагал в первом ряду знаменосцев. Потом мог любоваться собой на обложке журнала и переживать, что шел не с той ноги. Видно, судьба моя такая — идти не в ногу. Выйдя за пределы площади, мы разбегались без лишнего напоминаний и вместе с прочей публикой устремились на штурм трамваев. Жарко, сыро, настоящая парилка. А люди какие-то странно притихшие, не чувствуется радости и оживления. Может быть, усмотрели что-то страшное и неотвратимое в знаменях природы... Так оно и вышло. Исторической бурей нарочито разметало и порушило все замыслы народа и Вождя. И все же разве не символично, что сам бог грома Перконс предостерег народ на этом последнем слете свободных патриотов. Я рад, что мне довелось побывать на нем.

«Пройден большой, важный отрезок пути, и на этом отрезке пути мы были не одни: Бог благословлял Латвию.

Пусть растет и преумножается слава нашей страны Латвии, да не потускнеет доблесть нашего народа и государства, и пусть народ и страна наша, наша Латвия, как доньше, так и впредь пребудут под сенью Божьей, благословения Господне-го».

— Меня могут упрекнуть в том, что я осуждаю политику непротивления, избранную Улманисом. Что, если выдвинутые Улманисом идеи мира были более дальновидными, утверждающими и развивающими более высокую этическую культуру? Может, подлинные последствия этого драматического шага скажутся только в грядущих столетиях? Не знаю. Если делать ставку на незащищенность и не обороняться, то вообще незачем содержать армию, как, например, в Ватикане или в Исландии.

Однако Улманис и его время внесены в Книгу времени, и никакая неблагодарность или хула не вытравят с ее страниц эти начертания.

Материал подготовила к печати
РУДИТЕ КАЛПИНЯ

Перевел **ЛЕОНИД ГУРЕВИЧ**

ВЛАДИМИР АРИСТОВ

ИЗ ЦИКЛА «ИЗ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ»

Невозможно быть добрым и жестоким,
Можно быть только встреченным иль одиноким.

Потому и верю, что о тебе говорят мне соседи,
Когда утро встречаем с тобою в знобящей беседе.

Вижу, как тяжело наклоняется профиль твой тонкий
К освещенной рассветом скользящей холодной клеенке.

Вижу: спишь ты и сниться: качает вас строй поколонный
В той фантастичной далекой стране покоренной.

Видишь: держишь лоток ты с водой золотою,
И рассвет протекает сквозь пальцы рекою.

Но уж двери дробят, и голос доносится дикий:
Открывай, отвечай, за тобою из леса пришли твои земляники.

ПРОВОДЫ

В трамвае, затерявшемся в толпе,
Сквозь окна мокрые, в снегу весеннем
Мы видели, как улицей они прошли...

Несли его торжественного,
Слепленного не из стеклобетона,
Не из флажков, по-детски клеим пахнущим,
И не живого пронесли по улице.

Не знаю я, в какой далекой высоте
Его несли на длинных бронзовых шестах.
Весь выпуклый, в мундирных пятнах,
С крошащейся соломой из матраса на плечах,
Он двигался в весенней вышине,
И солнце поминутно открывая,
Нам глаза слепил,

Не для больниц несли его врачи
На поднятых руках тяжелых, как носилки,
Не для учения несли учителя
И не как пугало сжигать над пустырем.

Он двигался, танцуя в вышине,
Его обняв, теснились на ходулях
Напудренные плакальщики в стальных фуражках.

Его несли торжественно под гул
Небесного автобуса, везущего к работам
Известных нам детей.
Был полон небосвод сеной трухи.

И вот прошли они, куда?
Я знаю, больше не вернутся
Ни те, кто плакал, и ни те, кто молча шел,
А тот на бронзовом шесте подавно.
Куда они ушли, с какого места
Шагнут с заснеженного обрыва?

А что осталось нам?
Смотреть сквозь засоренное сеной трухой

окно трамвая,

Как здесь на мостовой сметает черная машина
Обрезки лаковых ногтей ушедших тех.
Да в небе аэробус ворочается на повороте,
Как списанный вельможа на диване.
Невнятные нам дела твои, о, господи.

СМЕРТЬ БРУСИЛОВА

В одноэтажной каменной больнице,
Закашлявшись кровавой пылью,
Он словно мог и не родиться,
Очнувшись вдруг в предсмертном мыле.

С усами русыми над каменной лоханью,
Заглядывая в океан столетия...
Родные запахи в чулане.
И куры роются в подклети...

Он протирал бинокляры,
Весь — сухощавый склад щетины,
Не попадая в мемуары,
Был в мире страшной середины.

И тем томительней и проще
Сверкала явная геенна,
Что с веком был он здесь, не сморщась,
Он видел огненную пену.

Но важный пункт того прорыва —
Как он стоял в рассветной роще,
Как озирался торопливо
И землю чувствовал на ощупь.

А тело в кровавой газете
Дойдет из мертвых стен, как чтиво,
Лишь с интересами столетия
О свойстве лобовых прорывов.

Но человеческий стон из смерти
Не в здешнем камне замурован —
В молчанье дня преобразован
В тених той рощи на рассвете.

ИЗ ПОЭМЫ «БЕССМЕРТИЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ»

9. После прощания.

Что же останется
На смятом полу квадратном
Вслед за веничком редким?

Несколько брызг ледяющих
От просяных обглоданных колосков,
Связанных в юбку жгутом?

Холодноватых брызг
Из труб заржавелых,
Где улыбочки человек полумесяцами

плавают среди бликов,
Среди бляшек и блуз беловатых,
проявленных в темноте воды.

Звездочка пыли на бледном полу,
Подметенном грозным прореженным помелом.
Память твою с протокольными нотами,
Что держишь ты на руках
Под морскими прозрачными стенами,
Уходящими вдаль за стеной.

Сестры мои,
Платя ваши последние в сундуки кладите,
И обратно из них вынимайте,
Корабельных комодов не нужно,
Открывайте их портовые люки,
Их ореховый трут пусть потонет в огне.
И сучков благородные отпечатки —
ваших пальцев отточья.

Доставайте всю соль благовоний,
Открывайте город флакончиков
и засохших пропеллеров детских
сизой фиалки.

Не молчите, скажите мне что-нибудь!

Пол уже подметенный
Чист от праха будущих наших ночей...

БАНЮТА РУБЕС ТАНГО ЛУГАНО

(Окончание. Начало в № 2, 1989)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

С появлением света картина изменилась. Посередине куч писем проведена черта. Райнис и Аспазия в своих комнатах, в настоящем. Аспазия разбрасывает цветы и колдует, Райнис тем временем читает книгу.

Аспазия: Пусть увянет это горе, как дубовый лист,
Пусть увянет это горе, как липовый цвет,
Пусть увянет это горе, это горе...

Райнис: «Туризм сближает нас с народом». — «Человек начнет уважать другого человека» [Ванагс].

Аспазия: Пусть увянет это горе, как рябиновый лист,
Пусть увянет это горе, как ольховый лист,
Пусть увянет это горе, это горе...

Райнис: «Благодаря туристическим походам по долинам и горам родной страны, зародится дружба между рабочим и студентом, предпринимателем и пролетариатом, буржуазией и рабочей молодежью, между балтийцем и латгальцем» [Ванагс].

Аспазия: Пусть засохнет и сгинет, как старая ель!

Райнис: «Солнце сильней мороза, человеческая любовь — политической вражды» [Ванагс].

Аспазия: Пусть увянет это горе,
Опадет, как пена морская,
Пусть.

Райнис: Весной 1931-го года отдел беженцев и эмигрантов министерства внутренних дел решили переименовать в отдел эмиграции и туризма.

Входят туристы.

Туристы: Your next trip — the Baltic States. По-английски: «Ваше следующее путешествие — балтийские страны».

Аспазия: «Семнадцать важных советов туристам: Один! Не езжайте за границу, прежде чем не познали прекраснейшую на свете страну — Латвию».

Улдис: Два! Не забывайте, что за границей по вашему поведению судят о всем народе.

Хермине: Пять! Не езжайте в те страны, где ваш народ недолгобливают.

Райнис: Одиннадцать! Всюду одаривайте всех любезными словами и умеренными чаевыми.

Тедис: Тринадцать! Путешествуя не говорите о политике, религии и национализме, будьте терпимы к инакомыслящим.

Дайра: Семнадцать! Не досажайте и не высказывайте это другим, если путешествие не оправдало ваших надежд». [Ванагс и Самс].

Все: Ваша следующая поездка — балтийские страны!

Картина вторая

Улдис и Дайра скучают, в то время как Тедис и Хермине зло следят друг за другом, как постовые по обе стороны черты, пролегающей среди кучи писем.

Райнис: Надо работать! Работать!

Райнис принимается писать, но дело не клеится. Аспазия задувает свечи и колдует.

Аспазия: Нагадаю, наколдую, из могилы вызволю! Приди ко мне, мой Плиекшанс, Райнис, Иосиф, приди!

Дайра: Дайра Лиелмане! Вас интервьюирует David Letterman [американская телезвезда]! Как ваша поездка в швейцарский Рио-де-Жанейро? — Благодарю, David, очаровательно! Я сидела на куче старых, вонючих писем с какой-то бабой-чекисткой, с одним известным sovjetskij sojuznik [по-русски: «советским гражданином»] с сальными волосами и милвуокским гигантом мысли, у которого каждые тридцать секунд менялся цвет лица.

Тедис: Значит так, на этой стороне 15 340 писем.

Дайра: Теди, я не буду их пересчитывать.

Хермине: А я насчитала 15 339!

Улдис: Включая конверты?

Тедис (замечает, что Улдис что-то кладет себе в карман): Эй, вы! Что вы там запикиваете себе в карман?! А ну-ка, покажите!

Улдис: Носовой платок. Ирландский лен.

Тедис: Ах, вот оно что! А было похоже на скомканную бумагу.

Улдис: Носовой платок, непонятно?

Хермине: Не вступайте в разговоры, товарищ Томсонс! Тем более — со всякими там белоэмигрантами, которым на свою родину наплевать! Разве честный человек станет



предателем и покинет родную землю, к тому же — навсегда?

Тедис: Что значит «навсегда»?! Когда Латвия освободится...

Хермине: ... и тогда заявитесь вы, белоэмигранты, со своими с придыханием и холодильниками, и кадиллаками... захотите снова занять свои квартиры, и все будет, как в старые времена.

Тедис: Введем демократию и выведем коммунистов, русские и казаки будут говорить по-латышски, если им вообще будет разрешено остаться.

Хермине: Вдобавок вы еще и расист! От вас можно было ожидать.

Тедис (Дайре): Давай загружать письма в машину.

Хермине: Стойте, стойте! Я хочу присутствовать!

Тедис и Хермине выбегают через средние двери.

Дайра (Улдису): Ирландский лен, huh? [По-английски: «что»]

Слышен внезапный шум, словно кто-то падает с лестницы, крики. Тедис, стоная, заходит, держит руку, как при переломе.

Дайра: Теди, вы так сердце загорите! Что случилось?

Тедис: Ой, неладно! Чертова лестница!

Улдис (зовет через дверь Хермине): Вы живы там?

Дайра: Вам нужен врач! Садимся в фиат и ждем до Лугано, сейчас же!

Тедис: И этих двоих оставим одних?

Хермине входит, прихрамывая на ушибленную ногу.

Хермине: Ой, как больно, ой, как больно! Вот невезуха! Я не смогу спуститься с горы.

Улдис: Вас нужно немедленно показать врачу. Моя тетушка однажды...

Хермине: Оставьте меня в покое со своей тетушкой!

Улдис: Спокойно, спокойно! Я вас на руках вниз снесу.

Хермине: Чтобы эти гиены растащили народное достояние?

Обе группы стоят, подозрительно оглядывая друг друга. Улдис и Дайра вместе:

Улдис: Мое почтение, барышня, я не хотел вас беспокоить, но...

Дайра: Господин Томсонс, извините, но у нас тут такое дело...

Оба стоят в смущении.

Улдис: У вас есть машина, так что...

Дайра: Вы же умеете водить машину, и...

Тедис: Мы все поедем в Лугано, сейчас же.

Хермине: Нет, письма нельзя оставлять без присмотра.

Улдис: Годами они нас ждали...

Хермине: Нет!

Тедис: Тогда мы останемся.

Дайра: Нет, так не пойдет. Господин Тидеманис должен ехать в больницу.

Тедис: Одной рукой в Альпах даже фиатиком нельзя маневрировать.

Улдис: В таком случае за руль сядет уважаемая товарищ Гродне.

Дайра: А господин Тидеманис — на тормоза.

Оба довольны.

Тедис: I don't like it! [По-английски: «Мне не нравится!»]

(Дает Дайре нож) Будь осторожна!

Дайра: Я в школе обучалась карате!

Тедис: Здорово!

Хермине: Не пускайтесь в разговоры с этой... капиталистической кошечкой... Тидеманис!

Тедис: Yeah, yeah, yeah. [По-английски: «Да, да, да»]

Хермине и Тедис неохотно уходят.

Улдис: Попутного ветра!

Дайра: Едьте осторожно!

Звук отъезжающего автомобиля.

Улдис: Кто бы мог подумать, что мы... здесь... так...

Дайра: С ума сойти, правда?

Улдис: Законно. Во время последних свиданий мы оба были несколько метров над землей, а теперь тоже бог знает сколько метров над уровнем моря.

Дайра: Головами в облаках.

Улдис: Ты...

Дайра: ... помнишь?

Картина третья

Это было давно

Аспазия: Это было давно,
Это было давно,
И лишь ветер листья уносит.
Это было давно,
Это было давно.

Райнис: Это было давно,
Это было давно,
И лишь ветер листья уносит.
Это было давно,
Это было давно.

Оба: Страна обетованная
В тумане утра скрылась,
В ней каждому обещано,
Все сбудется, что снилось.

Улдис и Дайра в Риге, год назад.

Улдис: Здесь, на башне церкви Петра, я первый раз влюбился. А теперь вот второй раз.

Поцелуй. Дайра тайком утирает слезы.

Улдис: Ну, не так трагично. Я буду каждый день Тебе писать.

Дайра: Ты не получишь моих писем.

Улдис: Это что за пропаганда! Получу. И Ты опять приедешь сюда. Ведь настоящая латышская девчонка. Как такая может прожить в этой Америке?

Дайра: Мне не дадут визу, и мы никогда больше не встретимся. Ты будешь только плохо сфокусированная фотография на моей стенке.

Улдис: Раз ситуация столь безнадежна, то хотелось бы хоть какой-нибудь сувенир. Прядь волос или платочек.

Дайра: Пожалуйста — сувенир, ирландский лен.

Улдис: Колоссально, фирменная вещь. Буду махать на празднике песни. Ты — моя латышская девушка. Из Милвуоков. Из села. Ты будешь мне писать. Ты приедешь.

Дайра: Каждый день буду писать. И обязательно опять приеду, да. И тебе этот сувенир не понадобится.

Улдис: Так, мы встречаемся завтра на вокзале. Перед моим отъездом в Москву. В три.

Дайра: В три.

Меняется освещение, в это время Аспазия и Райнис поют:

Оба: «Это было давно,
Это было давно.
И лишь ветер листья уносит.
Это было давно,
Это было давно»

[Аспазия].

Улдис: Ты забыла про наше свидание? Ты просто запомнила?

Дайра: Ты знал, что я здесь буду?

Улдис: И адрес мой потеряла?

Дайра: Ты знал, что я здесь буду?

Улдис: Как это понимать? Ты знала, что я здесь буду?

Дайра: Во время той поездки в Латвию, на третий день, когда уже пообщалась со всеми родственничками, уладила с театральными билетами, раздала джинсы, в тот день я заметила, что за мной следят. Все время встречала одних и тех же людей. Тех — невзрачных, темных. Тех — плечистых с кривыми ухмылками. А что я... когда-то была в правлении Американского объединения латышской молодежи, а вообще-то до сих пор ничего особенного. В театре увидела, как одна симпатичная дама нацелила на меня бинокль. Ты понимаешь, глазела на меня, а не на актеров. Я ей язык показала. Мне это не приснилось, за мной действительно все время кто-то следил. И тогда — на четвертый день, когда мы встретились, и на пятый, и с шестого до последнего дня, когда всюду был ты, тогда мне было хорошо. И тогда не следили. Тогда не следили! Ты понимаешь?

Улдис: Вечером твоего пятого дня кто-то пришел к маме и сказал: «Ремонт». Мы, правда, не ждали, но ремонт был нужен, краны уже давно протекали. Потом старичок возился, возился, ни инструмента подходящего с собой, ничего... и начал расспрашивать маму, чем ее сын занимается. Ни с того, ни с сего, понимаешь? Противно! Потом ты уехала, ты ведь только одно лето у нас... Что поделаешь... Мне негде закончить учебу, как только в Москве или в Ленинграде. Надо еще соблюдать известный тон, ты понимаешь. Если меня вызовут в соответствующее бюро и спросят о тебе, что ты из себя представляешь... Ну, ничего плохого я, конечно, не скажу, но особого выбора у меня нет.

Дайра: Это был мой первый приезд в Ригу, первый приезд...

Улдис: Я даже на поезд опоздал, так долго ждал тебя. Письма слал. Ни одного ответа.

Дайра: Выйдя из гостиницы, обдумывала каждое Твое слово. Верить? Не верить? Взглянула на памятник Ленину... так и не решила.

Улдис: Не переживай, все в порядке. Теперь мы в Швейцарии, на нейтральной территории, можем обсудить все, прямо как в ООН.

Дайра: На нейтральной. Что тут нейтрального? Месяц, разве что. Красивый тут месяц, с длинными, бледными руками. Если бы ты мог ко мне домой приехать, у нас там на Янов день месяц такой тяжелый, яркий.

Улдис: Янов день в Америке? Месяц за небоскребами? Нам по телевизору показывают — за каждым кустом негр с ружьем караулит. Нью-Йорк, Милвуоки. Говорить даже не хочется, хотя о Милвуоки я подумывал, и еще как. Понимаешь, Дайра, ты избегаешь меня, а я тебя люблю. А ты...

Дайра: ... помнишь?

Я новой встречи жду

Дайра и Улдис: Я новой встречи жду
С тобой в старинной Риге.
Ту улочку найти смогу,
Где я тебя увидел.

Мы будем вспоминать
И веселиться снова.
На дискотеке танцевать
С тобою я готова.

Хоть до утра.
И в Юрмалу махнем,
Туда поедem к морю.

Да здравствует New York — Москва
И наша Rīga.

Веселье пусть царит везде,
Смейтесь, смейтесь, улыбайтесь!

Улдис: Тебя о чем-то спрашивают — улыбайся!

Дайра: Как мне забыть твою улыбку?

Улдис: Все ждут твоей улыбки.

Дайра: Как мне забыть твою улыбку?

Улдис: Я не помню уж твоей улыбки.

Дайра: Я ее забыла.

Райнис: «После ночи,
Исполненной чувства,
Страшит наступающее утро,
Все блекнет и холод ума
Ревниво вступает в права»

[Аспазия].

Аспазия: А-а-а-а!

Дайра и Улдис обнимаются. У Дайры в руках опаленная фотография.

Улдис: Что это у тебя?

Дайра: Это та самая плохо сфокусированная фотография. Никак не могла разглядеть, ухмыляешься ты на ней или улыбаешься. Существенная разница, ты сам знаешь. Раньше думала — ухмыляешься, а теперь мне кажется, что улыбаешься. Право же...

Фотография в руках у Улдиса.

Улдис: Ты жгла ее.

Дайра: Улдис, пойми, карточка неясная, и мне казалось...

Улдис: Моя физиономия. Спалила. Ты ее спалила. Точно [по-русски: «Все-таки»]. Ха-ха! С добрым утречком. Что ж теперь.

Дайра: Улдис...

Улдис оставляет Дайру, уходит со сцены.

Дайра: Дайра! У вас интервью берет Дайра! Ну и дура же ты! (Поднимает одно письмо, читает): «Дорогая Эльза. Это 15 340-е письмо. 4 сентября 1988 года. Иночка, я вспомнил, что...» Постой-ка, постой-ка! 4 сентября 1988 года!.. Один... Девять... Восемь... Восемь!

Райнис отворяет свою дверь и выбрасывает еще одно письмо. Дайра оборачивается и направляется в комнату Райниса.

Перемена освещения.

Картина четвертая

Тедис и Хермине в машине.

Тедис: Осторожно! Осторожно!

Хермине: Нужно было ногу самой забинтовать. В больнице, наверное, сдерут, черт знает сколько.

Тедис: Ничего. Кей-Джи-Би [по-английски: КГБ-Советская полиция безопасности] вам все оплатит.

Хермине (не слушает его): Ваши врачи очень хорошо зарабатывают, я знаю. Отлично, хорошо знаю.

Тедис (смотрит на дорогу, в испуге): А-а-а-а!

Хермине: Отлично знаю. Мой брат тоже врач, где-то там, в ваших Штатах. Переписываются с сестрой. А я: ни-ни. Удрал, а мы, девчонки, вдвоем в Елгаве остались. Каков братец! Теперь-то он настоящий американец, ни дать, ни взять. Торчит себе у телевизора. Агне открытки присылает, на каких-то там африканских островах побывал. Да, а там бананов-то, бананов... (Начинает беспокоиться)

Тедис: Следите за дорогой!.. А-а-а-а!

Машина останавливается, оба размахивают руками.

Тедис: Stupidol!

Хермине: Ах, ты, пес!

Опять поехали.

Хермине: Моя Илзочка бананы обожает, да где их достанешь! Только раз в один, два месяца выстаиваю очередь за

связкой бананов. А брату, что такой банан — ничего. Что ему бананы . . . на африканские острова, пожалуйста, едет, а в Латвию не едет. Бананов будет не хватать. Вы любите бананы?

Тедис: Черт бы побрал эти . . . налево! . . . бананы! . . . Направо! (Управляется с педалями) Налево! Направо!

Хермине (поворачивает руль): Помедленней же!

Тедис: Вы мне указывать будете!

Хермине: Тогда рулите сами! (Убирает руки с руля)

Тедис: Мы врежемся в гору!

Слышен визг тормозов. Машина врезается в гору, яркий световой эффект.

Картина пятая

Комната Аспазии. Полутьма. Аспазия медитирует. Хлопает дверь. Аспазия прижимается к стене.

Улдис медленно заходит в комнату, Аспазию он не видит. Находит сонник. Улдис оборачивается. Увидев друга друга, оба вздрагивают, взволнованы.

Аспазия: Янис, Иосиф, миленький, ты ли это?

Улдис: Нет, меня зовут Улдис.

Аспазия: Да что вы! Привидение с именем Улдис! (Смеется)

Улдис: Аспазия? Народная поэтесса Аспазия?

Аспазия: А-а, умное привидение! Теперь расскажи мне, что происходит после смерти. Астральное тело тоже стареет? И что такое — материя?

Улдис: Ну, Ломоносов говорит, что материя — это . . . Я не ученый, я изучаю литературу. А вы на самом деле Аспазия?

Аспазия: Конечно. Привидение, скажи, не встречал ли ты джентльмена по имени Райнис, или Артуро Наглин, или, может быть, он теперь себя называет Плиекшаном? Не был ли он в саду? Или же, проникая сюда через трубу, ты застал его в вестибюле?

Улдис: Весьма сожалею, благородный сфинкс, но в доме никого другого нет.

Аспазия: Что? Что? Неужели он уехал домой без меня? Послушай, привидение, он уехал! В Ригу! Нет, только не в Ригу! Ах, привидение, ты — все, что у меня теперь осталось (Гипнозом заставляет Улдиса лечь.) Скажи, привидение, кто ты! Я погружусь в пучину твоей души!

В комнате Аспазии гаснет свет

Картина шестая

В комнате Райниса зажигается свет. Дайра медленно заходит, как во сне.

Дайра: Один . . . Девять . . . Восемь . . . Восемь . . . Один . . . Девять . . . Восемь . . .

Скрипит дверь. Райнис вскакивает, ожидая увидеть Аспазию. Увидев Дайру, снова равнодушно садится за стол.

Райнис: Прикройте, пожалуйста, свою наготу. Смотреть неприятно.

Дайра: Я ведь не обнаженная!

Райнис (оборачивается, оглядывает ее): У вас обнажены колени. Пожалуйста, прикройте. Кто вы такая? Сбежавшая танцовщица от Фоли Бержера?

Дайра: Я ведь не обнаженная!

Райнис: Хорошо! Как Вам угодно. Я с обнаженными дамами не спорю. Прошу (усаживает Дайру). И так. Кто вы такая и с чем пришли? Или, может быть, сколько вы хотите? Нуждаетесь в деньгах, в работе? Или нужно изменить какой-нибудь закон? Вы белоруска? Вы разведены и несчастны? Если разведены и несчастны, то лучше проконсультируйтесь с так называемой Аспазией, или Эльзой

Розенберг. Я, правда, давно не виделся с ней, но она наверняка где-то здесь.

Дайра: Тут никого больше нет.

Райнис: Без меня уехала? Без меня уехала! (Про себя) Я должен быть стойким! (Дайре) Ну, просительница, просите! Я привык к просящим, как к поклонникам. В Риге каждый день приходили. Да и в Кастаньоле во время войны. **Дайра:** Во время какой войны?

Райнис: Ну, не крымской же . . . Мировой войны. Вы ведь знаете, как создавалось наше государство! Вы знакомы с моей пьесой «Даугава»?!

Дайра: Значит — первой мировой.

Райнис: А разве была другая?

Дайра (Пауза): Да, была.

Райнис: А маленькая Латвия есть еще?

Дайра (Пауза): Есть.

Райнис: Скажите, кто там сейчас у власти? . . . Крестьянский союз или социал-демократы?

Дайра: Ну . . . ну . . .

Райнис: Ну? Значит — крестьянский союз! Ужас!

Дайра: У власти — реакция.

Пауза.

Райнис: У вас такой странный акцент . . . вы еврейка?

Дайра: Нет, латышка. Но родилась в Милуоки в Соединенных Штатах Америки. В Риге только гостила.

Райнис: Надо же, из Америки! Отец, наверно, революционер пятого года! Кровь слишком горяча для своей Прибалтики!

Дайра: Отец . . . ну, да . . . и впрямь . . . слишком горяч . . .

Райнис: А Рига? Она вам показалась очень красивой?

Дайра: Да, очень.

Райнис: Тут вы заблуждаетесь. Здания красивые, а люди — нет. Рига только кажется красивой. Красивая!

В комнате Аспазии зажигается свет.

Аспазия кладет руки на плечи Улдиса и заставляет его смотреть.

Звучит музыка.

Аспазия: Рига, Рига,
заколдованная,
Рига, Рига
заколдованная,
построенная!

Райнис: На волчонке уезжали
прочь из Риги, прочь!
Прочь от каменных сердец,
каменных глаз и окаменевших голосов,
воюющих и жаждущих,
жаждущих и воюющих
в кулуарах и кабаках,
в заплаканных окнах.

Райнис: «Собран урожай, и батрак уходит,
Что держит тут его?» [Райнис].

Addio, addio, bella!

[По-итальянски: «Прощай, прекрасная»]
отчизна,

и прочь, и прочь из Риги!

Аспазия: Рига, Рига
околдованная!
Рига, Рига
зачарованная!

Дайра: Там в косах светлых
цветы, цветы.
И петушок золотой сияет
на шпиле башни.
Сильные руки парня, по имени Улдис,
несут цветы, возвещая цветение лета.

Дайра: Тут дом мой!
Тут дом мой!
Рига, Рига,
зачаруй меня!

Улдис: Тем летом
неурожайным, дождливым
летом
Моя жена нашла себе третьего мужа.
Детей нет у меня.
А Рига околдована,
там в очередях змеиных
народ томится.

Дайра: Да, Рига околдована,
там каждое окно — глазница,
собьешься тут, где левая,
где правая рука?

Райнис: Рука протянутая тяжела,
И друг не друг на самом деле.
Тебя ругает каждая газета.
Как пережить все это?

Дайра: Взгляни через плечо — Улдис идет,
взгляни еще раз.

Улдис: Взгляни через плечо — Дайра идет,
взгляни еще раз.

Райнис: Взгляни через плечо — Кангарс идет,
взгляни еще раз.

Аспазия: Взгляни через плечо — вечер надвигается,
взгляни еще раз.

Все: Я в тоске убегаю, ухожу . . .

Аспазия: . . . из старого . . .

Райнис: . . . из своего . . .

Дайра: . . . из чужого . . .

Улдис: . . . из тесного . . .

Все: . . . из дома,
из дома,
из дома на чужбине,
иду к дому тому,
который вдалеке.

Аспазия: «Мы должны подняться,
Хотя и тяжело.
Что имели — растеряли,
А душа больна давно.

Все: Мы должны подняться!

Аспазия: Мы должны подняться!

Все: Мы должны подняться!

Аспазия: Мы должны подняться!

Все: Назло всему поднимаемся!» [Аспазия].

Все: Рига! Рига! Рига!

Картина седьмая

Свистит ветер.
Хермине и Тедис, укутавшись в одеяла, бродят по Альпам. Присаживаются отдохнуть.

Тедис: Нас даже не станут искать . . . не найдут . . . забудут о нас. Дайра уедет домой с пустыми руками. Вот и настал конец нашим мечтаниям, мечтаниям беженцев.

Хермине: А мой коллега меня разыщет.

Тедис: Ах, ваш коллега! Откуда ему знать, где вы, как горная коза скачете?

Хермине: Ну . . . ну . . . Илзочку в пионерском лагере научили такому совинному крику . . . Можем перекликаться . . . У-у-у (Раздается в тишине) . . .

Тедис: Вы свою дочурку вряд ли снова увидите. Да и я своих внуков вряд ли. (Достает фотографию) Вот они.

Хермине (Тоже достает фотографию, показывает Тедису): Вот она.

Тедис: Ах, вот она какая, Илзочка! Честь честью — хорошенькая девчушка. И станет в будущем комсомольским вожаком . . . (Вздыхает)

Хермине: (Задумчиво) Будем надеяться! (Старается разглядеть фотографию в руках Тедиса).

Тедис: Э-э-э . . . (Удерживает себя от злых комментариев. Показывает фотографию.) Вот, они оба в Гарэзерсе, это у нас такой летний лагерь. А вон, красно-бело-красный флаг!

Хермине: Опять вы со своей пропагандой?

Тедис: Грандиозный лагерь! Все в латышском духе! Представляете? (Посмеиваясь) Мои рассказали мне, как они там, в Гарэзерсе (таинственно) сеансы устраивали.

Хермине: Сеансы?

Тедис: Да! Группа взбирается на горную вершину, все берутся за руки, и, зажмурив глаза, кричат: «Ас-па-зи-я! Ас-па-зи-я!»

Хермине: Можно подумать, умершие откликаются.

Ветер начинает завывать громче.

Хермине и Тедис задумчиво переглядываются.

Оба (громко): Ас-па-зи-я! Ас-па-зи-я!

Сходят со сцены.

Картина восьмая

Улдис и Аспазия, Дайра и Райнис, каждая пара в своей комнате.

Дайра: Поехали со мной домой! В Милвуок, Бостон, Нью-Йорк, Америку . . . Куда хочешь. Ты увидишь такие чудеса: небоскребы, телевидение, всевозможные народности, skate boards, . . . Mc Donald's (начинает заикаться, представляет себе Райниса в Америке) и . . . образовательный центр, и . . .

Райнис: Но здесь нет никого другого . . . (Садится за свой стол) Работать! Работать!

Дайра: Да . . . Да . . . (Выскальзывает из комнаты Райниса)

Улдис (Аспазии): Не скрою, дорога в Ригу для вас не проста. Прежде всего следует оформить подданство или какую-нибудь визу . . .

Аспазия: Какое ты смешное, привидение! Я ведь подданная Латвии на веки веков.

Улдис: . . . ну, Музей Райниса это как-нибудь уладит, все образуется. Потом вопрос, где вам дадут жилплощадь, в Риге или в каком-нибудь колхозе . . .

Аспазия: Колхозе?

Улдис: . . . Но вы не беспокойтесь . . . Все будет хорошо . . . (Замаялся, представив Аспазию в Риге) Ах, . . . какой здесь . . . воздух свежий . . . Рига, правда, так загрязнена . . . и Даугава тоже . . . здесь все так свежо! Нечего спешить в Ригу . . . Что там . . . Многое изменилось . . . Знаете, все ваши знакомые уже умерли.

Аспазия (величественно): «Мы поколение, которое не умирает» [Аспазия].

Улдис: Да. Да. Извиняюсь (выскальзывает из комнаты).

Райнис и Аспазия, каждый в своей комнате, погружены в раздумье.

Дайра вбегает в среднюю комнату, ищет Улдиса.

Дайра: Улдис! Улдис!

Улдис вбегает в среднюю комнату, ищет Дайру.

Улдис: Дайра! Дайра!

Дайра: Ты не можешь представить, что я . . .

Улдис: Сам себе не верю. Сказал бы, что бред, но она там стояла, как живая . . .

Пауза

Дайра: Райнис.

Улдис: Аспазия.

Дайра: Что будем делать?

Улдис: Нельзя их находить.

Дайра: Письма надо уничтожить.

Улдис: Только не это. Прошлое нельзя фальсифицировать.

Дайра: Но у вас это, кажется, национальный вид спорта?

Улдис: Те времена прошли.

Дайра: Письма надо уничтожить.

Улдис: Письма . . . спрячем.

Дайра: Голубчик, скажем, ветер вдруг унес.

Улдис: Мы будем те, кто помнит. «Голубчик!»

Дайра: Улдис, я должна тебе сказать . . . я решила . . . если хочешь . . . в следующий раз я в Латвии буду латышкой, а не туристкой. Я переберусь в Латвию. Улдис, я остаюсь с тобой.

Улдис: Нет, «голубчик», я отказываюсь от своего гражданства и остаюсь на западе. Работу какую-нибудь найду. И здесь ведь тоже есть культура и . . .

Дайра: Но сейчас же *glasnost*, все переменялось. Все будет хорошо, будем есть в Риге *bolšoj* Мак [по-русски: «Виг Мас»].

Улдис: Гласность не гласность, а лучше обоим остаться здесь и наезжать в Ригу в гости.

Дайра: Нет, так было бы не совсем хорошо.

Улдис: Ты ничего не понимаешь. Ты же не знаешь . . .

Издалека доносятся голоса Хермине и Тедиса: «Ас-па-зи-я!»

Улдис и Дайра вздрагивают, переглядываются, начинают прятать письма под ковер.

Улдис: Нельзя ее находить. Чересчур прекрасна она для нас, смертных.

Дайра: Он не выдержит. Слишком хрупок . . .

Улдис: Таких писем никогда не было.

Дайра: Полночная фата-моргана.

Улдис: Договорились.

Дайра: Днем их, наверное, не видно.

Улдис: Днем мы вернемся — начнем с начала.

Слышно, как приближается Хермине и Тедис, кричат: «Ас-па-зи-я!»

Дайра: Я с тобой.

Улдис (повторяет): Я с тобой. Но куда?

Дайра: На политику времени нет.

Улдис: Потом.

Дайра: Да, потом. Поторапливайся!

Короткий поцелуй, оба уходят.

Улдис возвращается и тайком в спешке поднимает несколько писем и засовывает их в карман.

Улдис (В сторону дверей): Иду!

Райнис и Аспазия зашевелились в своих комнатах.

Аспазия: «По туманной дороге
Мы идем рядом
С душами умерших.
Ты не видишь их,
Ты не слышишь их,
А они протягивают тебе
Свои астрадальные сердца»

[Аспазия].

Райнис: «Голубушка моя, сокровенная, душа моя, радость золотая, позволь мне быть к тебе справедливым. В своем горе я всегда несправедлив, горе всегда делает хуже» [Райнис].

Аспазия: «Ты не сам по себе . . .
Ты с народом . . .» [Аспазия].

Райнис: «Невыразимо, как тяжело оставаться одному. Это как осознанная смерть» [Райнис].

Аспазия: «Встаю я и, как светильник ночью,
несу в ладонях пламень сердца своего.
Ты слышишь, милый? Я иду» [Аспазия].

Оба резко встают, подходят к дверям, словно ждут, что другой там стоит, но никого нет. Оба выходят через свои двери и исчезают.

Звуки музыки. На сцену выходит Аспазия.

Оазис

Аспазия: За окном шумит море,
Как серебряная пустыня.
Наш дом — зеленый остров,
Жемчужина в траве.
Я знаю, что звезда, упав, летит.

Райнис выходит на сцену.

Аспазия и Райнис: О-а-зис! О-а-зис!

Туристы появляются в задних дверях.

Все: О! А! Земля!

Райнис: За окном луна тускнеет
От волны иссиня-черной.
Тут так тихо, так покойно . . .
Но тоска в изгнании гложет —
Кто утешит, успокоит?

Райнис и Аспазия: О-а-зис! О-а-зис!

Все: О! А! Земля!

Райнис и Аспазия направляются друг к другу.

Райнис и Аспазия: За окном вершины гор
Белые сияют.
Солнца жаркие лучи
Льдины расплавляют
На устах слова обиды
Словно замирают.
О-а-зис! О-а-зис!

Аспазия и Райнис медленно и неуверенно протягивают друг другу руки.

Все: О-а-зис! О-а-зис!

Аспазия и Райнис: О! А!

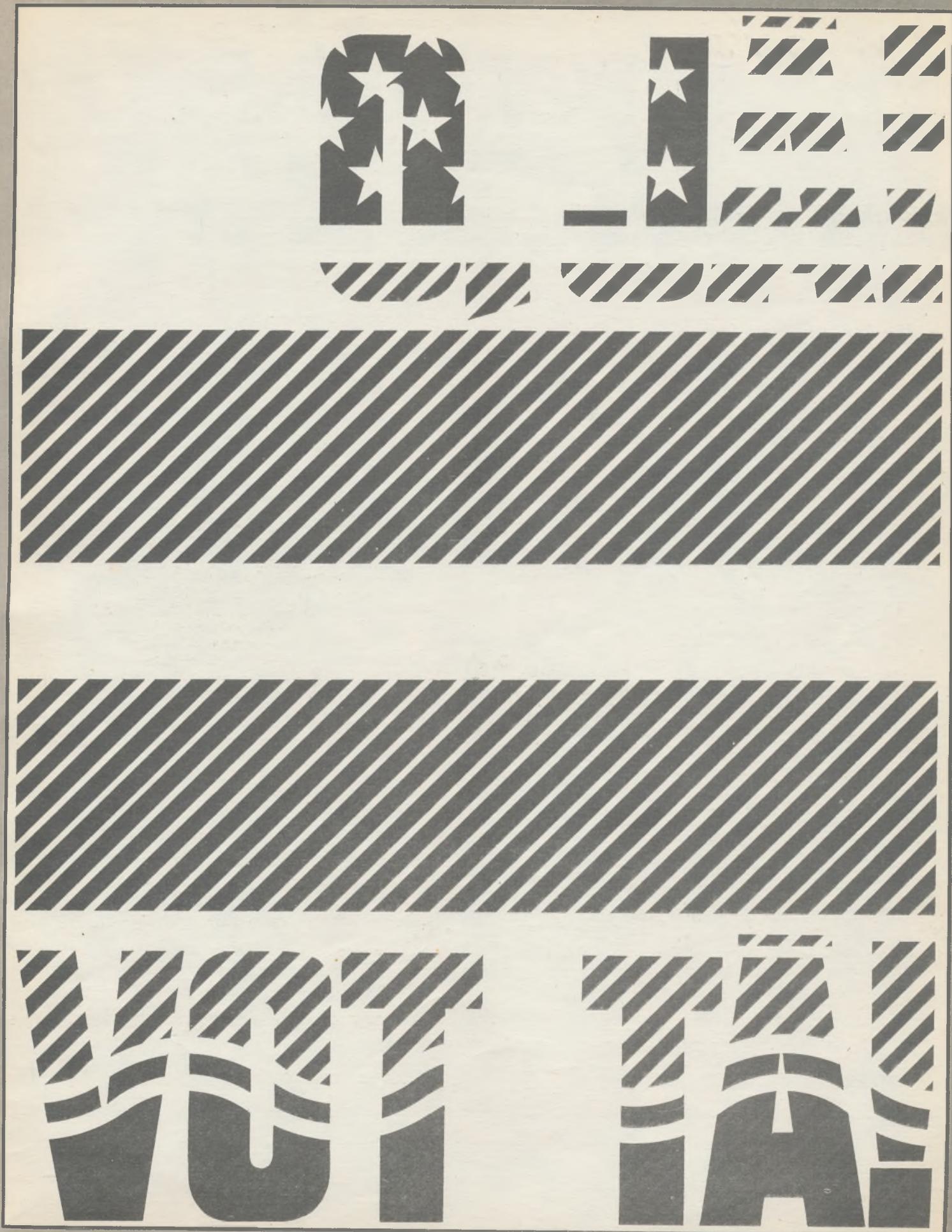
Аспазия и Райнис поворачиваются к средним дверям, в которых стоит Ребенок.

Ребенок: Земля!

Райнис и Аспазия берут друг друга за руки. Свет медленно гаснет.

Занавес

Перевела с латышского АНТА СКОРОВА



50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, КУЛЬТУРА, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

